



XXI ВЕК

ВОЛГА

1-2 2015

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амусин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Демченко – доктор филологических наук, профессор СГУ им. Н.Г. Чернышевского (Саратов)
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Новокуйбышевск)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М.С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г.П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей
И.В. Пырков – член Союза писателей России (Саратов)
Н.В. Шаталина – член Союза журналистов России (Саратов)

САРАТОВ
2015

1-2
2015

СОДЕРЖАНИЕ

Время литературы

ПОЭТОГРАД

Игорь ТЮЛЕНЕВ. **Звезда любви**

ОСТАНЕТСЯ МОЙ ГОЛОС

Николай БОЛКУНОВ. **Долгота дней моих** (*Окончание*)

ПОЭТОГРАД

Светлана СЫРНЕВА. **Час торжества**

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

Александр БУНДЕЕВ. **Игры ангелов**

ПОЭТОГРАД

Андрей ФРОЛОВ. **Родина любимей не становится...**

ОТРАЖЕНИЯ

Георгий ГОРЬКИЙ. **Скрипка**

Татьяна ГРИБАНОВА. **Мальва**

ПОЭТОГРАД

Иван ПЕЧАВИН. **Яблокопад**

КАМЕРА АБСУРДА

Нелли КРЕМЕНСКАЯ. **Жизнь-жестянка**

ОСТАНЕТСЯ МОЙ ГОЛОС

Борис БЕШАРОВ. **Песня моя недопетая...**

ПОЭТОГРАД

Алексей БОРЫЧЕВ. **И то, что с нами было...**

В САДАХ ЛИЦЕЯ

Алексей НИКИТИН. **Ощущение чуда**

ЮБИЛЕЙ

Виктор ШЕПТИЦКИЙ. **Суворов в Крыму**

ВОЛЖСКИЙ АРХИВ

Виктор ТОТФАЛУШИН. **«Выходят на арену силачи»**

РЕЦЕНЗИИ

Михаил МУЛЛИН. **Спешите делать добро**

Сергей ФОЛИМОНОВ. **Одна лишь истина – любовь...**

Елизавета МАРТЫНОВА. **Ускользящая реальность**

«Бирюзовое колечко» Александра Дивеева

ВРЕМЯ ЛИТЕРАТУРЫ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2015 год объявлен Годом литературы. Разумеется, это должно стать одним из важнейших культурных событий, которое сможет привлечь внимание нашего общества к чтению и литературе, решить проблемы, связанные с книгоизданием, и повысить интерес российских читателей к книгам.

Русское общество издавна было литературоцентричным. Печатному слову верили безоговорочно, литераторы чутко реагировали на веяния времени, на изменения, происходящие в жизни, и писателю была определена роль если не «пророка», то хотя бы властителя дум.

Конечно, современники не всегда адекватно оценивали роль того или иного писателя в литературном процессе – достаточно вспомнить историю пушкинского журнала «Современник», в котором были напечатаны многие произведения, признанные впоследствии классическими, и который тем не менее оказался убыточным для его издателей. «Большое видится на расстоянии». И понятно, что основные мероприятия этого года будут связаны с обращением к классике, к наследию известных писателей. Но, наверное, не следует забывать, что литература – это не только классические произведения, не только традиция, но и живой процесс, отражающий как творческие искания современных писателей, так и жизнь общества. А живой литературный процесс, равно как и его критическую оценку, мы можем наблюдать в периодических изданиях, прежде всего – в толстых литературных журналах. Думается, именно в Год литературы стоит попытаться вернуть читателя *современной* литературе, а её – читателю, тем более что сама литература, особенно поэзия, в нынешнее время переживает настоящий расцвет.

Для этого возвращения необходим целый комплекс мероприятий: литературные конкурсы, творческие вечера, презентация книг, альманахов и журналов, ну и, конечно, стимулирование издания последних. Ведь литература существует прежде всего в виде книги, уровень читательского интереса к настоящей прозе, поэзии, публицистике зависит в том числе и от объёма тиражей авторских сборников и журналов, и типичная для последних лет низкая тиражность художественной литературы повышению этого уровня явно не способствовала.

Если читатель будет обеспечен книгами и журналами, если на литературных вечерах критики и литературоведы объяснят ценность этих изданий и читатели сами её осознают, тогда Год литературы можно будет признать действительно состоявшимся. Ведь главное не сами «торжества», а их результат. Важно, чтобы после Года литературы наступило Время литературы – то, которое всегда цементировало наше общество, делало его живым и единым.

Редакция журнала «Волга–XXI век»

Игорь ТЮЛЕНЕВ

Игорь Николаевич Тюленев родился в 1953 году в посёлке Ново-Ильинский Нытвенского района Пермской области. Известный русский советский поэт. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Участник XXV Парижского книжного салона во Франции (2005 год) и XIII Международной книжной ярмарки в Пекине (2006 год).

Автор 17 сборников стихов. Публиковался в журналах «Молодая гвардия», «Студенческий меридиан», «Урал», «Молодёжная эстрада», «Наш современник», советско-болгарском журнале «Дружба», в московских коллективных сборниках «Весенние голоса», «Багульник», «Турнир», в альманахах «Истоки», «Поэзия», «Слово» и др. Секретарь правления Союза писателей России.

ЗВЕЗДА ЛЮБВИ**И ТОЛЬКО СЛОВО ВЫШЕ СВЕТА**

Ах, эта музыка веков!
 То женский визг, то звон оков,
 То из могилы посвист ветра...
 По житу Бледный конь бежит
 Так, что Вселенная дрожит,
 Связав Конец с Началом Света,
 Омегу с Альфой, тварь с лицом,
 А Сына – с Духом и Отцом,
 С Отчизной – русского поэта...
 А посмотри на небеса:
 Над полем света полоса,
 И только Слово выше Света!

СОВЕТСКОЕ КИНО

Смотрел с утра советское кино.
 Уже не помню имена артистов...
 А взял вдруг и расплакался (смешно!)
 Над судьбами колхозных трактористов.

Душе подай целительный настрой,
 И я смотрел без тени превосходства,
 Что со страной стало и со мной,
 И тихо плакал, чувствуя сиротство.

Я не скажу, что повлиял запой –
 Не пью, беру уроки атлетизма.
 Я плакал над разрушенной страной,
 Упавшей в пропасть с пика Коммунизма!

Я взрослым стал, а взрослым тяжелей
 Всё начинать с нуля и не разбиться.
 Легко взлетать лишь детям с букварей...
 Смотрите, как мы жили – пригодится!

Жена, не пой: «Ещё не вечер...»
Какие глупые слова!
Всяк знает – человек не вечен,
Как эти птицы и трава.

Обнимет смертная истома,
Как в детстве слипнутся глаза.
– Чуток посплю – аль я не дома?!
– Поспи, родной, – вздохнёт земля.

ПОХОРОНЫ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

Враги пришли, чтоб убедиться,
Друзья пришли, чтоб зарыдать.
А толстозадая столица
Забыла задницу поднять.

А он любил тебя глубоко,
Переживал за крен Кремля.
Ты предала его жестоко,
Но ты – ещё не вся земля.

Державно-лермонтовской мощью
Разбившей вражескую рать...
Россия наугад, на ощупь
Его пытается понять.

Не стоил я его заботы –
Не самый лучший ученик,
Не зреньем, а душой высоты
Его я, может быть, постиг

И потрясённо крикнул: «Гений!
Пронесший небо мимо нас,
Роняя свет стихотворений,
Как яблоки роняет Спас».

В этой деревне уныло,
Словно никто не живёт.
Кто-то тоскует постыло,
Кто-то без удержу пьёт.

Мучают дети собаку,
Землю швыряют в трубу.
Баба стирает рубаху,
Но не известно, кому.

Редко земель этих житель
В тусклом окошке мелькнёт,
Тонет у школы учитель,
В луже летит самолёт.

Что мне заморские страны,
Пальмы и жёлтый песок...
Тонет учитель. И странно,
Что розовеет восток!

ДЕРЕВНЯ

Заросла лопухом и крапивой,
Не найти ни окон, ни дверей.
Замутились нечистой силой
Озерки, где таскал карасей.

То, что брошено, не безобразно.
Значит, я этот вид заслужил.
Потому что бездумно и праздно
Я отцовскую жизнь доносил.

Покаянная ночь бесконечная,
За свечой догорает свеча...
Лишь поэзия – стерва сердечная –
Из-за левого смотрит плеча.

Моросит. На сердце сыро.
Клапана шумят в груди.
Выйдешь в двери – там Россия,
В оба на неё гляди!

В клоунаде вражьих шмоток
Вдруг заметишь нашу рвань...
Через поле – самородок,
Через десять метров – пьянь.

Я на Родине в дозоре,
Службу срочную несу.
Утром провожаю зори,
Пью стаканами росу.

И берёзовые слёзы
Лью на плечи из ведра.
Плачьте, девушки-берёзы,
Ваши слёзы – сон-трава.

Из эфирного тумана,
Русь, явись передо мной!
И любима, и желанна,
Потому что Бог с тобой.

ПЛАЧЕТ ЖЕНЩИНА

Плачет женщина над страницей
Тихо-тихо, почти не дыша,
А за окнами носится птица
Или чья-то шальная душа.

Может, чьё-то письмо запоздало,
А не думало запоздать,
Но слезинка на строчку упала
И заставила строчку дышать.

Потому ли, что жизнь быстротечна
И не всё, что в душе, – на устах,
Плачет женщина, ночь бесконечна,
И опять что-то в мире не так.

ЗВЕЗДА

Звезда любви из космоса мерцает,
Выхватывает крыши и сады.
Пусть стыннут чувства, а слова ветшают,
И не поют давным-давно дрозды.

Хотя звезда из космоса мерцает,
С седьмых небес из непролазной тьмы,
Но отражённым светом освещает
То, что сказали или скажем мы.

ПОЛЁТ

Это сокол крылами – простор,
А не ножик щепу расщепляет...
Вместе всё: глубина и обзор, –
Но чего-то душе не хватает.

Птицы-тройки, летящей с небес,
Чуда-юда в кипящей пучине,
Иль картёжника на интерес,
Или бритвы опасной – щетине.

Землю ухом прослушает слух.
Оком зрение даль превозможет.
И скупой свой откроет сундук
И в него ничего не положит.

Русский дух поперечно мелькнёт
И, сгорая, исчезнет продольно,
Приглашая в последний полёт,
Где всегда глубоко и привольно.

Хочешь слово сказать, а не можешь,
Взял перо, а не мог расписать.
Кто стоит за спиной моей, кто же?
И не хочет поэта спасать.

Я родился для правого дела,
А на ложные стогны набрёл.
Видно, Муза моя очумела,
Потому-то и слов не нашёл.

Русь – подножье Престола Господня!
Так учил нас святой Серафим.
Крепок дух наш! И снова, и снова –
Ничего не поделаешь с ним.

Мне сказали: «К чему ты стремился –
Час не пробил, а день не пришёл.
Ты святыни читать разучился,
Потому верных слов не нашёл».

ВИДЕНИЕ

Есть видение русских пророков,
Что антихрист отправился в путь.
Будет всем беспросветно и плохо,
И у каждого взрезана грудь...

«Бесы в городе» – углем на стенах
Отрок выведет слабой рукой.
Русь! Не стой перед ним на коленях!
Это отрок его, а не твой!

Он скрижали читать научился,
Заминировал наш арсенал!
Твой глашатай ещё не родился.
Час не пробил, и день не настал.

Николай БОЛКУНОВ

Окончание. Начало в №№ 11–12 2014

ДОЛГОТА ДНЕЙ МОИХ

Мы, как всегда, после крепкого мужского рукопожатия нежно обнялись и на миг припали друг к другу – щека к щеке. Нам всегда удобно делать это, потому что с Антошей мы одинакового роста. Здоровые ребятки – за метр восемьдесят, как и положено быть потомкам вольных казаков-хлебопашцев. Правда, он жидковат в кости – мамкина тонкая косточка, – зато и красив, как мама: брови дугой, глаза ясные и профиль античный, точёный.

Анечка иной раз признавалась, что и впрямь в её роду, где-то там в «надцатом» колене, то ли грек, то ли гречанка отметились. Однако ж родилась она под Казанью, потом с девяти лет жила в многодетной семье на Кубани, там окончила школу, приехала учиться в наш город, где и наскочила на лихого потомка заволжских воинов-хлеборобов.

Устанавливая её национальную принадлежность, мы с сыном, прежде всего, отмели греческую кровь за незначительностью таковой. Памятуя о том, что если русского хорошенько поскрести, то можно увидеть татарина, мы всё-таки отказали нашей ближайшей родственнице в праве принадлежать и этому гордому племени: девять лет, прожитых под Казанью, нам показались всё же недостаточным сроком, чтобы «отатариться». Не нашли мы убедительных аргументов, чтобы признать в ней и кубанскую казачку, хотя это в большей степени устраивало бы её. «Родилась в Казани, жила на Кубани, – рассудили мы, – ни то ни сё. Нет, будешь ты у нас не кубанская казачка, а казанская кубачка».

Перво-наперво гостеприимная кубачка потащила сына к столу. Как же иначе? Главнейшая мамкина забота – накормить любимое чадо. Антоша не сопротивлялся – знал, что бесполезно.

Сегодня она особенно настойчиво угощала его. Грешным делом, во мне даже ворохнулась некоторая зависть – вся её любовь без остатка опрокинулась на кудрявую голову Антоши. Впору хоть вскинь над собою руки и закричи голосом утопающего: «Эй, я тут!»

Конечно же, это шутка. Анечку можно было понять.

Впервые за много лет и я по-особому смотрел на сына. Он был старший между ними. По правую руку от него мог сидеть младший. Или младшая. Как Богу было угодно... Зачем Он позволил нам, человекам, самовольничать? Зачем позволил нам, неразумным, издеваться над Его любовью, над Его бесценным даром новой жизни? Разве мало Он перенёс издевательства, когда восходил на Голгофу? Зачем мы продолжаем ещё и ещё раз унижать Его?

Я смотрел на Антошу и понимал, какой тяжкий груз я взвалил на его плечи. Ведь он должен прожить эту земную жизнь за двоих. Не надорваться бы ему, не сломаться и выдюжить.

Прости, сын: рано или поздно мы с мамой уйдём и оставим тебя одного – безродным сиротою. Не повтори наших ошибок... Господи, помоги ему, помоги...

– Мамуль, ну всё, ну уймись, ну пожалуйста, не подкладывай больше, я сыт, – отбивался Антоша. – Пап, так когда ты отправляешься в крестный ход?

– Ой, Антошаня, все сроки прошли. А я всё канителюсь.

– Что значит канителишься? – возразила Анечка. – У тебя дела. У тебя встречи в монастыре. Тебе с Владыкой встречаться...

Она почему-то без восторга отнеслась к моему намерению отправиться в многодневное паломничество. То ли боялась, что не выдержу трудных дневных переходов. То ли просто не хотела расставаться со мной, по опыту зная, что именно в разлуках, как правило, нас подстерегают неприятности. Но я был одержим страстным желанием писать о святых, включая Вавилов Дол, куда шли уже вторую неделю паломники, и ничто уже не могло остановить меня.

– Эти встречи от меня не уйдут. А крестный ход раз в году... Догонять придётся. График передвижения паломников у меня есть. Так что где-нибудь примкну. В Балаково уже опоздал. Надеюсь, в Пугачёве... Это последний мой шанс...

– Я принёс тебе палатку. Она там, в коридоре. С ней тебе будет надёжней.

– Спасибо, Антошаня.

«Антошаня» – так привык я называть сына с детства. И снится мне он до сих пор только таким – трёх-, пятилетним Антошаней. Что же так рвётся моя душа туда – к его детству, к младенчеству? Неужели не насытилась созерцанием этого ангельского возраста? Неужели не удовлетворилась скудным опытом молодого моего отцовства? Странно, до сих пор я как-то не задавался такими вопросами.

Ах, Боже мой, прожить бы эту жизнь сызнова!..

– Что у тебя дома? – спросила Анечка. – Ладите?

– Всё хорошо, мамуль.

– Берегите, Антошань, друг друга. Это так важно...

– Ладно.

– Э...

– Ладно, мамуль.

Я нутром, кожей чувствовал, с каким трудом она удерживала себя, чтобы не спросить Антошу, не беременна ли его жена. А может быть, ей даже хотелось забыть о деликатности и откровенно попросить сына: сделай меня, пожалуйста, бабушкой, очень прошу, сделай...

Возможно, нутро в этот раз обманывало меня и ничего подобного Анечка не испытывала. Возможно, мне просто так казалось, потому что слишком велико было моё желание стать дедом. Это мне не терпелось надеть белый костюм и белую шляпу, повязать на белокурую кудрявую головку розовый бантик, взять в руку крохотную тёплую ладошку и вдвоём пройти по улице Московской...

Сына мы проводили до Музейной площади.

У Троицкого собора он сел в маршрутное такси. Когда «газель» тронулась, я поднял глаза и увидел чудо. В чистом, прокалённом зноем небе, над куполом храма висела отчётливая яркая радуга. Она светилась сочными, масляными красками и, кажется, улыбалась нам. Откуда она могла появиться в безоблачном небе? Что хотела сказать нам своим чудесным, непостижимо-таинственным явлением?

Сын, сидевший у заднего окошка такси, махал нам на прощанье. Мы отвечали ему и показывали на небо. К счастью, он понял нас, припал лицом к стеклу, и в его глазах отразился восторг. Как замечательно, что мы видели это чудо вместе! Как замечательно, что мы втроём были свидетелями Божьего откровения, Его благословения в этот светлый, одновременно печальный и радостный для нас день!

Нет-нет, нам не показалось, не померещилось. И мы не спутали мечту о чуде с явью. Чудо существовало само по себе. Голопупые девчата, судя по воспалённо-обгоревшим торсам, возвращавшиеся с городского пляжа, выхватили из карманов коротких шортиков мобильники и стали фотографировать радугу. И тоже смотрели на неё и ахали от удивления.

Почему-то именно в этом месте мне хочется рассказать о том, как мы крестились.

Первым среди нас, причём задолго до своих родителей, как ни странно, окрестился пятнадцатилетний Антоша. Он болезненно пережил тот возраст, когда всякий нормальный человек решает для себя неизбежный вопрос: для чего и зачем я родился и есть ли вообще смысл в этой карусели, которая называется жизнь. Он больше склонялся к мысли, что карусель глупа: родился, женился, родил ребёнка, умер – что дальше?

Мы с женой, переживая жуткий страх, пытались внушить: смысл в том, чтобы дать жизнь своим детям, внукам и продолжиться в поколениях. Но вопрос выпирал ребром: зачем? Объяснения с материалистической точки зрения явно не годились.

Мы попытались объяснить, что призвание человека заключается в том, чтобы любить, творить и верить. Однако и этот гуманитарный ответ не устроил сына, и он опять спросил: зачем? И пустился «во все тяжкие»: перечитал уйму книг по философии и психологии, истории религий и оккультизму, вплоть до чёрной и белой магии. Но ответа на мучавший его вопрос, кажется, так и не нашёл.

В это время к нам наконец в кои-то веки приехала погостить моя славная тёща, которую я не только называю мамой, но и искренне почитаю за таковую. Её щедрого сердца вполне хватило, чтобы кроме шестерых своих кровных согреть и седьмого. У неё много общего с моей родной мамой: крестьянская мудрость и непоседливость, радушие и безмерное, граничащее с назойливостью хлебосольство, смиренное отношение к невзгодам и неизменное стремление жить «как Бог велит».

Антоша оставил свои головоломные книжки и накинулся на любимую бабулю. В непрерывных разговорах – это были осенние каникулы – они не касались Бога. Как припоминается, говорили «за жизнь». Чего уж там могла поведать сыну неграмотная крестьянка, не знаю, но только к исходу третьего дня он попросил её вместе с ним сходить в храм и окрестить его...

Это было неожиданностью для всех, включая, кажется, и бабулю. Она с радостью откликнулась на просьбу внука...

А теперь про меня.

Долгое время я пребывал в тягостном неведении – крещёный ли? Хотя припоминаю и ту благостную пору, когда об этом не задумываешься, потому что с младых ногтей носишь в себе ощущение Божьего присутствия, и это кажется таким же естественным и неизменным, как и всё тебя окружающее: мама, бабаня, старший брат Ванечка, миражи в степи под июльским полуденным солнцем и полнолицая луна, равнодушно вззирающая морозным вечером на сизый кизячный дымок над крышами деревенских хат.

Божница, обрамлённая вышитым рушником, украшала красный угол горницы. Перед образами, как сейчас помню, Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и Николы Угодника висела лампадка оранжевого стекла. Бабаня берегла масло, и поэтому лампадка зажигалась по особым праздникам – не по тем, которые отмечались в Ваниной школе. Особенно отраднo было наблюдать в сумраке приближающейся ночи, как пляшут живые блики на чистых ризах икон, и шептать, повторяя за бабаней, завораживающие слова вечерней молитвы...

В то лето, когда мне исполнилось девять годков, не стало мамы и бабани. Появился уходивший из дома отец. Он появился будто для того, чтобы вскоре уйти уже в последний свой путь, передав нас с братом на руки мачехи, сельской фельдшерицы. Мир раскололся, и обжитая его часть, казавшаяся несокрушимой, ушла в прошлое.

Потребовалось тридцать лет, чтобы я задался чрезвычайно важным для себя вопросом: крещёный ли я? При несомненном желании бабани и мамы защитить меня покровом православной веры вряд ли они имели возможность отвезти младенца в ближайшую церковь, которая находилась за двести вёрст.

К сорока с небольшим я был оторван от родимых мест. Многих людей, кто мог бы помочь мне, уже не было в живых. Батюшка, которому я поведал о своей нужде, посоветовал не торопиться с крещением и попытаться всё же разузнать истину. Я помнил,

что в далёком-предалёком детстве называл какую-то женщину крёстной. После долгих поисков мне удалось-таки найти её в одном из заволжских сёл. Выяснилось, что в мои крёстные была приглашена мамой близкая подруга и что на моих крестинах елей замещала ягодная бражка, которой подружки смочили губы за моё здоровье.

Сомнений не оставалось: надо было срочно бежать в храм и принимать крещение. Но какие-то дела постоянно мешали моему намерению, и я утешал себя тем, что рано или поздно оно должно было осуществиться.

К этому времени вышла моя очередная книжка. В ней была напечатана повесть о детстве «Аз яко человек», в которой я низко, до земли поклонился бабانه и маме и попросил у отца прощения за предательство. Дело в том, что переметнулись мы с братом к мачехе немного раньше смерти нашего мятущегося, искавшего и не нашедшего счастья отца. Мы оставили его одного, с его неустроенностью и беспомощностью, неприкаянностью и прогрессирующей чахоткой, предпочтя ухватиться за предсказуемо-надёжный подол женщины, столь напоминавшей нам родную маму.

Перечитав книгу, пахнущую типографской краской, я понял, что дальше жить некрещёным не смогу. Иначе просто умру, причём сегодня же – не хватит воздуха в лёгких. Утром, как всегда, побрился, позавтракал и отправился на работу. Но прежде зашёл в Троицкий храм – чудом дотянул.

Всё произошло так быстро и буднично, что я абсолютно ничего не запомнил. Помню лишь, будто в общественной бане, оплатил через маленькое оконце кассы услугу. Мне сказали, что креститься можно прямо сейчас, снимайте пальто и проходите в крещальню. И всё. Остальное как в тумане. Хотя и до этого – тоже в тумане. И, может, не было, даже наверняка не было никакого оконца-кассы – выдумал я его, потому что уж слишком формально, обыденно всё произошло. Оплатил, обслужили и выпихнули – живи как знаешь. Только и всего, что дышалка немного открылась.

Лишь на работе начал приходить в чувство. Окончательно поверил в то, что со мною произошло, когда раскрыл корочки: «Дано сие свидетельство о том, что совершено Таинство Крещения над... (я прочитал свои имя, отчество, фамилию, написанные без ошибок). Таинство Крещения совершил протоиерей о. Владимир», и дата: 18.01.95. Я как-то отстранённо, будто не о себе, понимал: сегодня произошло моё настоящее рождение, и Господь дал мне Ангела-Хранителя. Правда мне почему-то казалось, что Ангел-Хранитель был у меня и прежде – добрый и заботливый (не зря две крестьянки – две мамы, родная и крёстная, – пили бражку за моё здоровье), но раньше он был как бы исполняющим обязанности, а сегодня Господь, радуясь за меня, утвердил его в этой должности.

Я сидел за начальническим своим столом, привыкал к своему новому положению, и назойливая мысль не отступала от меня: что же мне теперь со всем с этим делать?..

О том, что крестился, я рассказал жене не сразу. Мне нужно было какое-то время, чтобы обвыкнуться в последнем рождении и сродниться с собою, новозаветным... Вопреки ожиданиям, процесс основательно подзатянулся. Я сильно переживал и, случалось, приходил в отчаяние оттого, что чем настойчивее продвигался к цели, тем дальше она отодвигалась от меня. Я бы мог окончательно растеряться и войти в непримиримый конфликт с самим собою, но, к счастью, вовремя одолел простую мысль, высказанную Христом: «Я есть и путь, и истина, и жизнь». То бишь, сколько живу – дерзаю.

Анечка не могла позволить себе остаться вне того пути, который избрали мы с сыном. Также не могла она и ступить на него с бухты-барахты, за компанию.

Как и прежде, по великим праздникам, от случая к случаю, мы заходили в ближайший храм. Иногда накатывало желание прошептать утром или перед сном «Отче наш» – особенно когда на душе скребли кошки и мучили угрызения совести. Но рука уже знала, что в крестном знамении после пупа она вначале коснётся правого плеча, а потом уж левого...

Анечке потребовался год, чтобы сюрпризом сообщить мне, что она крестилась.

... Два дня уже брёл я вместе с паломниками к Вавилову Долу – урочищу близ районного центра – села Ивантеевка.

Пёкло стояло немилосердное – плюс тридцать шесть в тени. Только где её, эту тень, сыскать в заволжской степи? Богомольцы, идущие из областного центра, вспоминали о ливнях, полоскавших их две недели назад, от которых тоже не было спасения, – вспоминали как о благе. Единственная защита у пилигримов – короткая и бесконечная молитва:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Пресвятая Богородице, спаси нас.

И снова взмах флажком впереди длиннущей колонны – это вожатый отец Сергий, словно армейский старшина, следивший за дисциплиной паломников, давал знать о начале молитвы:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пятьдесят минут непрерывной, безостановочной ходьбы. Если развязался шнурок на ботинке, сдавай на обочину, завязывай не мешкая и догоняй колонну – семеро одного не ждут, а тут их двадцать раз по семеро или того больше. Дети, молодёжь, мужики, женщины, пожилые женщины... Сказать «старушки» язык не поворачивается – какие старушки, коли по тридцать километров в день одолевают? Это ж, поди, суточная норма для солдат на марш-броске.

Пятьдесят минут напряжённой ходьбы – и привал. Все присаживаются (если не сказать – падают) на придорожную траву. Десять минут блаженного отдыха. И снова подъём.

Впереди колонны – богомольцы с хоругвями, храмовыми иконами. На носилках возвышается главная икона – страстотерпца царя Николая, памяти которого с его семейством и посвящён трёхнедельный крестный ход. Прежде чем колонне тронуться, люди забегают вперёд, выстраиваются в длинную цепочку по одному, опускаются в дорожную пыль на колени – над склонёнными головами проплывает окружённый хоругвями святой образ Государя, ревностного радетеля о Русском Православии. И вот уже, колыхаясь, течёт вольно людской поток, и гудом гудит, поднимается к небу нескончаемая просьба:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Пресвятая Богородице, спаси нас...

История Вавилова Дола такова.

В начале XVIII века, ещё в Петровские времена, жил некий лихой человек по имени Вавила. Как сказали бы сегодня, он сколотил бандитскую структуру, которая промышляла разбоем. Грабила шайка всех подряд без разбора – торговых людей и крестьян, грабила дерзко, уверовав, что глухой лес по течению реки Большой Иргиз надёжно защитит её от мирского суда. Да, видно, не зря говорено: сколько вору ни воровать, а кнута не миновать. Чтобы восстановить законность, на помощь местным властям были высланы войска. Они-то и смогли положить конец разбою. Суд над атаманом был короткий: его ослепили, «чтобы не видел он больше ни дорог, ни проезжих людей», и отпустили с миром. Огромное же лесное урочище, по сохранившимся сведениям, было предано огню.

Блаженны не только «чистии сердцем», но, случается, и некоторые ослеплённые грешники, «яко тии Бога узрят»... Только лишившись глаз, Вавила смог узреть Его. Долго ходил он по святым местам, прося корочку хлеба да ночлег Христа ради. Отмаливал свои

грехи в монастырях и храмах. Отмаливал со слезами – слава Богу, полые глазницы сохранили способность плакать...

Старым иноком возвратился он в края, где некогда разбойничал. На бывшем пепелище к тому времени выросла деревня Горелый Гай. Но недостойным счёл себя Вавила обретаться среди людей, ушёл подальше, к речке Чернава, выкопал себе пещеру в глубоком овраге, стал жить отшельником, вымаливая прощения у Господа.

Молва о монахе-пещернике влекла к нему тех, кто жаждал подвизаться в спасительной молитве и суровом воздержании. Видимо, таких находилось немало. Множились пещеры, и рождался пещерный монастырь. Пригодились Вавиле и организаторские способности, нашедшие лучшее применение. Под его руководством насельники соорудили подземный храм, имевший тайный ход к пещерным кельям.

Отошедшего ко Господу Вавилу монахи похоронили на открытом месте – на отлогом, поросшем осокорем склоне оврага. Как выяснилось позже, неспроста: Господь простил разбойника, о чём поведал людям чудесами, явленными на его могиле. Нередко паломники видели здесь, над могильным холмиком, сияние Небесного Света. Многие пришедшие сюда получали исцеления от, казалось бы, неизлечимых болезней.

Свидетелем одного из чудес был и ваш покорный слуга.

Отмахав в последний день около тридцати вёрст, в Вавилов Дол мы пришли уже затемно. Вместе с паломниками из Балакова, с кем за два дня пути я успел сдружиться, попили воды из святого колодца и разместились на ночлег, расстелив под звёздным небом спальные мешки или поставив палатки. Потом с фонариком почитали к завтрашней литургии «Последование ко Святому Причащению». Уже после двенадцати ночи сходили в купальню и омылись в святой купели, трижды нырнув с головою «во имя Отца – аминь, и Сына – аминь, и Святаго Духа – аминь».

И вот тут-то, когда я залез наконец в палатку и, совершенно изнеможённый, распластался, раскинув опухшие от напряжения руки и ноги, – тут-то и услышал я пение невидимого хора. Не поверив, я приник ухом к земле – мужские голоса старательно вытягивали молитвенную песнь. То была, скорее всего, «Благослови, душе моя, Господа». Хотя, возможно, и пришедшая к нам, смертным, от ангелов «Святой Боже». А может, «Достойно есть». Впрочем, их песнь была похожа и на «Свете тихий». Но, кажется, я слышал и эти слова: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение...» Они пели всю короткую ночь.

Балаковские молитвенники разбудили меня чуть свет – читать утреннее правило. Кто-то из них, во второй или третий раз бывший в Вавиловом Доле, сказал, что «вон тот» пригорок растёт, ежегодно прибавляет на вершок. Это поднимается из-под земли купол пещерного храма. А другой балаковец добавил, что здесь до сих пор видят в лесу то там то сям промелькнувшую тень монаха. Ему и самому как-то довелось видеть... Я было подумал, что в славном городе Балаково, как и везде, тоже живут фантазёры. Но мой новый друг пресёк мои мысли на корню, рассказав о своей неожиданной встрече в деталях, серьёзно и почти убедительно... Я пожалел, что не был в тот раз рядом с ним.

Предание о том, что тут, в катакомбах, ещё обитают старые иноки, прочно живёт в народе. У этого предания (которое, однако, прошу не путать с легендой) есть веская документальная основа.

Тысяча девятьсот двадцать девятый, от которого нас отделяет всего-то одна человеческая жизнь, – год разорения мужского монастыря, основанного преподобным Вавилой. К этому времени надземная часть монастырского имущества включала в себя соборный храм, часовню, хозяйственные постройки, здесь были также два святых колодца, купальня. Богоборцы, позарившись на дармовой строительный материал, именем диктатуры пролетариата разобрали храм, часовню и постройки, а купальню и колодцы сровняли с землёй. Разорялось всё руками русских людей, которые как минимум слышали предостережение: «не плюй в колодец...» Правнуки тех людей подтвердили истинность

народной мудрости, прежде стерев с губ плевки своих родичей, когда пригодились выпить воды из Вавилова источника.

С тем же революционным остервенением здесь проливалась мученическая кровь. Многие насельники монастыря, священники, миряне были расстреляны, иные упрятаны в тюрьмы, высланы на поселение в Сибирь.

Но ведь кто-то мог и скрыться в катакомбах с системой тайных, запутанных ходов и разветвлений. Ведь Вавила, наученный горьким опытом, или, выражаясь современно, своим криминальным прошлым, должно быть, прекрасно владел конспирацией. Уж он-то побеспокоился оборудовать пещерный монастырь по уму. А те насельники, которые жили там совсем недавно, всего-то восемьдесят лет назад, – разве они не сообразили за двенадцать лет советской власти, что от неё можно ожидать, и разве не побеспокоились о своей безопасности?.. Двенадцать лет – срок большой, за это время под землёй можно было выстроить город.

Вот теперь они и поют там молитвы. Вот теперь в густых сумерках, или, как говаривали в старые времена, в пору между собакой и волком, и выходят на поверхность поглядеть – услышал ли Господь их молитвы и как мы тут, не одичали вовсе?

Простите, что-то я сильно отвлекся, убежал надолго и далеко, на целых триста вёрст от губернского центра и женского монастыря в урочище Вавилов Дол да и застрял тут на несколько страниц. А главное, и вырваться отсюда не спешу. Ибо подспудно чую: без Вавилова Дола моя история будет неполной...

Семнадцатого июля, в день памяти страстотерпцев царя Николая и членов его семьи, здесь, под открытым небом, состоялась пышная архиерейская служба. Одних батюшек целая гвардия – со всей епархии человек тридцать собралось. А уж народу было видимо-невидимо, машин да автобусов понаехало – обочин не хватило.

Перед службой, как и положено, – исповедь. Желающих – тьма. Только и принимающих исповедь немало. Разобрали батюшки богомольцев по группам – и пошла работа.

Признаться, не лежала моя душа в этот раз восходить на Голгофу. Устал ли за последние дни или, может, статистом себя ощутил в этом грандиозном действе, только не чувствовал нынче я слёз, «души моя скверну очищающих».

– Каюсь, батюшка, в тщеславии и гордыне... – начал было мямлить я.

Но отче, видимо, хорошо выспавшийся, бодрый телом и духом, поправил меня:

– Нет, прежде всего надо покаяться в маловерии. Ведь отчего у тебя гордыня и тщеславие? Оттого что в Господа мало веришь. Поэтому надо начать так: Господи, прости меня за маловерие. Отсюда у меня и тщеславие, и гордыня. Да и все другие грехи. Скажем, грех осуждения. Ведь ты как часто думаешь: все, такие-сякие, виноваты, кроме меня. А что нужно делать? Не осуждать никого, а думать о своих недостатках...

Я внимательно слушал батюшку, в знак согласия по-козлиному потряхивая головой, и уже не пытался встрять в его монолог. Мне даже казалось, что батюшка знает о моих грехах лучше меня. А поэтому и не стоит перебивать его – невежливо как-то.

– А вот когда осуждают тебя, ты смолчи, – продолжал он. – Справедливо осуждают – смолчи. Потому как по грехам твоим и достаётся тебе. Несправедливо осуждают – тоже смолчи. Кроме того – порадуйся. Господь же знает, что несправедливо, и оценит твоё смирение. Да ещё и простит тебе какой-нибудь всамделишный грех... А ты ведь как? Чуть что – и в штопор, перечить начинаешь. А всё почему? Гордыня. Она, треклятая, – корень всех наших бед...

Вот такой мне достался духовник – как выяснилось позже, бывший лётчик, на истребителях летал. Я с восхищением смотрел на него – как же он был прав!

– Так, ещё в чём каешься?

Вопрос прозвучал неожиданно, а я уже так привык слушать отца и во всём соглашаться с ним, что поначалу даже не нашёлся, что ответить.

– Я тут с крестным ходом... – в своё оправдание сказал я. – У нас каждое утро – исповедь и причащение. Я вчера во всём покаялся. Вроде как не успел нагрешить. А старые грехи будто бы прощены. Что ж о них-то?..

Правда, ну ни в какую мне не хотелось нынче говорить, даже язык ворочался с трудом.

Батюшка озадаченно и даже как бы с осуждением глянул на меня, но, видимо, вспомнив о смирении, о котором только что говорил, спросил, как меня зовут, и потянулся к моей голове с епитрахилью...

А на построенном к сегодняшнему дню просторном помосте, символизирующем алтарь, разворачивалось богослужение. Епископ, со своей богатырской мощью, в блистающем облачении, являл собою центр торжественного действия. Служба, управляемая святителем, плавно плыла по волнам молитвенного песнопения архиерейского мужского хора. И каждый из паломников чувствовал, что и ему нашлось место на палубе гигантского спасительного ковчега.

Заключительная часть литургии немного подзатянулась – Святые Дары причастники принимали лишь у трёх Чаш. Я терпеливо стоял в самой длинной очереди, где Тело Христово вкушалось из рук Преосвященного. Когда две другие очереди иссякли, дьякон, следивший за порядком, предложил нам причаститься у других Чаш. Никто, естественно, не двинулся с места. Тогда дьякон повторил просьбу, которая в этот раз приобрела оттенок требования. Я попросил его тихонько:

– Отец дьякон, позвольте уж нам причаститься у Владыки. Нас тут осталась горсточка.

– Какая разница, у кого причащаться. И там, и там одинаково... Не обязательно к Преосвященному... Зачем толпиться?

Он говорил громко, вероятно, рассчитывая на то, что слышащий его Владыка оценит трогательную заботу о себе. Я остановил его:

– Понимаете, есть такое понятие, как обаяние личности...

Дьякон фыркнул и замолчал – против обаяния своего начальства он, конечно же, возразить не мог.

Со скрещёнными на груди руками – правая на левой – я подошёл к Чаше.

– Причащается раб Божий... – пропел своим красивым тенором Владыка.

Заглядывая ему в глаза, я назвалса. Он повторил моё имя с привычным для него дружелюбием, и не более, и я понял, что своим обличем не возбудил в его памяти никаких воспоминаний...

Молебен служился внизу оврага, у святого колодца. С крутого склона мне хорошо было видно каждое движение архиерея, хорошо было слышно каждое его слово. Раковина глубокого яра под шатровым сводом неба создавала идеальные акустические условия для хора. Я, кажется, не только слышал, но и осязал, чувствовал лбом, щеками, кожей прикосновение божественно-прекрасных звуков.

По окончании молебна Владыка с удивительной сноровкой и, я бы даже сказал, казацкой удалью размахивал кропилом, щедро обрызгивая паломников освящённой водой из колодца. Когда он поднимался по ступенькам взбегающей вверх лестницы, продолжая кропить толпу справа и слева, я не выдержал и, подчинившись радостной минуте, воскликнул:

– Владыка, окропите «мя иссопом, и очищуся»... Омыйте «мя, и паче снега убелюся»...

Он остановился на площадке лестницы, озорно глянул в мою сторону и, зачерпнув кропилом, будто ковшом, воду из кропильницы, окатил меня и моих соседей мощной струёй. Толпа восторженно откликнулась весёлым смехом на безобидную шалость архиерея.

Однако ж к нему надо было идти. Объясняться.

Я предполагал, что разговор будет для меня неприятным – всё-таки Владыка, забыв о своём благословении, данном мне мимоходом, наступил на мою шибко больную мозоль самолюбия и, не желая того, поставил меня перед матушкой Феодосией в такое неловкое положение, что хоть сквозь пол провались.

Я созвонился с секретарём епископа, уважительной, памятной Ольгой Владимировной (она-то не забыла меня, почти пять лет прошло после моего единственного визита в епархиальное управление, а она помнила – дай Бог ей здоровья), и попросил её похлопотать о встрече с Владыкой.

В назначенный час я был в приёмной архиерея. Ген страха перед начальством проснулся во мне и стал царапать моё свободолюбие. На мою удачу, у Владыки был посетитель, и я воспользовался временем, чтобы ещё немного подготовиться к встрече.

– Ольга Владимировна, подскажите: я вхожу, крещусь на образа, а потом вместо «здрасьте» прошу благословить на разговор... Так? – Я даже показал ей руки, сложенные крест-накрест. – А как мне называть Владыку? Вашим Преосвященством?

– Мы называем его Владыкой. И вы называйте так. Да и вообще... ведите себя естественно.

– Я боюсь по невежеству, по незнанию показаться неучтивым.

– Да будет... Вы вполне подготовлены. Не волнуйтесь. Владыка не любит церемоний.

Дверь начальственного кабинета распахнулась, и оттуда вышла матушка Феодосия. Глядя на её улыбающееся лицо, я тоже в ответ изобразил подобие улыбки.

– Да вот же он!.. – радостно сообщила она вышедшему вслед ей хозяину кабинета.

Можно было подумать, что они только что говорили обо мне и для матушки было счастливой неожиданностью видеть меня живым и здоровым в приёмной архиерея. Ольга Владимировна напомнила всем мои «ф.и.о.». Я поспешно поднялся со стула и раскланялся...

В первую же минуту общения с Преосвященным я совершенно успокоился и уже не пугался своего невежества – собеседник действительно без лишних «церемоний» усадил меня за столик напротив себя и сразу же сумел расположить к искреннему, доверительному разговору. Я напомнил ему о нашем давнем, более четырёх лет назад, знакомстве, о моём неудачном благословении трёхмесячной давности и стыде, который мне пришлось испытать недавно перед настоятельницей женского монастыря.

Владыка с пониманием отнёсся к моей доуке, по-простому, если не сказать по-товарищески, попросил прощения и пообещал постараться уже никогда не забывать о нашем знакомстве. Прежде чем благословить меня, он подробно расспросил меня, что за книгу я намереваюсь писать. Я объяснил, как мог.

– А в каком жанре? Это будет документальный очерк или художественный рассказ?

Меньше всего я хотел бы отвечать на этот вопрос – у меня ещё не было достаточного материала, чтобы определиться с жанром. Я попытался ответить обтекаемо.

– Скорее всего, это будет художественная публицистика.

– Так будет там вымысел или нет? – настойчиво допытывался он.

Я понял: от прямого ответа не уйти. Было нетрудно догадаться, что главу епархии устроит только сугубо документальное повествование о конкретных святынях нашего края, а не фантазии на вольные темы. «Ой, откажет он тебе, – сработала в сознании защитная сигнализация, – ой, уйдёшь ты отседова несолоно хлебавши. Соглашайся на строгую документальность!» Но ведь и от вымысла – ангельских крыльев творчества – я не мог отказаться. Как там у Пушкина? «Над вымыслом слезами обольюсь...» Ах, будь что будет...

– Как же без вымысла, Владыка? Там будет не только то, что конкретно было, но и то, что могло быть с конкретными людьми в конкретном месте и в конкретное время. Я не совру в главном – так могло быть!

– Нет, нет, это меняет дело. Я не могу благословить то, что вы выдумаете. Мало того, я не знаю, в какой степени вы подготовлены к этой работе... Недавно у одного писателя прочитал: мол, батюшка жалуется: «Мне надоело махать паникадиллом...» Как вам фраза? Заметили несуразицу?

– Да, но я не настолько самоуверен, чтобы пренебречь помощью подготовленного редактора. Сфера для меня новая, малознакомая, и я обязательно покажу свою рукопись знающим людям, священникам, монашествующим.

Я готов был поделиться с собеседником своей давней находкой. У Льва Николаевича в «Хаджи Мурате» есть такая фразочка: «Накурившись, между солдатами завязался разговор». Не будь Толстой известным гордецом и не гоняй он от своих гениальных рукописей редакторов, легко можно было бы избежать такого досадного ляпсуса. А то ведь получается, разговор накурился... Филологическая задачка для «пэтэушников».

Однако Преосвященный вернул меня к тому, чем закончил:

– Так вы можете сказать, в чём несуразица? «Мне надоело махать паникадиллом...» Улавливаете, в чём тут глупость?

О, Господи, взмолился я, ощущая, как мозжечок мой наполняется жаром и мутится сознание. Что он хочет от меня? Ведь он о чём-то спрашивает меня? Как это называется?.. Проверяет на вшивость? Я напрягал мозги, но они не слушались меня.

– И-и-и в чём? – только и мог я выдать.

– Батюшка машет не паникадиллом, а кадиллом. А паникадило...

Мне было дурно. И не хватало сил, чтобы поднять глаза к потолку и, преодолев досаду, поделиться-таки своей трудной догадкой.

– А паникадило, – Владыка показал пальцем в потолок, – это же люстра.

Стыд и ужас охватили меня. Он, что, издевается надо мной?.. Да разве ж я мальчик, которого можно экзаменовать?! Мне шестьдесят лет. Я член Союза писателей с каким-никаким, но, смею надеяться, именем. А ещё того... лауреат. И пришёл-то я не спонсорскую помощь просить на издание книги – но поддержать меня в намерении доброго дела во славу Божию... Да, да, во славу Божию...

Оставалось поблагодарить епископа, поделикатней расшаркаться – что ж, мол, на нет и суда нет – и тихо удалиться. Чтобы уже этим и ограничить наше неудавшееся знакомство.

Но Ангел-Хранитель в который раз не посчитался с моей волей и настоял на своём, не позволив мне за неимением сил подняться на ноги.

– Что же мне делать? Отказаться от замысла? – спросил я.

– Зачем же... Собрать материал, а там и писать.

– И что же мне сказать матушке Феодосии?

– Давайте мы договоримся таким образом... На сбор материала я благословляю вас. А на книгу – прежде почитаю вашу рукопись. Я ведь тоже редактированием занимаюсь.

– Да, я в курсе. Читаю иногда и «Православную веру», и «Епархиальные ведомости», и «Альфу и Омегу», некоторые книги епархиального издательства. Как вы со всем этим управляетесь?

– Приходится управляться. Вот и сейчас... через полчаса встреча с редакцией.

Владыка встал из-за стола, подошёл к стеллажу, заставленному книгами. Набрал изрядную стопку.

– Хочу подарить вам наши последние издания. Кстати, тут книги и светских авторов. Полистайте.

Я вытащил из портфеля пару книг: избранную прозу и публицистику.

– А я вам тоже принёс свои. Для закрепления знакомства. Простите, что раньше этого не сделал. Постеснялся как-то... Здесь есть повесть о моём деревенском детстве. Очень хочу, чтобы вы почитали. Вы в селе росли?

– Нет. Но деревню люблю. Каждое лето к бабушке ездил.

– Рад буду, если повесть вам лето у бабушки напомнит.

– Спаси Господи, обязательно прочту.

Преосвященный собрал свой подарок в пакет, потом добавил туда несколько номеров крупноформатных журналов, потом сунул компакт-диск с записями архиерейского мужского хора. Потом достал красочный настенный календарь с цветными фотографиями храмов нашей епархии, но календарь оказался слишком больших размеров, чтобы влезть в пакет, и Владыка положил его поверх пакета.

Я стал прощаться.

– Спаси Господи и вас, Владыка. Простите, коль что не так... И благословите меня... Надеюсь в следующий раз показать вам рукопись.

Нашим мажорным расставанием можно было бы и удовлетвориться, но – не стану скрывать – ушёл я от Владыки в полной уверенности в том, что он вряд ли захочет когда-нибудь встретиться со мной, неотёсанным, безнадёжно тщеславным и амбициозным человеком. Хорошо ещё, что Ангел-Хранитель сегодня попридержал меня с моим чудовищным самолюбием.

Жизненная эпопея Толстого по своему драматизму нисколько не уступает его романам. Монахи Оптиной Пустыни оставили свидетельства о внутренних борениях литературного гения, запутавшегося в сетях собственной гордыни. Он так погряз в ней, что стал подправлять Православную веру. За это и был справедливо отлучён от Церкви. После беседы с писателем, часто бывавшим в Оптиной, преподобный Амвросий сказал о нём монахам: «Никогда не обратится ко Христу! Горды-ы-ыня!»

И всё-таки душа отверженного постоянно тосковала, пыталась преодолеть высокоумие и «обратиться». Пыталась до глубокой старости... Перед смертью, сбежав из дома, Лев Николаевич навестил свою сестру Марию – монахиню Шамординского монастыря, который находился в двенадцати верстах от Оптиной Пустыни. Должно быть, не только проститься с любимой сестрой приезжал к ней «Лёвушка» – ему важно было посоветоваться с ней о возможности встречи со старцами Оптиной. Он жаждал примирения, но боялся, что те не примут его. Мария Николаевна заверила, что в обители его примут с любовью.

По слухам, Толстой наведаясь-таки в Пустынь. Он прошёл в скит, приблизился, побуждаемый решимостью, к хибарке старца, ступил на крылечко, взялся за ручку входной двери, но... духу не хватило переступить порог. Видимо, признать своё поражение было выше его сил. А может, он отодвинул желанную встречу до лучших времён, когда окончательно преодолеет свою гордыню и кажущееся поражение воспримет как выстраданную, сполна оплаченную душевными муками победу. До неё было совсем близко.

Скорая, внезапная смерть на полустанке Астапово прервала цепь земных его попечений. Дьявол потешался и хлопал в ладоши, когда безбожники, окружавшие в это время умирающего писателя, не подпустили к его постели прибывшего сюда старца Оптинского Варсонофия.

...Господи, продли ещё чуть долготу дней моих земных, дай срок замолить грехи свои. Подай, Господи, «христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове».

Недели две меня бросало в жар, когда я вспоминал о своём визите к Преосвященному. Всё мог предположить, но чтобы пережить такое унижение?! И ведь что самое позорное – на ровном месте поскользнулся, не смог ответить на простенький вопрос. Стеноз сосудов головного мозга – откуда он? Ген страха? Неужели три десятилетия при Сталине смогли превзойти три века казачьей вольницы? Нет. Скорее вольница, носившая в себе законную

гордость рубежного защитника Отечества, просто остолбенела, вдруг превратившись якобы во врага того же Отечества... Ах, если бы не оскорблённое честолюбие, закупорившее мозги, неужели бы я не вспомнил, что такое кадило и что такое паникадило?! Ну, это же элементарно!

И всё-таки почему? Почему?

За ответом я побежал в женский монастырь.

Божественная литургия в этот раз не доставила мне радости. Я усердно молился, осенял себя крестным знаменем, причём чаще, чем это принято, пел вместе со всеми «Верую» и «Отче наш» и удивлялся собственному «окамененному нечувствию». Вместо сердца в груди, казалось, лежал булыжник – я даже как будто ощущал его острые грани. Он не был способен выдавить из себя «ни каплю слезную, ни капли часть некую».

Всю службу я простоял истуканом, тщетно пытаюсь проникнуться умилением соборной молитвы. Я ждал окончания литургии, чтобы поговорить с матушкой.

– Вы встречались? – спросила она.

– Да.

– И что?

– Он попросил прощения, что забыл меня. И благословил меня на... чтобы я собирал материал.

Картинка, которую я нарисовал, выглядела весьма приукрашенной, почти по анекдоту: все в дерьме, а я в белом фраке. Мне стало неловко, и, чтобы снизить пафос самодовольства, я добавил:

– Дело в том, что я не отказал себе в праве на вымысел. И справедливо поплатился за это. Владыка не может благословить меня на книгу. Он не знает, что я могу напридумывать там. Прежде он хотел бы почитать мою рукопись.

Я осознавал, что не любил её в это время: матушка была свидетелем моего унижения, а мы не любим таких свидетелей. Меньше всего она напоминала сейчас женщину, красивую и любимую мною. Она была абстракцией, бесполом существом, бесцветной монашкой, черницей.

Я вдалбливал себе, что любить нужно всех, кроме себя. Я не любил себя. И не любил её. Наверное, я бессознательно мстил за своё унижение. И в этот час, кажется, для меня не существовало понятия греха. Я бы оправдал себя во всём.

– Я сказал Владыке, какую неловкость испытал перед вами. И ещё сказал: мне сложно будет объяснить вам, на что он даёт благословение. Он обещал по этому поводу лично поговорить с вами.

– Что ж, хорошо. Надо продолжать работу, – просто сказала она. – Вы намерены задержаться после службы?

– Нет. К сожалению, не могу. Дела. В другой раз.

Я не кривил душой – у меня и впрямь были важные и неотложные дела: избавиться от раздражения, успокоиться и привести себя в чувство. Только тогда я имел право возвратиться к прерванной работе.

Постой-постой, что там внушал мне говорливый батюшка на исповеди в Вавиловом Доле? Гордыня – вот корень всех наших бед. Так что с раздражением и приведением себя в чувство справиться нелегко, но можно. А вот как быть с уязвлённой гордыней? Её, подлую, только с кровью клочками рвать...

Моя смятенность не осталась не замеченной матушкой.

– Я прочла вашу публицистическую книгу, – оживлённо сообщила она. – Скажите... Елена Андреевна разговаривает с молодыми супругами, с которыми ехала в одном купе... Мне понравился её разговор. А как сложилось у них?

– Молодых супругов не было, – я признался в этом с явным и даже, кажется, демонстративным удовольствием. – Я их выдумал. Они мне были нужны для сюжета.

– Вот как?! – удивилась матушка. – А что стало с вашими племянницами? Они расстались с сектой Муна? Это ведь такая беда...

– Племянницы?.. – Я напряг память. – Ах да... Но они не совсем племянницы. Родственники. Дальние родственники. Очень дальние. Они попали в беду. И их беда стала моей болью. Вот почему они – племянницы. Я переживаю за них так, как мог бы переживать за своих родных дочерей... Иначе не стоило бы и писать. Вялое чувство непригодно для публицистики...

– И что с ними теперь?

– Они вышли замуж. Мужей им подобрала секта. Родили детей. Младшая со своим мужем покинула секту. Старшая ещё там. За неё и болит душа. За неё и молюсь...

Ах, как не хватало мне сейчас сердечной тишины! В этот час, когда над тобой кружит гордый, несмирившийся дух, когда бес противоречия откровенно издевается над тобой, вспомнить бы, что молчание – золото, и зажать себе рот! И побыть бы в молчании час и другой...

«Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Ну почему, скажи на милость, мне не добавить, что Елена Андреевна Сапогова, героиня моего очерка, говорила вымышленным персонажам только то, что она говорила другим таким же молодым людям, и неважно, что в другом месте и в другое время? Почему не сказать было матушке, что я не вложил в уста своей героини ни слова «отсебятины»? «Горды-ы-ыня», – как сказал бы преподобный Амвросий.

И что значит: Оля и Наташа – «не совсем племянницы»? Пусть троюродные, но всё-таки племянницы! Да, племянницы! Зачем же открещиваться от родства? Разве я хотел этого? Конечно же, нет! Лукавый дух своеволия говорил моими устами. Мне было важно внушить собеседнице: имею право на субъективное восприятие мира – домысливая, я упорядочиваю хаотичную жизнь, делаю её более правдоподобной, чем она есть на самом деле.

Но опять же – почему по-простому не объясниться с матушкой? Почему надо непременно с вызовом, наперекор, с дерзостью? Не тот ли это случай, про который говорят: ради красного словца не пожалеет и отца? Увы, тот. Только вместо отца под лукавое словцо моё попали племянницы.

Про меня, про меня это: «всякий человек ложь».

– Так когда вас ждать? – спросила матушка Феодосия.

– Наверное, уже по осени, – пожал я плечами. – Что-то уж много поднакопилось дел. Успеть бы разгрести...

...В конце сентября, собираясь в женский монастырь на субботнюю службу – покаянный молебен Пресвятой Богородице с канонем Вифлеемским младенцам, – я услышал отчётливый голос преподобного Анатолия Старшего, старца Оптинского. Со свойственной ему афористичностью он втолковывал мне: «Ни матушки, ни батюшки тебя не спасут. А спасёт тебя только один врач, сто раз тебе рекомендованный, – терпение».

И всё, и баста: хочешь – иди в монастырь, хочешь – в ближайший храм. Только всё это – труд напрасный, если не запасёшься терпением, если не приобретёшь смирение!

Дурак я и есть дурак: зарекался не показывать никому недописанную рукопись, да всё напрасно. Не стерпел и в этот раз – поддался-таки на просьбу Анечки, позволил ей глянуть на мою «Долготу...» Пусть не похвалы, но хотя бы одобрения ожидал, а нет – скандал в благородном семействе вышел.

Не приняла категорически, если не сказать агрессивно, не приняла она моего объяснения, почему тридцать с лишним лет назад мы допустили грех детоубийства. Оказывается, причина не в том, что её хвори на тот момент вызывали у нас серьёзное опасение за её жизнь. Оказывается, дело не в том, что мы, как мне припоминается, приняли тогда совместное решение прежде поправить её здоровье, а потом уже думать о втором ребёнке. Оказывается, проблема была в другом – в моей измене. И только эта причина, по словам Анечки, толкнула её на аборт.

(Да разве ж то вина её – слабое здоровье? То беда, большая беда, причём не её, а наша общая. Но и с этим не согласилась Анечка, предоставив мне возможность всю полноту ответственности взять на себя!)

Я растерялся, опешил и онемел, рискуя превратиться в соляной столб. После того, как поулеглись страсти и потихоньку пришёл в себя, начал вспоминать.

Сыну полтора года, и мы только что определили его в ясли... Это было очень кстати... Когда заболела Анечка и её увезли в больницу, я мог с утра оставить сына на попечение нянечки и бежать на работу, в телерадиокомитет... Вечером я забирал его, просил добрую старушку-соседку посидеть с нашим малышом и мчался в больницу. И всё было бы ничего, но ситуация усложнилась. Заболел сын – по недосмотру нянечки из-за распахнувшейся фрамуги на ноябрьском сквозняке застудилась половина ясельной группы. Мне пришлось задействовать безотказную старушку-соседку и днём. На третий день старушка, извиняясь, сообщила, что боится оставаться с нашим мальчиком – ему становилось всё хуже. Тогда я вызвал скорую...

Анечка знала о простуде сына и очень беспокоилась. Я старался не доставлять ей лишних переживаний и как мог приукрашивал действительность. И в этот раз первый её вопрос был об Антошане.

– Всё хорошо, – начал я с дежурного припева. – Ему уже лучше.

– Я же чувствую, ты что-то скрываешь... Что значит лучше? – допытывалась она.

– То и значит... Сегодня я попросил врачей... вплотную заняться им.

– Что значит вплотную? Он где? – продолжала она распинать меня своими вопросами.

– Не надо врать. Я же по глазам вижу... Говори правду.

– Ты только не волнуйся. Он рядом. Он тут. В детском отделении. Я ж говорю, попросил врачей заняться вплотную...

В самом деле, детское отделение было в нескольких шагах от урологического. Наш кроха попал сюда с диагнозом: двусторонняя пневмония.

До поздней ночи я привидением метался по территории старенькой городской больницы, от отделения к отделению. Палаты сына и жены находились на первом этаже, и мне было удобно, притаившись у окна, наблюдать за ними. Палатный свет не застили слёзы – я не пускал их наружу, давился и глотал, когда они ещё только собирались комом в горле.

Мне не хотелось уходить отсюда и возвращаться в пустой дом. Я был с ними, моими самыми близкими...

Что было потом?.. Права жена моя Анечка: причина нашего греха не только и не столько в её болезнях. Как же я об этом забыл?..

Невыносимо стыдно признаться в этом. И не признаться нельзя – какой тогда смысл в «Долготе...» моей? Если не вымолвить мне этих слов в откровении сердечном – как же тогда Господь отпустит и простит мне, недостойному, всё, чем я согрешил перед Ним сегодня как человек, «паче же и не яко человек, но и горее¹ скота»?

Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, умилосердись и помилуй меня, грешного... И сподоби меня сказать правду...

На телерадио я работал в редакции пропаганды – готовил идеологически и нравственно выдержанные передачи, от которых, однако, особого удовлетворения не получал. Честно признаюсь, «с микрофоном по родной стране» я согласился побегать из-за квартиры, которую пообещали мне, сманив из молодёжной газеты... Я отработывал полученную однокомнатную «хрущёвку», не вылезая из командировок по городам и весям области, но душа моя оставалась там, в «молодёжке». Я тосковал по печатному слову, по нашему легкомысленно-игривому, раскрепощённому и безусловно талантливому товариществу.

¹ Хуже

В предвыходные или предпраздничные дни, возвращаясь из командировок, иногда заскакивал в редакцию газеты. Сымпровизировать застолье мы были большие мастера.

Но что это о гнусе и позоре своём пишу такими круглыми фразами? Словно эпическое полотно рисую...

Это так, наверное, душа от собственного срама прячется. Бесчестие своё заболтать пытается... Ей столько раз удавалось...

Однако ж попытаюсь собрать всё своё мужество... Надо же наконец разобраться.

Чья-то квартира в доме старой застройки... С газовой печкой... С крохотными комнатами и коридорчиками... Стол с бутылками порт-вейна... С нарезанным салом, квашеной капустой и дешёвыми пирожками с повидлом. Смех, стихи, песни. Искрящиеся, будто антрацит под дождём, глаза нештатницы – начинающей поэтессы.

Тёмная комнатка. Страх. И сосущее желание преодолеть этот страх... Искрящихся глаз не видно, только горячее дыхание. И тело, по-змеиному подвижное, грозящее выползти...

Господи, пощади меня слабого, грешного!.. Не могу больше. Нет сил на полную правду – она пошлая, убогая.

Да помнил же я, ни на минуту не забывал, что дома, в «хрущёвке», ждут меня Анечка и Антошаня. Помнил, как недавно говорил дружку, редакционному дон-жуану, в своё оправдание: «Мне нельзя флиртовать. Характера не хватает. Я раздвоенности не вынесу, свихнусь...» И всё псу под хвост.

Где я подлинный? Где фальшивый?

На самом краю бездны – когда уже ходуном заходила грудь и вскинутые руки отчаялись ухватить равновесие – едва удержался. Так, кончиком языка лизнул чужое, а от погибельного движения всё-таки увернулся... Чудом – но увернулся.

Утешение от какого-никакого уберёга и предательство – они раскачивали стрелку весов. Не допустил последней крайности, значит, не всё потеряно – убаюкивало утешение. Однако ж предательство было, и от него никуда не деться – и стрелка, склонявшаяся в эту сторону, своим остриём больно царапала сердце... Всю ночь пролежал возле жены с открытыми глазами – боялся забыться и по-звериному зареветь от невыносимой боли.

К счастью, на следующий день Анечка вместе с сыном уезжала в Казань навестить маму. Мне предоставлялась возможность в одиночестве перевести дух, зализать раны и «собрать себя до кучи»...

Утешался чудом, как оказалось, я преждевременно. Чудо, скорчив гримасу злорадства, неожиданно превратилось в чудовище. Венеролог, к которому я обратился за консультацией, вынес безжалостный приговор: инфекция! Не может быть... Ведь ничего же не было!.. Я сумел остановиться, хоть и на самом краю... Как же так?.. К этому же венерологу потащил начинающую поэтессу с антрацитовым взглядом. Суеверное оцепенение охватило меня, когда она сообщила о результатах анализов: чиста!..

Зачем Господь попустил злему духу так поизгаляться надо мной? Не сразу, много позже я понял: за грехи надо ответственность. Не давал мне уснуть «во греховней смерти».

Не стану пересказывать вынужденное объяснение с Анечкой о случившемся, когда она возвратилась из Казани. От одного воспоминания об этом душа разрывается в клочья. Но, возможно, сказанного уже достаточно, чтобы понять душевное состояние моей жены и согласиться с её правом на собственное видение причин, побудивших пойти на аборт.

«Господи, в покаянии прими мя». Если можешь, прости меня, блудного, окаянного, мерзкого, пакостного... Не только грех убийства лежит на моей чёрной душе, но и грех самоубийства. Что может быть страшнее? Господи, не найдётся во мне достойного Тебя места, где бы Ты главу преклонил...

Во время службы в Свято-Троицком соборе чаще всего я останавливаюсь у правого клироса, перед чудотворной иконой Спаса Нерукотворного. Пять лампад красного стекла

мерцают пятью огнями над киотом. По тёмному от времени и почти неразличимому лику Христа пробегает едва уловимое сияние – это отражается пламя свечей, горящих на светильнике перед образом.

– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного...

Всякий раз я всматривался в старинную икону и угадывал знакомые черты оживающего Бога – Господь был то суров и строг, то приветлив и ласков, но всегда готовый прийти на помощь и защитить...

Видя в Нём своего помощника и заступника, в конце XVI века и привезли стрельцы этот образ из Москвы в недавно отстроенную крепость на левом, степном берегу Волги, на самой окраине государства. Постоянно беспокоимые дикими заволжскими племенами и кочевниками, стрельцы перенесли город на правый берег, где дорогая их сердцу икона хранилась в деревянном, а после очередного пожара – в каменном Троицком соборе, оказывая жителям небесное покровительство.

Предание настаивает, что эта икона – список с образа, написанного Андреем Рублёвым на стене Троицкого собора в Сергиевой Лавре. Её прославление началось в 1812 году, когда стало известно о чудесном исцелении от опасной болезни приехавшего в наш город рязанского купца Якова Михайлова по его молитве образу Спасителя. Икону, висевшую снаружи над южной боковой дверью, внесли внутрь храма, по заказу купца изготовили для неё сребропозлащённую ризу и тогда же впервые отслужили благодарственный молебен.

К нынешнему дню сотни, десятки сотен прихожан, предстоящих перед стрелецкой иконой Спаса Нерукотворного, веруя в чудодейственную силу её, получили исцеления... Я молился перед ней, шептал покаянные слова и, надеясь на ещё одно чудо, просил Господа простить меня и излечить от болезни и немощи греховной.

Я молился, вглядываясь в едва различимый лик, и воспоминания, будто бы всплывающие из глубины времён, беспокоили душу.

Художник Анания, посланный к Иисусу в Иудею с просьбой исцелить Эдесского царя Авгаря, страдающего чёрной проказой... Иисус, омывающий водой лицо и вытирающий его убрусом – четырёх-угольным платом... Вода, превратившаяся в краски и запечатлевшая на ткани образ Спасителя... Исцелившийся Авгарь на коленях перед убрусом... Дым веков... Чудотворный образ, замурованный в стену, укрытый от завоевателей-иноверцев. Горящая перед ним лампада, зажжённая 400 лет назад, полная елея...

В этот час воскресной литургии от большого скопления народа в Троицком храме становилось душно и приходилось открывать окна. Волной свежего воздуха погасило пламя одной из лампад. Я подошёл к иконе, снял с лампы подгоревший фитиль и, немного выкрутив его, поднёс к нему огонёк свечи... И снова над Спасом Нерукотворным горело пять стеклянных лампад...

– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного...

Здесь, под сводом Троицкого собора, искал я сердечной тишины, когда меня предали единомышленники, когда сегодняшние тати стали вырывать из моих рук журнал и бывшие друзья молчаливо взирали на это, а кое-кто из них даже откровенно помогал вору. Моё сердце разрывалось от негодования и отчаяния – я терял любимое детище, которое выпестовал и которому отдал пять лет жизни, я терял веру в людей, терял последнюю надежду на справедливость. Страсти захлёстывали душу. Даже раскаиваясь перед батюшкой в памятозлобии, ненависти, вражде, осуждении и обиде на всех и вся, чувствовал гнев и жгучее желание отмщения. Отец Пахомий видел мои слёзы и старался успокоить меня:

– Надо смириться. Молитесь о ненавидящих и обидящих нас. Молитвы помогут избавиться от ожесточённости. Поверьте, пройдёт время, и вы иначе будете воспринимать случившееся...

А недавно в одной из исповедей своих покаяться и в том, что тридцать лет назад, задолго до своего крещения, зайдя в храм с маленьким сыном, остался стоять у стеночки и не позволил дьякону окурить нас благовонием. Это тревожило меня до сих пор и вносило в душу суеверный страх: а не обрёл ли я себя тем самым навечно остаться «у стеночки»?

Батюшка, принимавший исповедь – теперь уже и не вспомнить, отец ли Александр или отец Вадим, – поведал мне нечто неожиданное:

– Для Бога вы родились после того, как крестились. А следовательно, вам не нужно каяться в том, что было до вашего рождения. Выкиньте своё воспоминание из головы – в том нет вашего греха перед Богом.

Не знаю, так ли... И всё же прости мя, Боже, за легкомыслие молодости, за разменянную верность, растраченное целомудрие...

– Паки и паки миром Господу помолимся, – гремел своим басом на амвоне протодьякон Андрей.

Воскресная служба продолжалась. Забвение своих провинностей само по себе является одним из тяжких грехов. И это справедливо. Не стоит забывать о них. Как, впрочем, не стоит и постоянно расчёсывать старые болячки. Гораздо полезнее не повторять сегодня грехи, допущенные в прошлом, и изживать нынешние. А их, к сожалению, край непочатый.

– Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим, – словно подтверждая мою мысль, пропел громовым голосом отец Андрей.

– Подай, Господи, – поддержал просьбу хор...

Мне нравилось часами стоять здесь – у правого клироса, напротив чудотворной иконы, в тёмном, осиянном оранжевыми бликами пятне угадывать знакомый лик и вести сокровенный разговор с Тем, в воле Которого вся моя жизнь. Я наслаждался благолепием церковного убранства, дивным пением хора, чистотой и проникновенностью звучащего молитвенного слова.

А ещё мне доставляло удовольствие в конце поздней обедни со-единиться с Анечкой, простаивающей службу чуть в стороне, на левой, женской половине храма, у окна, где при необходимости можно было опереться о подоконник или присесть на скамейку. Сойтись вместе и в сгрудившейся толпе прихожан послушать проповедь настоятеля Троицкого собора игумена Пахомия. Внимая его эмоциональной, глубокой и вместе с тем удивительной по простоте проповеди, я чувал, как согласно откликается душа на каждую произнесённую батюшкой фразу.

...Словно порхающие бабочки, плясали на иконном стекле огни свечей. Ровным, неугасимым пламенем горели над образом Спаса лампы. И почему-то казалось, что зажжены они почти два тысячелетия назад.

Моему знакомству с Оптиной Пустынью никак не меньше десятка лет, и произошло оно при обстоятельствах, в равной степени для меня неожиданных, случайных и счастливых.

Журнальные дела понудили меня ехать в Калугу. Чтобы разбавить скучную домоседскую жизнь Анечке, я предложил ей составить мне компанию. Поскольку путь наш лежал через Москву, мы не преминули побывать в только что открывшемся в столице величественном храме Христа Спасителя. Гостеприимные калужане отвели один из дней моей короткой служебной командировки под культурную программу и предложили на выбор поездку в Ясную Поляну или в Оптину Пустынь. Конечно же, нам хотелось поспеть везде, но поскольку приходилось выбирать, предпочтение своё мы единодушно отдали Оптиной.

Дорога из Калуги в Козельск – не ближний свет. Да если учесть, что мы не могли проскочить мимо Полотняного Завода и не задержаться здесь на пару часов, чтобы

поклониться родовому имению семьи Гончаровых, где выросла первая красавица России Наталья Николаевна и где Пушкин не единожды переживал мгновения человеческого и творческого счастья, – если это учесть, то станет очевидным, насколько до обидного кучее время отводилось нам для Оптиной. (Однако ж мимоходом замечу: в роскошном дворце Гончаровых меня крайне неприятно поразило равнодушное и, я бы сказал, бесконфликтное соседство двух портретов – Пушкина и Дантеса, чем подчёркивался хозяевами дома равноправный статус того и другого зятя.)

Но вернёмся к Оптиной... Мы рысью пробежали по территории обители, заскочили в Введенский собор, зажгли свечи и второпях помолились, потом поклонились могилам старцев Макария и Амвросия, даже, кажется, немного постояли у их часовенок в рассеянной задумчивости и наконец рванули в скит. (Женщина, сопровождавшая нас, специалист-психолог местной службы занятости, была, что называется, не в теме и, поспешая за нами, лишь молча поглядывала на часы.)

Дорожку, ведущую в скит, обступали дубы и сосны, по обочинам курчавилась по-осеннему сочная трава, лишь слегка тронутая холодными утренниками бабьего лета. Солнечные лучи пронизывали густые кроны деревьев, светлыми пятнами стелились под ногами. Святые ворота скита, облитые ярким светом, радостно будоражили душу.

Не сбавляя темп, я минул арку ворот, успев осенить себя крестным знаменем перед иконами пустынножителей, расположенными в нишах стены, по левую и правую стороны от входа, и попал в объятия храма. Церковь представляла собой скромное приземистое сооружение, но, возможно, именно эта скромность внушала благоговейное чувство перед смиренномудрием, простотой и тихой молитвой обитателей скита. Отреставрированный храм был закрыт, территория скита безлюдна, безмолвие царило вокруг, и только намоленное небо над головой свидетельствовало о непрекращающемся бдении здешних подвижников духа.

Я обежал все скитские дорожки, и, казалось, ничто не скрылось от моего рыщущего взора. Я жадно припадал взглядом ко всему вокруг и впрок складывал в памяти, словно фотографии, запечатлённые картины: цветы вдоль тропинок, дуб, огороженный штакетником, колодец под двускатным навесом, скромные кельи монахов, трапезная, прудик, у берега поросший тростником, ровные жерди прясла и собранная шалашиком свежезаготовленная поленица, могилки иноков и опять небо и небо над скитом, дышащее Божьим благословением.

У «хибарки» старца Амвросия, уже на выходе из скита, я не выдержал суетного кружения и, сбившись с дыхания, упал на колени. «О, Господи, – безмолвно взмолился, сцепив пальцы в замок, – я пришёл сюда окрепнуть и обогатиться, а ухожу, обессилев и убедившись в своей нищете. Одна, может быть, из самых важных встреч в моей жизни, а я не нахожу на неё время. Стыд-то какой!.. Преподобный отче Амвросий, прости меня, грешного. И молись за меня. Я вернусь, я приду ещё сюда, чтобы поговорить, со всеми вами поговорить без спешки и суматохи».

«Лучше не трогать... Придётся немножко подождать», – услышал я за спиной чей-то голос.

Я догадался: говорила Анечка. И, надо полагать, говорила обо мне...

В день Покрова Пресвятой Богородицы, поднявшись раненько, я отправился на службу в храм, названный в честь этого великого праздника.

На троллейбусе доехал до улицы Горького, спустился низинкой, некогда называвшейся Глебучевым оврагом, и стал подниматься на пригорок. (По-моему, даже вспомнил, что этот Покровский храм, построенный в шестидесятых годах девятнадцатого века, назывался ещё и «церковь на горах».) Величественный храм, с вознесёнными в небо куполами, с высокой, луковкой своей цепляющей облака колокольной, встречал меня.

На подходе к храму не то чтобы легко подумалось – тупо навалилось: а я ведь был тут. И не однажды.

Вспомнилось, как в общежитии экономического института, во времена моей студенческой юности располагавшемся в этих стенах, устраивались танцы. И мы, студенты со всех вузов, сбегались сюда. Шейки, твисты и невинные танго горячили кровь.

Однажды я, слегка пьяный, распахнул первую попавшуюся дверь и ввалился в девичью комнату. Студентки сидели за шумным праздничным столом – одна краше другой. Я, молодой нахал, в один миг определил самую красивую и, подойдя к ней, раскинул руки. Она, видимо, умела ценить смелость и отозвалась встречным движением... Поздней ночью я возвратился в своё общежитие. Не включая свет в комнате и не доверяя хмельной памяти, попавшимся под руку куском мыла написал на крашеной панели над кроватью номер телефона и лёг спать... Этот номер недели две мозолил глаза и возбуждал лёгкие воспоминания. Но я почему-то так и не воспользовался им. Должно быть, ждал встречу с Анечкой...

И потом, уже инструктором отдела культуры обкома партии, часто бывал здесь, в мастерских художников. Помню, там, где сегодня святые престолы, располагались со своим хлопотным хозяйством скульпторы. На втором этаже, построенном ещё для прежних квартирантов, – живописцы. Не только плоды вдохновенного труда видели стены храма, не только целомудренное слово слышали они. Даже, казалось бы, безобидное, с точки зрения атеистов, пребывание наше в этих стенах было не чем иным, как святотатством. Как ни горько признаваться, но и я приложил руку к нему.

Прости нас, Господи, уродов: не ведали мы, что творили...

Прими раскаяние моё и благодарность за то, что сподобил увидеть восстановленный дом Твой и поклониться «ко храму святому Твоему в страхе Твоем»...

«Ко храму святому Твоему», к счастью, я ходил и позже. Ходил вместе с Анечкой...

Как же тяжело было ей стоять в колыхающейся многотысячной толпе желающих приложиться к святым мощам – нетленной деснице Иоанна Предтечи, к той руке, которая крестила Спасителя в водах Иордана.

Привезённая на короткое время святыня хранилась в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Три дня и три ночи нескончаемым потоком шли к ней люди. С вечера пристроившись к концу очереди за несколько кварталов от храма, мы переступили его порог только на рассвете.

Я едва успел прикоснуться губами к стеклянному ларцу с мощами, как меня оттащило волной непрерывно движущейся очереди. Всё произошло в какое-то мгновение – я даже не успел как следует разглядеть мощевик. Восторг и досада боролись в затуманившемся от переживаний сознании. Я ухватил Анечку за руку, и нас прибило к группке людей, стоящих тут же. Как оказалось минуту спустя, это были певчие, которым только сейчас представилась возможность приложиться к мощам. Не совсем ещё соображая что к чему, мы вместе с певчими, побуждаемые дяконом, подались вперёд и снова оказались в начале очереди.

В этот раз я использовал всю свою способность зреть и осязать. Я лобызал глазами длань Крестителя, ощущал губами, щекой живую теплоту, исходящую от святыни, прикладывал к мощевнику картонные иконки, чтобы сохранить его теплоту впрок. И, кажется, чувствовал, как входит в меня целительная сила благодати.

– Это нам подарочек за твои муки ночные. За то, что выдержала их, – поделился я догадкой, когда мы светлым утром пешком возвращались домой.

– Так Господь же поддерживал, давал силы, – отозвалась Анечка...

Праздничную службу я простоял у чтимой храмовой иконы, стараясь в мыслях и чувствах своих прибегнуть к защите Божией Матери. Впрочем, под Её Покровом мы все находимся постоянно и постоянно убеждаемся в этом. Просто сегодня я просил Царицу Небесную простить мне мои прежние, совершённые по бездумной молодости прегрешения, не отвернуться от меня и остаться заступницей во всей долготе дней моих.

А ещё я просил Богородицу, чтобы Она помогла мне умолить Сына Своего об исцелении рабы Божией Анны. Сегодня из-за болезни она не смогла пойти со мной на службу. И мне было немножко горько оттого, что она не стоит рядом и не делит со мной радость праздника, молитвенного прошения и упования.

И ещё одна просьба к Богородице была у меня: послать мне внука... а может быть, внука и внучку... или ещё больше. В оправдание моё. Когда у сына родится первенец, я наконец буду знать: Господь сжалился надо мной и, милосердный, простил мне причастность к греху Ирода. После этого и умереть не страшно.

В конце службы, когда хор уже спел «Многая лета», я подошёл к иконе Иоанна Крестителя. Она всегда притягивала меня: пророк здесь – на фоне скудного пейзажа древней Иудеи, в верблюжьей власянице, в деревянных сандалиях на босу ногу, и удивительно похожий на Иисуса. Те же длинные, с прямым пробором каштановые волосы, раздвоенная борода, пронизывающий насквозь взгляд... Глядя на икону, невольно приходило в голову: а ведь не случайно это сходство, если иметь в виду, что Дева Мария доводилась родственницей Елисавете, матери Иоанна.

От этой мысли почему-то всегда становится теплее на душе, а Иисус, должно быть, через своё человеческое естество – ближе и роднее.

Нет худа без добра: не уйди я тогда из Оптиной с чувством не-удовлетворённости от слишком короткого, торопливого пребывания там – не рвалась бы так душа моя продолжить знакомство с обласканным Богом местом и его насельниками. Вот почему я не упускал малейшей возможности, чтобы побольше узнать о знаменитой обители и назидании Оптинских старцев. Постепенно многие из них обрели для меня зримые, индивидуальные черты и общение с ними стало не только потребностью, но и вполне живой реальностью.

Не могу точно сказать, пригрезилась ли сегодняшняя наша беседа или всё это лишь плод фантазии отдохнувшего за ночь рассудка. Скорее всего, я выскользнул на рассвете из-под сени непрочного сна и уже в состоянии яви услышал их голоса. Этот разговор я помню почти дословно – вот что главное.

Меня по-прежнему угнетало воспоминание о несуразной встрече с Владыкой, оставившей в душе неприятный осадок, о нескладной беседе с матушкой Феодосией в последнее моё посещение женского монастыря, о нашей размолвке с Анечкой, наконец. Тяжёлое чувство моего недостойнства и даже как будто богооставленности лежало на сердце. С этим я и явился к Оптинским старцам.

Я стоял перед ними.

«Мы должны быть уверены, что Промысл Божий всегда о нас промышляет и устроит к пользе, хотя и противными нам случаями...»

В говорившем я узнал преподобного Льва, первого Оптинского старца. Узнал по известной иконе «Собор преподобных старцев Оптинских». Правда, в руках он держал не свиток, как на иконе, а клюку – более привычного и верного своего помощника в земных усердиях.

«Описываешь своё жизненное неустроение и нерадение, – продолжал он, – в чём прошу тебя не отчаиваться, ибо отчаяние доказывает явную гордость, но уповать на Бога».

Преподобного Варсонофия отличала от других старцев армейская выправка – даже в старости видом своим он внушал мысль, что некогда носил полковничьи эполеты. Поправив круглые очки, отче глянул на меня с сочувствием:

«Ту гордыню, в которой бесы стоят перед Богом, мы себе даже представить не можем. Мы не можем понять, с какою ненавистью относятся они к Богу... «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать». Почему не сказано, что Бог противится блудникам или

завистникам, или ещё каким-либо, а сказано: именно гордым? Потому что это бесовское свойство. Гордый становится как бы уже сродни бесу...»

«Пред Богом приятнее грешник с покаянием, нежели праведник с гордостью», – добавил старец Макарий, известный в обители исполнитель покаянных песнопений – его искренние слёзы кающегося грешника приводили в умиление братию.

«Главные козни вражьи две – бороться христианина или высокоумием и самомнением, или малодушием и отчаянием, – присоединился к беседе преподобный Амвросий, чьи брови домиком внушали мне почему-то чувство родственной близости. – У всех нас немощь одна – желание быть всегда правыми; и желание этой правоты и другим досаждают, и людей делает виноватыми перед судом Божиим».

– Но как же преодолеть в себе гордыню? – взмолился я. – Как победить страсти? Где он – путь ко спасению?

«Береги сознание своей греховности. Это самое драгоценное перед Богом, – ответил отец Варсонофий. – Что спасло мытаря? Конечно, это сознание своей греховности: «Боже, милостив буди мне, грешному!» Вот эта молитва, которая прошла уже почти два тысячелетия. Но смотри, мытарь сознаёт себя грешным, но в то же время надеется на милость Божию. Без надежды нельзя спастись...»

«Мне очень не нравится в тебе то, что находишь причину своих скорбей других людей, а не себя, – сказал преподобный Лев. – Это сильное ослепление происходит от гордости, и потому ты не находишь утешения, и печали твои бывают безотрадные».

Отец Амвросий согласно закивал головой:

«Сказано: Царствие Божие внутри нас. Мы же, оставляя искание его внутри себя, вращаемся вовне, занимаясь разбором чужих недостатков... Дело спасения нашего требует на всяком месте, где бы человек ни жил, исполнения заповедей Божиих и покорности воле Божией. Этим только приобретается мир душевный, а не иным чем... А ты всё ищешь мира внутреннего и успокоения душевного от внешних обстоятельств».

– Но ведь порочность мирской жизни постоянно провоцирует нас, – попытался возразить я ему.

«Если хочешь поставить себя на твёрдой стези спасения, то прежде всего постарайся внимать только себе одному, а всех других предоставь Промыслу Божию и их собственной воле и не заботься никому делать назидание. Не напрасно сказано: «Кийждо от своих дел или прославится, или постыдится». Так будет полезнее и спасительнее и сверх того покойнее...»

Я обнимал старцев взглядом – всех вместе и каждого в отдельности. Ах, как живописны, возвышенно-чисты были их лица, как хороши были их бороды: белые, пегие и сивые, окладистые и клинышком, длинные и стриженные. Но глаза, глаза старцев – в них горел, полыхал огонь отеческой любви ко мне, той любви, которую я вовсе не заслуживал.

«Молись только об оставлении согрешений твоих; думай о том, как бы только спасти душу свою», – посоветовал отче Иларион, высокий, седой до снежной белизны старец.

«Главное – не возносись и не думай, что твоя жизнь лучше других; а напротив, думай, что хуже, – вступил в разговор преподобный Анатолий Старший, в котором я всегда ценил афористичность мысли. – Считаю себя хуже всех на свете – вот тебе и повеселеет».

Я усмехнулся, вспомнив, что где-то читал – не у тех ли Оптинских старцев? – о том, что если поставить себя ниже всех – никто уже из смертных не унижит тебя. Правда, как правило, это как раз и не удаётся.

– Отцы святые, каждый вечер читаю молитву, в которой прошу Господа простить «ненавидящих и обидящих нас». А нет-нет да и выиграет ретивое – отмщения жажду, справедливого возмездия, – признался я в грехе. – Понимаю, что это плохо, и поделаться с собой ничего не могу, пока само не отпустит.

Преподобный Варсонофий вскинул на меня кругляшки очков:

«Враги, желая нам досадить и сделать что-либо злое, делают это исключительно по своему нерасположению к нам, но по большей части своим злом пресекают большее зло, которое грозило нам. Поэтому они истинные наши благодетели, за которых нам надо молиться».

– Но ведь враг в самое сердце ранит, – не унимался я. – А оно, уязвлённое, саднит. Как эту боль унять?

«Как скорби переносить? – переспросил доселе молчавший преподобный Никон-исповедник, последний Оптинский старец, по свидетельству современников, постоянно носивший «на своём лице нечто вроде духовной радости». – Положиться на волю Божию. А о тех, кто кого считает виновниками, думать, что они только орудия нашего спасения».

«Как только придёт в голову осуждение, так сейчас же со вниманием обратись: «Господи, даруй мне зрети мои согрешения и не осуждати брата моего», – порекомендовал отец Нектарий – старец последней послереволюционной поры, прошедший в советские годы тюрьму и ссылку.

«Воздаяние за прощение обид превосходит воздаяние всякой иной добродетели, – добавил ученик Амвросия, преподобный Иосиф. – Не осуждайте никого, всех прощайте, считайте себя худшими всех на свете и спасены будете...»

«Не ищи любви в других к себе, а ищи её в себе, не только к ближним, но и к врагам, – подытожил отче Макарий. – Чистотою мысли нашей мы можем всех видеть святыми и добрыми. Когда же видим их дурными, то это происходит от нашего устройства... Кто бы какой ни был, но всё считайте, что он лучше вас, и так приобькнете помалу, будете всех видеть – ангелами, а себя – спокойными...»

Наставление преподобного Никона, сознаюсь, прозвучало для меня откровением:

«Надо твёрдо помнить этот закон духовной жизни: если в чём кого осудишь или смутишься чем-нибудь у другого человека, то тебя это же самое постигнет, ты сделаешь сам то, в чём осудил другого, или будешь страдать этим самым недостатком».

А черту под разговором подвёл преподобный Амвросий, с улыбкой произнеся любимую шутку, которой часто отвечал людям на вопрос, как жить им дальше:

«Жить не тужить. Живи в миру как на юру, никого не осуждай, никому не досаждай, всех люби, всех беги и всем – моё почтение...»

Они стояли передо мной.

Эта встреча случилась 24 октября – в день памяти Собора преподобных Оптинских старцев. С каким-то особым, безграничным почтением и восторгом, от которого хотелось плакать, читалась мною в это утро их молитва – казалось, я пью воду из чистого родника:

«Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё, что принесёт мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всём наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твёрдым убеждением, что на всё святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.»

Ах, как по-домашнему уютно чувствуешь себя в храме в честь Воздвижения Креста Господня, что на улице Лермонтова! Однажды зайдя сюда, уже невозможно отказать себе в наслаждении ещё и ещё раз окунуться в его тёплую, доброжелательную атмосферу.

Впервые я зашёл в эту внешне неказистую, тесную церквушку в полном душевном разладе. Точнее, даже не *зашёл*, а был затащен женой, с совершенно подавленным чувством собственного достоинства.

Мне и самому изрядно поднадоело, склонив голову над аналоем с крестом и Евангелием, постоянно каяться в грехе пьянства. Признаться, пьянствовал я не так чтобы уж очень часто, но ведь и исповедовался не чаще. Так что к очередной исповеди – раз-то в два-три месяца! – в списке грехов моих на первом месте значилось «опивство без меры». Особенно же зелёный змий всласть помудровал надо мной в ту пору, когда из рук выпал журнал, а из души – вера во вчерашних друзей.

Алкогольная страсть настолько захлестнула меня, что даже некоторое время казалась единственным спасением от сердечной маеты.

На одном из писательских застолий я попросил прощения у собратьев по перу. За ошибки и промахи, которые допустил как главный редактор. За нечаянные и неизбежные обиды, которые вольно или невольно нанёс коллегам. За то, что не хватило мозгов, мудрости и деликатности, чтобы, руководствуясь интересами журнала, всё же не причинить ущерба дружеским отношениям ко всем без исключения. За всё просил я прощения. Передо мной сидели и те, кто продал меня с потрохами, но я не лицемерил, не разыгрывал шута, не юродствовал – честно освобождал свою душу от угрызений совести. Жаль только, что делалось всё это «по пьяни».

Утром, терзаемый похмельным синдромом, я понимал: угрызения не исчезли, их стало больше, значительно больше. Этому во многом способствовала Анечка, двенадцать лет назад оставившая преподавательское поприще и теперь сосредоточившая на мне нерастраченный педагогический дар. Подобно тому, как хозяйка тыкала в харю Ваньке Жукову селёдкой, так же и жена тыкала меня алкогольной зависимостью, да так больно, что я не выдержал и согласился обратиться за помощью к наркологу.

Последним аргументом, окончательно убедившим меня в необходимости такой помощи, стал небольшой эпизод, на который наткнулся нечаянно, заглянув воскресным утром в комнату жены.

– Благодарю Тебя, Господи, что не оставляешь меня своим попечением, даёшь силы превозмочь скорби и беды, – молилась Анечка перед ликом Распятого на Кресте. Она стояла на коленях, в длинной, до пят, ночной сорочке, с рукою, прижатой к груди, возле сердца. – Ты един упование моё и надежда. Молю Тебя, сохрани супруга моего, верни из плена.

И колокольный звон, зовущий к ранней обедне, оживил подспудное воспоминание: стой, а я ведь когда-то уже видел эту картину, слышал эти слова, был свидетелем молитвенной просьбы, плача о спасении. Да, да – всплыло в памяти – это было восемь веков назад: Анна Кашинская молилась о возвращении супруга из ордынского плена. А какой плен имела в виду Анечка? Из какого плена просила вернуть меня? Из греховного?.. Из алкогольного?..

Анечка разузнала, что священник Крестовоздвиженского храма окормляет городское общество православных врачей. К нему-то мы и направились со своими проблемами.

Я становлюсь глупым, вялым и бездеятельным, если сталкиваюсь с человеком инициативнее меня. Не успел я и рот раскрыть, как Анечка уже доложила отцу Сергию, какой я горький пропойца. К этому мне нечего было добавить, и потому я в основном крякал, хмыкал, краснел, бледнел и в знак согласия тряс головой, должно быть, окончательно убеждая батюшку в том, что этого спившегося дебила надо срочно спасать.

А потом была встреча с наркологом, православной душой Александром Сергеевичем. На эту встречу я уже отправился один, без «группы поддержки». У нас состоялся добрый мужской разговор за недуг «опивства», за жизнь и за Бога. Мне показалось, что любезному врачу Александру Сергеевичу было интересно беседовать со мной, так же, как и мне с ним. Он прописал несколько таблеток, которые, однако, предназначались лишь для того, чтобы я меньше нервничал, проходя путь выздоровления. Что же касалось почти гамлетовского вопроса «пить или не пить», его я должен был решать для себя самостоятельно.

Выбора, право же, у меня, человека неповоротливого, не было: начав движение, я уже как бы брал на себя обязательство продолжить его до конца. Для этого считалось

необходимым постепенно знакомиться с поучительным наследием святых отцов, ежедневно вычитывать утреннее и вечернее правило, посещать воскресные службы, почаще – раз, а то и два в месяц – причащаться. И, пожалуй, главное – уповать на Божью помощь, подчиняя свою волю Его воле.

Возможно, для меня эти условия выздоровления оказались бы не по силам, если бы не Крестовоздвиженский храм, не его домашний, семейный дух. Надо полагать, дух этот сохранился с тех самых пор, когда век назад на месте восстановленного храма, в тех же стенах, была монастырская часовня. Отец Сергей, его матушка, хор, в котором поют воспитанницы епархиального учебного центра – будущие регентши и сёстры милосердия, горсточка прихожан, способных уместиться на крохотном пространстве, взрослых и юных, стариков и младенцев, – всё и вся здесь исполнены несуетности и покоя, доверия и радушия.

Евангельское и апостольское чтение, молитва, пение девичьего хора – ни единый звук здесь не может остаться неуслышанным. Потому что он адресован персонально тебе. Потому что он возникает рядом с тобой – прямо вот тут – и буквально вкладывается тебе в уши.

Да что звук – само небо, кажется, становится ближе в этом скромном, непритязательном храме, и воздух движим взмахами ангельских крыл.

Именно тут, перед небогатым одноярусным иконостасом, как ни в каком другом месте, я всякий раз с пронзительной убедительностью ощущаю себя пусть малой, но самостоятельной частицей Церкви, частицей огромного единого целого, собравшегося во имя Божие. И чем очевиднее это чувство самостояния, тем больше ответственность за себя и за целое – за моё с ним созвучие, согласие и сотрудничество.

Честно говоря, я даже не заметил, как на первый взгляд вроде бы обременительные условия выздоровления вошли в мою обыденную жизнь и превратились в привычную норму.

Более года я не принимал ни капли спиртного. Недавно, возможно, к сожалению, позволил себе – немного и в исключительных случаях... Не стану загадывать на будущее – от сумы и от тюрьмы, как говорится... Определённо могу сказать лишь о сегодняшнем: полтора года общения с отцом Сергием, доктором Александром Сергеевичем, а также со святыми отцами не прошли бесследно. Нечто приобретённое в этом общении уже навечно останется со мной, как бы ни сложился мой век. Оно-то, это нечто, смею надеяться, поможет мне отличить Божье от дьявольского, спасение от гибели.

Не отпускают меня Оптинские старцы, держат, терпеливые, возле себя в надежде наставить немощного, погрязшего в грехах скитальца на путь истинный...

Недавно открылось мне: старец Иларион в ста шагах от моей многоэтажки жил. Там, где в тридцатые годы девятнадцатого века стоял его дом – на углу улиц Царицынской (теперь Чернышевского) и Московской, – нынче построен модульный, из лёгких металлоконструкций, магазин. Год назад он назывался «Копейкой», теперь «Рубль» – знать, бизнес в гору идёт.

У Родиона Никитича Пономарёва тоже было своё дело – пошивочная мастерская и магазин готового платья. Молодой удачливый купец пользовался среди горожан почётом и уважением, поскольку был не только замечательным портным, но и глубоко верующим, а значит, совестливым, порядочным человеком. Его благочестия хватало и на артель рабочих, содержать которых он стремился в нравственной чистоте, в соблюдении заповедей Божиих.

Пользуясь широкими связями и знакомствами, Родион Никитич в частных беседах старался – и не безуспешно – обратить заблуждающихся в православную веру. Он включился в деятельность местного общества благочестивых людей, которые боролись

с раскольниками и всевозможными сектами, активно распространившимися в это время в нашем крае. Именно миссионерские цели заставили его внедриться в скопческую секту, что было по её раскрытии использовано против него. Четыре года продолжалось судебное разбирательство, устанавливающее истинные мотивы его принадлежности к скопцам. Как пишет один из учеников его: «Промысл Божий скорбями и искушениями, терпение которых, по преподобному Петру Дамаскину, порождает разум, воспитывал будущего опытного наставника и старца».

Не случилось у Родиона Пономарёва и семейного счастья. Любимая девушка, с которой он намеревался обвенчаться, вдруг неожиданно заболела и после непродолжительной болезни умерла. И в этом виделся ему знак судьбы. Он принял окончательное решение: сохранив девство, посвятить свою жизнь служению ближним.

Этому решению во многом способствовали предпринятые им поездки по православным обителям. Почти за год странствий он побывал в Сарове и Почаеве, в монастырях суздальских, ростовских, белозерских, тихвинских, ладожских, олонецких, соловецком, московских, воронежских, киевских, в пустынях Софрониевой, Глинской, брянских, козельской Оптиной. Главное достоинство той или иной обители паломник видел в наличии старцев, способных к духовному руководству...

В тридцать три года Родион Никитич покинул наш город, став членом братства монашеского скита Оптиной Пустыни.

Вскоре назначенный скитона начальником духовник обители старец Макарий избрал его к себе в келейники. В этом послушании Родион пробыл двадцать лет, вплоть до кончины своего учителя. Многочисленные обязанности келейника не исчерпывали круг занятий его подвижнической жизни. Смирив плоть и через неё душу, он находил время и для телесных трудов – занимался скитским огородом, садом и пасекой, варил для братии квасы, пёк хлебы, находя в этом удовлетворение своему попечению о ближних.

Старец Макарий не мог не ценить успехи душевных и внешних деланий своего келейника. Потому перед своей кончиной и благословил его, бывшего портного, а к тому времени пятидесятипятилетнего иеромонаха Илариона, продолжить старчество. Вскоре на него было возложено и другое послушание – быть начальником скита и общим духовником обители, которое он нёс до конца своей жизни – юдоли плача...

Рассуждения преподобного отца Илариона, сохранившиеся в отрывках из письменных ответов духовным чадам, лично для меня каким-то чудесным образом приобретают свойство прозорливости и создают впечатление живого общения со старцем. Иной раз кажется, что преподобный отвечает на мои вопросы, размышляет вместе со мной о моей жизни, её печалях и утешениях.

Мы часто говорили с ним о скорбях, которые сопутствуют нам в наших отношениях с ближними. Я делился своими соображениями о том, что, на мой взгляд, нужно делать, чтобы не давать кому-либо повода для обид. И старец Иларион, будто бы отвечая на моё письмо, поддерживал меня:

«Видеть бездну своих грехов, непрестанно о них сокрушаться и плакать и считать себя хуже всех – это желание твоё благое, этот путь – истинный и самый верный».

Как-то я признался ему, что частенько страдаю тщеславием и не прочь прибегнуть к самовосхвалению. На это я получил от него такой ответ:

«В помыслах самохваления надо смотреть свои грехи и помнить, что без помощи Божией мы ничего доброго и полезного не сделаем, наши одни только немощи и грехи».

– А как же стимул морального поощрения? – спросил я. – Это ж хорошо, когда тебя похвалят. Ласковое-то слово и кошке приятно.

«Похвалам о себе не внимай и бойся их, – наставлял старец. – Помни, кто-то из святых отцов говорит: если кто хвалит тебя, жди от него и укоризну...»

В письмах он дал несколько советов, которые очень ценны для меня:

«Замечания делай, не давая пищи собственному самолюбию, соображая, мог ли бы ты сам понести то, что требуешь от другого. Знай, когда можно сделать замечание, а когда лучше смолчать.

Если чувствуешь, что гнев объял тебя, сохраняй молчание и до тех пор не говори ничего, пока непрестанною молитвою и самоукорением не утишится твоё сердце.

Как поступать тебе, когда нуждающиеся относятся к тебе за советами и думаешь, не грех ли давать советы другим, когда сам погружён в грех и боишься тщеславия? Если кто спрашивает, почему же не сказывать – это духовная милостыня, говорить надо от учения святых отцов, со смирением, считая себя в сем деле только орудием...»

Духовную милостыню подал мне отче Иларион, когда услышал мои вздохи по поводу «окамененного нечувствия» – рассказал я ему о нашей последней встрече с матушкой Феодосией, о том, что в храме монастыря не почувствовал в тот раз Божьего присутствия. Старец не просто успокоил – он остудил жар моих притязаний, словно из ведра окатив меня холодной водой:

«Пишешь, что иногда и чтение, и пение приводят душу в умиление и едва можешь удержать слёзы; а иногда душа бывает как камень и ничто её не трогает. Не верь много этим слезам и умилению».

Ах, как мудро! В самом деле, не пристало нам восхищаться собственным умилением!

Тяжело было мне смириться с потерей журнала, ещё тяжелее – простить недругов своих. На это тоже жаловался я старцу Илариону, писал ему, в чём вижу спасение, и получал сочувствие от него:

«Ты верно понимаешь, что ежели ты своё собственное сердце умиротворишь к гневающемуся на тебя, то и его сердцу Господь возвестит примириться с тобой».

И как тут не согласиться с абсолютной справедливостью старческого наставления: «Должно стараться о всех людях иметь хорошее мнение. Один Бог – сердцеведец, мы же о людях безошибочно судить не можем».

Сколько раз я наступал на одни и те же грабли: очаровывался человеком, доверялся ему – и получал осиновым черенком по лбу. Только по-другому, убеждён, и жить нельзя: из одного гнезда слова эти – доверие и вера...

Витают дух преподобного над улицами Чернышевского и Московской, вблизи моего дома. Неважно, что старец жил здесь сто семьдесят лет назад. На Небе иное представление о времени. Здесь мы исчисляем жизнь днями, годами. Там она принадлежит вечности. Так что со старцем Иларионом мы не только земляки, близкие соседи, но и современники. Иначе как бы он рассказал мне в своём письме о моей последней рукописи, о «Долготе дней моих»:

«О повседневной исповеди твоей пишешь, что чувствуешь в себе большую перемену и большую чувствуешь пользу, говоря о себе каждый день, и на сердце у тебя легко и хорошо, просишь объяснить твоё недоумение, отчего с тобою так? В этом действует таинство откровения, или исповеди, которую ты пишешь, объясняя о себе как на духу. И сам ты видишь: томившая тебя страшная тоска по написании оставляет – и это всегда так бывает от откровения».

...Преподобный отче, старче Иларионе, в Троицком храме, в котором ты бывал сотни раз, в память о тебе горит свеча, поставленная мною.

Святой угодниче Божий Иларионе, моли Бога обо мне, грешном...

Вот где городским парням себе невест выбирать – в храме в честь Воздвижения Креста Господня. До чего ж красивые девчата!.. Смотришь на них – и сердце радуется, налюбоваться не может.

Здесь, при храме, они и учатся, и живут, если приезжие. Будущие регентши и сёстры милосердия. А пока – воспитанницы епархиального учебного центра и участницы церковного хора.

Ай, зря нынешние модницы красоте своей не доверяют, прячут под макияжем, подмалёвывают её, Богом созданную. Им бы хоть разок послушать певчих Крестовоздвиженского. И, глядишь, открылось бы им: не выщипанные брови, не наклеенные и накрашенные ресницы, не выведенный карандашом разрез и размер глаз – свет небесный украшает лица. Этот свет не нарисуешь – не продают такие краски в парфюмерных магазинах. Этот свет изнутри идёт, в глазах, зеркале души человеческой, отражается, лицо волшебством своим в лик превращает.

Смотришь на поющих девчат – и уверенности прибавляется: нет, не загублена нынешняя молодёжь, обретается в душах свет небесный, а значит, жить России.

Выйдут замуж сёстры милосердия и регентши, нарожают детишек, приведут их в храмы Богу молиться. А детишек, уверен, они много нарожают. В отличие от родителей своих, бабушек и дедушек, в отличие от двоих прихожан, с которыми встречаются на воскресных службах, то бишь нас с Анечкой, они с юности усвоили: аборты делать – грех.

Директор учебного центра и настоятель Крестовоздвиженского храма отец Сергей – пастырь добрый и пример для подражания. У него с матушкой Надеждой двое детей – мальчик и девочка, Иван да Марья. Когда мне случается видеть матушку, стоящую перед алтарём со своими детьми, я испытываю умиление, от которого наворачиваются слёзы.

Мне любопытно наблюдать за тем, как мальчик или девочка исповедуются батюшке. О чём идёт разговор меж ними, не слышно, я только вижу лицо отца Сергея, вернее, его глаза. В них вижу страсть бесстрастную – нежность, доброту, требовательную любовь к своему чаду.

Но вот что замечательно: с той же нежностью, добротой и любовью он разговаривает и с воспитанницами, и с прихожанами. Мне чрезвычайно симпатичны его непосредственная, простодушная, какая-то солнечная улыбка и детская радость, когда в конце благодарственного молебна с водосвятием он кропит меня освящённой водой и мы поздравляем друг друга с праздником. Я невольно заражаюсь его лучезарным чувством и ощущаю себя счастливым ребёнком...

Должно быть, я далеко не единственный, кто уходит из храма с таким ощущением. Мне довелось побывать во многих – и не только нашего города – церквях, крупных и маленьких, с большими приходами и не очень. Но нигде не встречал я, чтобы каждый раз на воскресной службе исповедовались и причащались три четверти прихожан. А это тридцать–сорок человек, не меньше.

Первый и постоянный вопрос, который отец Сергей не устаёт задавать на исповеди: все ли обиды простили?

Однажды, исповедуясь, я сказал батюшке, что стал слишком вспыльчивым и обидчивым и так увяз в этом грехе, что недавно сдуру обиделся даже на Владыку. А он, Владыка, ни в чём не виноват. Он просто помогает мне избавиться от мучающих меня греховных страстей – самоуверенности и высокомерия. А то, что его помощь я воспринял как щелчок по носу, так это опять же от гордыни.

Отец Сергей, естественно, задал свой привычный вопрос. И когда я ответил, покрыл мою покаянную голову епитрахилью и тишиной разрешительной молитвы:

– Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо Василий, вся согрешения твоя...

А недавно стою на обедне в Крестовоздвиженском, и вдруг будто осенило – светло, радостно подумалось: Господи, как же Ты славно устроил, что отлучил меня от журнала. Иначе так бы и кувыркался, вышибая, пробивая, доказывая, размахивая шашкой направо и налево, чтоб самому не срубили башку. Спасал бы гордыню от посягательств. Тщеславился бы тем, что «не они – меня, а я – их». Не отрывал бы глаз от чужих рукописей, не имея возможности подумать о своей. Тешил бы своё честолюбие восторженными отзывами о заметных публикациях журнала – в письмах, звонках со всей России, на встречах с читателями, с коллегами на писательских форумах... А когда меня

стали жрать-кушать, хоть бы кто-нибудь встал на защиту. Сочувствующие были, а так, чтобы грудью, на дзоты, – не нашлось. Вот тебе и востребованность, вот тебе и признательность. Всё было – отшумело и прошло. И в этот раз подтвердилась правота Екклесиаста: всё суета сует и томление духа.

Благодарю Тебя, Господи, что укрыл от инфаркта-инсульта, что сподобил к отцу Сергию обратиться, что свёл с доктором Александром Сергеевичем, душой православной. Благодарю, что дал вразумление: то не я запретил себе выпивку, когда начал налегать на неё, заливая обиды на всех и вся, то Богородица услышала меня, просившего помощи перед Её иконой «Неупиваемая чаша».

Спасибо вам, мучители и предатели мои, что помогли исполниться Промыслу Божию. Спасибо, что предоставили ещё одну возможность пострадать и хоть немного очиститься. Я не просто прощаю вас, враги мои, – я кланяюсь вам низко, в благодарность за вашу грязную, подлую и жертвенно-благородную работу. Кто-то ведь должен был выполнить её. В сердечной искренности желаю вам избавиться от скверны плоти и духа, словно ржа разъедающей вас, выздороветь и блюсти себя, насколько это возможно, в достоинстве и чистоте. Поверьте, равно и себе я желаю того же...

Словно пламя свечей, теплилась, разгораясь, молитва – тонкие девичьи голоса возносили к небу песнь «Святый Боже». Они очень старались – будущие регентши, сёстры милосердия, хранительницы семейных очагов. И душа моя тянулась ввысь, вслед чистым, божественным звукам.

В субботу, как всегда, в женском монастыре служился покаянный молебен Богородице. Правда, теперь эта служба проходила в новом храме, где один из приделов освящён в честь 14 тысяч младенцев, от Ирода в Вифлееме избивенных, и где пребывает теперь поражающая драматическим сюжетом икона...

Я остановился перед ней и заворожённо смотрел на младенцев, а они в упор взирали на меня – не таясь, с детским любопытством и доверчивостью и, казалось, взыскующе.

Чувство вины, исподволь копившееся во мне, тревожило сердце. Но не только перед младенцами я чувствовал себя виноватым. Мне предстояла встреча с матушкой Феодосией. И я с волнением ждал окончания молебна.

– Благословите, матушка.

Я подошёл к ней, когда утихли последние слова канона Вифлеемским младенцам и храм как-то быстро опустел. Сёстры нестройной колонной в притворе ожидали игуменью, которая задержалась у клироса.

– Что-то давно у нас не были, – щепотью перекрестив меня, сказала она.

– Почти полтора года. Но мне хотелось прийти с результатом.

– И каков же он?

– Рукопись близка к завершению. Прежде чем показать её вам, я хочу кое-что уточнить. Чтобы не раздражали неточности...

– Кого раздражали? – с явным недоумением спросила настоятельница.

И я, смутившись, поторопился исправить свою оплошность:

– Ну... читателей.

– Что для этого нужно?

– Минут сорок... беседы. Прояснить некоторые детали.

– Что за детали?

– К примеру, из какого материала шьётся мантия. Или какие тексты читаются во время трапезы. Словом, мелочи...

У меня ещё хватило ума не говорить о том, что мне не терпелось уточнить клички двух монастырских коров – вдруг да ошибусь в коровьих именах.

– Нельзя ли обойтись без этого? – углы глаз матушки были устало поникшими. – Оставьте всё как есть. Вы же будете показывать рукопись в епархии? Там и поправят.

– Да, я обещал Владыке. Тем более мне не хотелось бы, чтобы он, читая, спотыкался на ухабах моего невежества...

– У меня сейчас нет времени для встречи. Не знаю, как помочь вам.

– Не бросайте меня, пожалуйста, матушка. Мне надо...

– У меня, правда, столько дел...

– Благочинная могла бы помочь мне. Может быть, она?..

– Она занята больше моего...

Во время службы мать Ангелина дважды проходила мимо, то ли не узнавая, то ли просто не замечая меня. Столкнувшись с ней в очередной раз, я поклонился и поприветствовал её – в ответ она едва кивнула, не поднимая глаз...

– Тогда назначьте мне встречу, – попросил я матушку. – Я подожду.

– Позвоните мне.

– Когда?

– Немного позже.

– Когда? Через неделю, две?..

Я понимал: канючу. И в то же время не видел другого способа закончить свою работу. Стыдно, неловко было перед матушкой. Но что я мог поделать? Отступить? Оставить рукопись незавершённой?

Через неделю, преодолевая тягостное стеснение, от которого опускались руки, я звонил в монастырь. Трубку общего телефона поднимала не настоятельница – мне говорили, что, к сожалению, пока не могут соединить с ней, и просили позвонить чуть позже. Я особо не докучал, духу хватало на один звонок в день.

Наконец мне повезло. Матушка откликнулась, и мы договорились о встрече.

В её кабинете у нас состоялся ещё один не менее сложный разговор.

Мне было легче расспрашивать игуменью о тонкостях той или иной службы, о подробностях монастырской жизни, но как только мои вопросы касались персонально матушки Феодосии, меж нами возникало непонимание. Ей казалось, я вторгаюсь в запрещённую сферу. И она, похоже, готова была вообще сожалеть о нашем знакомстве.

Как я догадывался, она страшилась не только моего лукавого вымысла, но и бесстрастно изложенного факта, который, однако, способен нанести вред сокровенной тайне монашеского бытия.

Что-то большее простого неприятия прочитал я в глазах матушки, когда спросил, как звали её в миру. Говорить об этом она отказалась наотрез. По её мнению, это должно оставаться под запретом. У монахини нет иной жизни, кроме монастыря. И нет имени, кроме того, которым нарекают при постриге. (Так и осталась она вымышленной мною Светой Ивановой.)

– Простите, матушка, – взмолился я, поднялся со стула и поклонился ей. – У меня ощущение большой вины перед вами.

– У меня тоже... Я виновата. Простите, пожалуйста. Что мало чем помогла вам. Что слишком резко возразила. Поймите меня правильно... И простите.

Через два дня Церковь отмечала праздник Николы зимнего.

Накануне вечером я побывал на службе в Крестовоздвиженском храме. Возвратившись, готовился к причащению: после молитв на сон грядущим (именно грядущим, а не грядущий) читал трёхканонник, «Последование...». Уже в постели полистал пастырские назидания архимандрита Иоанна Крестьянкина в помощь кающимся. Утром перед причащением меня ожидала исповедь.

И хотя со дня предыдущего покаяния прошло всего-то две недели, которые я провёл в основном дома, за компьютером, безвылазно работая над рукописью, грехов поднакопилось немало. Прав, тысячу раз прав отче Иоанн, утверждающий, что «у нас нет ни смирения, ни кротости, ни чистоты сердечной, ни любви, ни даже плача о грехах».

Как ни ворошил я совесть, обозревая свои недуги душевные, все они главным образом сосредотачивались вокруг самого ближнего из всех ближних – вокруг жены моей Анечки. На неё, бедную, изливалась скверна моего характера – мелочные обиды, дух противоречия, злоба. Ей, в первую очередь ей я отказывал в праве на ошибки и слабости, забывая о том, что «надо в смирении принимать посылаемые страдания и благодарить за них, как за милость, как за признак заботы о нас Бога».

Господи, я, как ничтожный человек, согрешил; Ты же, яко Бог щедрый, видя немощь моей души, помилуй меня...

Сон, сморивший меня за полночь, был недолгим. Но и тех полутора часов хватило, чтобы я, проснувшись, почувствовал себя вполне отдохнувшим, бодрым и полным свежих сил. Словно молния вдруг осветила моё сознание: грешен, очень грешен ты перед матушкой Феодосией.

Эта мысль была настолько неожиданной, что я почувствовал себя застигнутым врасплох. Господи, да как же я забыл о своей вине перед ней! Как же я, бесчувственный, ношу в себе эту тяготу, муку мученическую!..

Кто дал мне право вмешиваться в сокрытую от мира монашескую жизнь – неведомую мне, аскетическую жизнь в посте, молитве и смиренном послушании, с полным отречением от своей воли?!

– Я ведь пытаюсь сделать божеское дело, – говорил я матушке в оправдание своей назойливости. – Рассказывая о вас, я надеюсь, что моя работа будет для кого-то не только интересной, но и полезной.

И продолжал смущать и искушать монахиню. Опутанный сетями мирских страстей, я искушал уже одним своим присутствием.

Человек, уходящий в монастырь, разрывает все гражданские и семейные связи. Вступает в борьбу со страстями и похотями, с привязанностями и предпочтениями. В этой изнурительной, непримиримой брани – через неудачи, лишения и скорби – обретает сердечную чистоту. Для мира он мёртв: видя – не видит, слыша – не слышит, прикасаясь – не осязает. И тут приходит, по слову Феофана Затворника, «нечто немаловажное» со своей самостью, со своим пусть не ущербным, но иным миропониманием...

Разве может быть полноценной моя исповедь без упоминания об этом грехе, даже если и невольном?..

Простите меня, матушка Феодосия. Простите, что нечаянно причинил вам боль, напомнив о «Свете Ивановой».

Тот же Феофан Затворник назвал иночествующих «овчей купелью для проходящих к вам – больных разного рода душевными недугами». Воспримите меня, матушка, одним из множества больных, кто сподобился с вашей помощью войти в купель. Пусть она окажется для меня целительной.

Спаси вас Господи за ваше смиренномудрие и доброту. Спасибо за новогодние подарки – календарик и блокнот с видами монастыря, для меня и отдельно для Анечки, за крестное благословение и за светлый, тёплый взгляд на прощание. Спасибо за смутную догадку, осенившую меня, которую и выразить-то словами затруднительно, разве что так: отойдя – приближусь.

Помолитесь, матушка, за меня, грешного.

...В Николин день у отца Сергия, как всегда, была уйма исповедников. Чтобы не затягивать литургию до полудня, батюшка поторапливал «грешников», давая полностью выговориться лишь новичкам. Постоянные же прихожане, входя в положение, старались быть немногословными.

Я попытался уложиться в три фразы, прежде чем услышал привычное: простил ли обидчикам?

– Всем простил, – заверил я духовника, нисколько не сомневаясь, что так оно и есть. – Но я хочу покаяться ещё в одном грехе. Я не хотел, но искушал человека...

– Каетесь в своём грехе? – остановил меня батюшка.

– Каюсь. Очень каюсь...

На этом и закончилась моя прерванная исповедь. Вряд ли я согласился бы в этот раз с отцом Сергием и послушно склонил бы голову над аналоем, не будь у меня ночного покаяния...

Когда ещё шёл в монастырь, предавался наивным мечтаниям: после разговора с матушкой попрошу её вместе сходить за водой к святому источнику. Подавать духовную милостыню для неё привычно. И хотя забот у неё немерено, откликнется на мою просьбу, выкроит на прогулку полчаса.

Будем идти мы с ней тропкой нахоженной, за жизнь разговаривать. Она мне что-то о ней крайне важное скажет...

Да хватило такта не заикаться об этом. До важного, которого от кого-то ждёшь, лучше додумываться самому.

Вышел за ворота монастыря, снял шапку, перекрестившись, поклонился куполам. Боже, очисти мя, грешного, и помилуй мя...

Зимний день был морозным, ясным. Позолоченные купола горели на солнце. Яркая белизна снега слепила глаза. Тропка после ночного снегопада оказалась и впрямь проторённой. Вилась она узенькой лентой вдоль монастырской ограды, у подножья огромной вершины. Той самой вершины горы, крутой слева и пологой справа, которая хорошо видна из окошка старого храма. Нынче она напоминала огромный белый колпак, целиком накрывавший настольную лампу: матовый молочный свет исходил от неё.

Давно собирался я навеститься сюда – к монастырскому источнику. Но всё почему-то откладывал – должно быть, сам того не сознавая, приберегал хождение за святой водой к концу задуманного повествования о святынях. А оно вон как обернулось: не смог отстраниться от святынь или их от себя отодвинуть. Отсюда вместо объективной картины – сплошной субъективизм. Вместо строгой фактографичности – лирическая отсебятина. Замахнулся было на проповедь, на рассказ о пути к праведности, а вышла исповедь.

Одним упованием спасаюсь, одной мыслью в своё оправдание защищаюсь: каждый человек – это храм Божий. Его мы носим в себе, в сердце своём. И разве он не является святыней в глазах Божиих?..

Единственное средство, позволяющее содержать сердечную храмину в чистоте и опрятности, – покаяние. Без него окажется дом спасения нашего в тенетах греховных, в мусоре суемудрия и страстей, в грязи безверия.

Но и очищенный исповеданием храм может остаться полым, и высокие стены его не услышат просьбы наши без ежедневных, ежечасных забот о нём. Господи, не допусти, чтобы моления наши остались пустым звуком, просвети наш ум светом разума Твоего и настави нас на стезю заповедей Твоих. Дай увидеть Тебя в каждом мгновении долготы дней моих, как дал Ты узреть Себя ослеплённому Вавиле-пещернику...

Нынче к святому источнику маршрутное такси ходит. Приезжают люди и на своих машинах, разбирают воду канистрами. Достал и я из портфеля пластиковую бутылку, подставил под струю. Пил «очень полезную» воду, и губы сами вышлёпывали сердечные просьбы.

И ещё подумалось мне в распахнутой для всех путников, без дверей, часовенке, где в каменный жёлоб с обледневшими закрайками лилась и лилась вода: какой нищей была бы моя жизнь без знакомства с монастырём, с матушкой Феодосией, матерью Ангелиной. Нет, не пропащий странник я на земле, пока эти люди есть на ней...

Не помню, кажется, кто-то из святых отцов сказал: не надо искать Бога, Он вас Сам найдёт, не нужно только уворачиваться...

Если это так, Господи, найди, умоляю, найди меня – вот он, я. И не оброни в нечаянии, не покинь, возложи руки на голову мою и дай услышать произнесённое Тобою в земной жизни Твоей: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои... встань и ходи».

Господи, приклони ухо Твое к моленной моему, услыши вопль души моей сокрушённой....

Светлана СЫРНЕВА

Светлана Анатольевна Сырнева родилась в деревне Русско-Тимкино Уржумского района Кировской области. Окончила Кировский государственный педагогический институт. Автор поэтических книг «Ночной грузовик», «Сто стихотворений», «Страна равнин», «Сорок стихотворений», «Новые стихи», «Белая дудка» и др. Лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция», Малой литературной премии России, Всероссийской литературной Пушкинской премии. Член Союза писателей России. Живёт в Кирове.

ЧАС ТОРЖЕСТВА

Ветви черёмухи белой у самой воды.
О неподступная в царственном сне глухомань!
Если проездом на миг открываешься ты –
скройся, отстань и усталое сердце не рань.

Что тебе сердце чужое? Ты жизнью своей
с верхом полна, ты насыщена влагой глубин,
переплетеньем, тяжёлым движеньем ветвей –
и безразлична к тому, кто тебя возлюбил.

Что же ещё тебе надо? Прощай и пусти!
Ты завладела свободой, и ты не отдашь её нам.
Но в ликование жестоком не ставь на пути
белокипящих садов по пустым деревням.

Не возникай вдалеке на обрыве крутом,
не выпускай соловья в полуночную тишь!
Ты, неприступная крепость, вовеки не запертый дом,
как я мечтала, что ты и меня приютишь!

Нарождается праздник цветущей весны,
и такое в природе творится!..
Стоит солнцу взойти – и с любой стороны
вылет пчёл на цветы состоится.

Потому что и яблони все зацвели,
а куда от сирени деваться!
И буравят листву золотые шмели,
нагибая соцветья акаций.

Это школьный, старинный, раскидистый сад,
это детства весенняя зона,
где сияющий воздух до неба объят
ровным гулом пчелиного звона.

Над бескрайней равниной побед и потерь
голубые раскинуты сети.
Вот и школьный звонок – и в открытую дверь

на каникулы вырвутся дети.

На окне – позабытая кем-то тетрадь,
жизни пройденной малая веха.
Улетели! Умчались! Ничем не сдержать
беззаботного детского смеха!

И не веришь, что миг торжества преходящ,
и забудешь, что праздник невечен.
стоит солнцу зайти – из берёзовых чаш
вылет майских жуков обеспечен.

В темноте они мягко и густо скользят,
зачарованный путь выбирая,
чтобы рушиться вниз и стучаться, как град,
о дощатую крышу сарая.

ЛЕБЕДЬ

Вымахнут травы короной густой,
высушит ветер апрельскую сырость.
И лебедёнок, что рос сиротой,
за зиму в сильного лебеда вырос.

Вот он плывёт к середине пруда,
скудного детства забывший невзгоды,
словно сама его движет вода
как наивысшее чудо природы.

В заросли солнца вплетён краснотал,
чистые росы осыпали поле.
Час торжества! Он нежданно настал
как проявление космической воли.

Есть у тебя только час, только миг,
самозабвенная, вольная младость.
Но, торжествуя, никто не постиг,
не уберёт эту краткую радость.

Та же река, да не те берега,
всё раскачало волной парохода.
Скошен в лугах и уложен в стога
жаркий кумач твоего хоровода.

Это сон, это слишком опасная тишь,
значит, лёд на стремнине расколется.
Это двинулась жизнь, и, покуда ты спишь,
подступает вода под околицу.

Твой поток беспощаден, твой рокот силён,
неумолчная ночь разрушения!

И таинственным гулом весь мир населён –
гулом гибели и воскрешения.

Ни единая в небе не светит звезда
над лесами, полями, бараками.
И спасенье идёт, как приходит беда,
оперённое теми же знаками.

Пусть над чёрною бездной белеет окно
и глядится в своё отражение,
но на части разъять никому не дано
своевольной свободы движение.

Это завтра наступит пора ремесла –
время тяглое, чистое, мутное.
И не вспомнит река, как она унесла
все мосты и заслоны минутные.

ЗИМНЯЯ СВАДЬБА

Полночь. Деревня. Темно.
Стужа – вздохнуть нелегко!
Треснет в проулке бревно –
гул полетит далеко.

Роща навек замерла,
к небу вершины воздев.
Жучка – и та как стрела
с улицы мчится во хлев.

Где-то мерцает огонь,
резво скрипят ворота.
Там самовар и гармонь,
белая чья-то фата.

В эту морозную стынь
любо мне свадьбу кутить,
мимо бездвижных твердынь
лихо на тройке катить.

Стой ты, дворец ледяной,
мраморный замок любви!
Песней да пляской хмельной
брызнут паркетты твои.

Эх, погуляй, слобода,
но не кичися судьбой:
русского снега и льда
в рай не захватишь с собой!

Долго душе привыкать,
как на чужбине, в раю,
вечно грустить-вспоминать

зимнюю свадьбу свою.

Из невозвратных краёв
немо смотреть с высоты
на белоснежный покров,
на ледяные цветы.

Некому будет спросить:
чем ты, душа, смущена?
И не успела остыть
вровень с бессмертьем она.

ГИБЕЛЬ «ТИТАНИКА»

В зыбучую глубь, в бездонную хлябь
уводит сия стезя.
Не надо строить такой корабль
и плавать на нём нельзя!

Но вспомни, как сердце твоё рвалось
и кровь играла смелей:
гигант свободы, стальной колосс,
он сходит со стапелей!

Творенье воли, венец ума,
невиданных сил оплот.
И дрогнет пред ним природа сама,
и время с ума сойдёт.

В далёкую даль, к свободной земле,
связавшись в один союз,
мы тоже шли на таком корабле –
грузин, казах, белорус.

В опасный час на том рубеже
спастись бы хватило сил.
Но кто-то чёрный тогда уже
по трюмам нас разделил.

Ты вспомни, как бились мы взаперти –
все те, кто был обречён,
кто вынужден был в пучину уйти,
предсмертный выбросив стон.

Заклятье шло из воды морской,
сдавившей дверной проём:
«Пусть будет проклят корабль такой!
Зачем мы плыли на нём?!»

Ты вспомни: выжил тот, кто не ныл,
забвения не искал,
кто переборки наспех рубил
и на воду их спускал.

Кто на обломках приплыл к земле
и там из последних сил
своих находил, согревал в тепле
и заново жить учил.

И кто вписал окрепшей рукой
в дневнике потайном:
«Надо строить корабль такой
и надо плавать на нём!»

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МАРСА

Над чёрной пропастью пруда,
над тёмным лесом и над степью
встаёт кровавая звезда
во всём своём великолепье.

Она царит, в сердца неся
и восхищенье, и усталость,
и перед ней природа вся
ушла во тьму и тихо сжалась.

И всякий маленький листок
молчал, и птица затаилась.
И каждый тихо изнемог,
ещё не зная, что случилось.

Звезда! Ничтожны пред тобой
мои поля, мои дубравы,
когда ты луч бросаешь свой
для развлечения и забавы.

И, подойдя, что ближе нет,
как злобный дух на голос выпит,
ты льёшь на нас разящий свет,
который днём из нас же выпит.

И мы молчим из нашей тьмы,
подняв растерянные лица
затем, что не умеем мы
противостать, оборониться.

Мы тихо сжались, чтоб пришли
разруха, войны и неволи
и обескровленной Земли
сухая судорога боли.

Я не ищу судьбы иной
и не гонюсь за лёгкой славой –
не отразить мне свет ночной,
насквозь пропитанный отравой.

Но травы, птицы и цветы
меня о будущем просили.
И молча вышли я и ты
навстречу неизвестной силе.

КАЛЕНДУЛЫ

Уже, чернея в темноте,
ждала машина у калитки.
По дому пыль, и в суете
давно уж собраны пожитки.

И свет погас. Мы вышли в сад,
его навеки покидая.
Кругом тянулась наугад
земля изрытая, пустая.

Предзимняя печаль земли,
от коей ничего не надо!
И лишь календулы цвели,
забытые у края сада.

Они, возросшие в тиши,
взглянули с пажити опалой,
как современники души,
невосполняемо усталой.

И жизни гнёт, и славы тлен,
убогий слог житейской были,
итог предательств и измен
им в этот миг понятны были.

Мы мчались, обращаясь в прах,
во тьме кромешной, первородной,
и я держала на руках
букет календулы холодной.

Цветы смотрели на меня
в моём закрытом кабинете.
Они увяли за три дня,
как увядает всё на свете.

КРИВАЯ БЕРЁЗКА

Это давнего, дивного детства весна,
где природа блестит, оживая.
И опять во все стороны света видна
в чистом поле берёзка кривая.

Пусть убога, мала, не на месте взошла
и над пашней шумит, не над лугом –

осторожно её борона обошла,
не задело родимую плугом.

Кто её уберёт для себя и детей,
кто пахал этот клин худородный?
Фронтоник, навидавшийся всяких смертей,
иль подросток деревни голодной.

Это было в далёкой советской стране,
это есть колыбель и обитель.
Вот он едет в село на железном коне –
работяга, отец, победитель.

Это жизнь, это в космос Гагарин ушёл,
и туда же качели взовьются.
И ребёнка спросонья сажают за стол,
где раздольные песни поются.

Это миф, это клад, потонувший в веках,
и подобного больше не будет.
Я спала – и носили меня на руках
богатырские русские люди.

Из огня, из беды вынимали на свет,
в руки добрые передавая.
И стремительной жизни глядела вослед,
удалялась берёзка кривая.

АЛЕКСАНДР БУНЕЕВ

Александр Владиславович Бунеев родился в 1961 году в Воронеже. После окончания факультета журналистики Воронежского государственного университета работал в редакциях газет, в сфере общественных связей. В настоящее время – шеф-редактор журнала «Воронежский телеграф». Публиковался в журнале «Подъём», в альманахах «День поэзии–2012», «Ямская слобода». Автор поэтического сборника «Стихи разных лет», повестей «Perfect'um mobile», «Что ты думаешь по этому поводу, брат?», романа «Завтра, вчера, всегда». Лауреат различных журналистских премий. Живёт в Воронеже.

ИГРЫ АНГЕЛОВ

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

Андрей сидел за столом, покрытым изрезанной клеёнкой, на которой были изображены выцветшие фрукты, ел манную кашу из глубокой тарелки, косился в окно, за которым падал крупный снег, и краем уха слушал радио. Рекламирующая очередное лекарство женщина-врач с воодушевлением и натуралистическими подробностями рассказывала о болезнях кишечника. После этого певец Сват Михантьев в своей песне подробно перечислил, что именно Господь создал в этом мире для его любимой женщины. Из его слов как-то вытекало, что эта женщина – единственный человек на Земле, и даже господин Михантьев находился не рядом с ней, а смотрел на неё откуда-то с околоземной орбиты, облачённый в громоздкий скафандр, сжимая в руке скромный букет замёрзших в вакууме цветов. В рекламном блоке, следовавшем за откровениями Свата, мрачные голоса сообщили о распродаже итальянской мебели в салоне «Тутти-фрутти», мощах святого Пантелеймона, которые будут находиться в соборе Петра и Павла ещё две недели, и новом шампуне, содержащем вытяжку из корня мандрагоры.

«А мандрагора-то под виселицами растёт. И корни у неё живые, пищат, когда их из земли достают. Какая же из них вытяжка получается?» – подумал Андрей.

Но радио не давало возможности продолжить размышления на эту тему, поскольку диктор торжественно сообщил, что до Зимних Олимпийских игр остался год и в России начался обратный отсчёт времени. Андрей невольно посмотрел на свои часы...

Он не переносил алюминиевых ложек, поэтому ел своей, мельхиоровой, принесённой из дома, зачерпывая кашу понемногу, стараясь, чтобы ложка не задевала о дно тарелки. Он глотал и пытался вспомнить, какой была манная каша в его детстве. Выходило, что вкуснее. «Ну да, я же ни в ясли, ни в детский сад не ходил. Мне же бабушка кашу готовила», – мысленно улыбнулся Андрей.

Последнее время он думал только о своём далёком прошлом и дне сегодняшнем. Даже намечая планы на завтра, он был крайне осторожен. То, что касалось последних нескольких лет, как-то выскочило из памяти. Андрею даже казалось, что все эти события происходили не с ним, а с каким-то условным человеком из задачи в учебнике арифметики.

Когда его дела пошли в гору и он заработал первый миллион, по-явилось ощущение некоей значимости и завоёванной в кровопролитных боях самостоятельности. Антураж жизни заставил оглянуться вокруг и увидеть несправедливость, вопиющую и как бы распространяющуюся на всю страну, а не на конкретных людей. Андрей снисходительно и с охотой позволил посадить себя в паровоз, работающий на альтернативном политическом топливе.

Он слабо разбирался в политических тонкостях и не понимал, как это представители всех партий, даже коммунистической, могут бороться за демократию, но до поры

не придавал этому серьёзного значения, поверив кому-то на слово в то, что демократия может быть разной.

Ничего особенного он не делал: что-то понемногу спонсировал, принимал участие в туманных разговорах о предстоящих выборах и несколько раз приходил на митинги.

Каково же было удивление, когда однажды, прямо на площади перед японским рестораном «Касумигасеки», расположенном на первом этаже четырёхэтажного жилого дома, где он часто обедал, его схватили люди в форме, запахнули в автозак и молча повезли в неизвестном направлении.

После многочисленных разбирательств он узнал, что на него заведено уголовное дело по какой-то запрещающей статье – Андрей уже и не помнил, по какой именно. «Светит лет пять», – сказал Андрею подельник, заведующий кафедрой гидродинамических процессов, и Андрей по-детски загрустил, выковыривая из памяти подробности тюремного быта, известные ему по телесериалам и рассказам знакомых полицейских чинов.

Но случилось чудо. Вернее, не чудо, а приятная неожиданность. А если быть точным, то, как оказалось впоследствии, не очень приятная. Говоря определённое, свобода встретила Андрея у входа не то что радостно, а как-то мрачновато и даже слегка презрительно. Эта мрачность объяснялась тем, что свободу в очередной раз обменяли на бизнес, причём не чей-то, а именно Андрея. Если учесть, что были заблокированы счета, а за то время, пока Андрей считался политзаключённым, от него ушла жена, то свобода представлялась несколько в ином свете, да и принадлежала вроде как уже не ему...

Кусок масла в тарелке с кашей превратился в плотную круглую лужицу, похожую на золотую монету. Андрей тщательно перемешал масло и не торопясь поднёс ко рту ложку, предвкушая изменение вкуса...

После нескольких месяцев пошлой и унижительной суеты жизнь Андрея стала совершенно другой: бедной и плоской, словно скудная северная равнина. Раньше он думал, что такое возможно только в старых английских романах, где какой-нибудь сэр Тобби восклицает: «Я разорён!» – и уже на другой день оказывается в лондонских трущобах, одетый в лохмотья и делящий миску горячего супа со своим новым другом – бродягой Джошуа Смитом по прозвищу Чертоглот.

До лохмотьев, конечно, не дошло, но...

Вертелась в голове ещё одна ассоциация, связанная с жизненным путём Владимира Дубровского, но она была настолько опосредованной, что на неё не стоило обращать внимания.

Жизнь изменилась не только внешне. Изменились мысли, причём настолько, что Андрей начал бояться их. Вообще чувство какого-то иррационального страха не оставляло его ни на минуту. Это был не страх внешней угрозы, а скорее ощущение полной открытости и незащищённости, которое может окончиться очень быстро внезапной смертью, а может продолжаться всю жизнь, заставляя непроизвольно опускать глаза и ускорять шаг.

В тот день мысли были особенно конкретны, они обжигали пугающей реальностью. Направляясь в киоск за сигаретами, Андрей стал свидетелем незначительной аварии, произошедшей с двумя достаточно дорогими, даже по меркам его прежней жизни, автомобилями. Оба её участника – молодой, рябой, стриженный бобриком парень, в распахнутой кожаной куртке с меховым воротником, и девушка с остановившимся, тяжёлым взглядом, одной рукой сжимавшая мобильник, а другой – полузадушенную микроскопическую собачку, – кричали друг на друга, виртуозно используя ненормативную лексику. Вокруг сразу же образовались пробка и небольшая толпа, с интересом наблюдавшая за происходящим. Андрей смотрел в открытые рты и думал, что этих людей ничем не изменить, не исправить и не перевоспитать, а наилучшим выходом из ситуации будет их полное физическое уничтожение, являющееся актом

милосердия. И акт этот не приведёт ни к каким последствиям, а просто поставит большую жирную точку на некоем недоразумении и наконец выведет двух представителей рода человеческого из тесного и вонючего тупика, в котором они собирались находиться всю оставшуюся жизнь. Подумав об этом, он тут же почувствовал смущение и стыд, на короткое время ощутив себя и наблюдателем, и участником событий, и пошёл прочь, не желая смотреть на кончину собачки, которая уже не билась в конвульсиях, а висела в руке девушки серой бесформенной тряпкой.

У киоска его ждал очередной сюрприз. Сигареты, которые он обычно курил, с сегодняшнего дня стоили сто двадцать рублей. «Как в Германии, – подумал Андрей. – Но в какой-то другой Германии, не сегодняшней. Однако качество осталось российским. Новый закон теперь заставит курильщиков ощущать себя не только больными, но и бедными, прячущими окурки в ладонях и пускающими дым в рукав».

Он положил на прилавок две сотенные купюры и вдруг замер, увидев за стеклом выставленную коробку папирос «Беломор». На привычной до умиления квадратной пачке, с изображёнными на ней синими венами рек, пробуждающей богатые, но, казалось, давно ушедшие в прошлое ассоциации, теперь чернела жирная крупная надпись: «Курение убивает». Это был настолько явный и недвусмысленный намёк, посланный ему государством, что Андрею захотелось перекреститься. Он подавил в себе это желание, принял из рук продавщицы с добрым и порочным лицом бывшей проститутки горсть тёплой металлической сдачи и медленно побрёл прочь.

Минут через сорок он опомнился и понял, что попал в какое-то незнакомое место. Перед ним на заборе висело объявление: «Детскому саду требуется ночной сторож». Андрей, не размышляя ни секунды, свернул в ворота детского сада, разыскал заведующую, и на другой день его приняли на работу, несколько не удивившись подробностям биографии, из-за чего Андрею стало даже немного обидно...

Андрей добавил в кашу ложку сахара, долго размешивал, пока сахар не перестал хрустеть на зубах, и глотнул остывшего чая из большой чашки тонкого стекла, тоже принесённой им из дома...

Детский сад, в котором он стал работать, построили так давно, что первые его воспитанники уже умерли. Нелепо большое двухэтажное здание в виде буквы «П» стояло на таком огромном участке, что сохранить его можно было только благодаря постоянным счастливым случаям, на которые иногда бывает богата российская жизнь.

На территории сада находилось шесть или семь квадратных беседок, детские городки и площадки, неухоженные клумбы, гипсовая скульптурная свежепобеленная композиция, изображающая группу детей, стоящих вокруг высокого человека с усами и в широкополой шляпе. Когда Андрей спустя некоторое время спрашивал у работников детского сада, что это за человек, никто не мог сказать ему ничего конкретного. Мужчина в шляпе напоминал и Максима Горького, и Мичурину, и Ницше, и Фридьофа Нансена, и Альберта Швейцера. Осенью вокруг скульптуры расцветали белые и розовые астры, что было очень красиво.

На участке росло множество старых деревьев различных пород, так что летом всё это напоминало Андрею парк старинной дворянской усадьбы, где можно было часами играть в прятки, забираясь в таинственные уголки, а потом в сараи и конюшни. Это желание было настолько сильным, что однажды во время тихого часа Андрей предложил группе курящих молодых воспитательниц начать игру и даже вызвался водить. К его удивлению, девушки восприняли предложение с энтузиазмом, но в свою очередь предложили перенести игру на день приближающегося общегородского субботника.

В обязанности Андрея входил ночной обход территории, что не доставляло ему никаких хлопот. Любители спиртного ни от кого не прятались и могли выпивать где угодно, не утруждая себя перелезанием через забор. Так что Андрей изредка спугивал парочки, но не прогонял их, а предоставлял возможность довести дело до конца и выводил через главные ворота. Как правило, второй раз молодые люди здесь не появлялись. Иногда ему

приходилось вытаскивать из беседки попавшего туда в полубессознательном состоянии бомжа. Чаще всего он встречал птиц, реже – белок, один раз ночью видел ежа.

Если уличный обход постепенно стал приятным и привычным делом, то обход самого здания оставлял у Андрея тягостное чувство. Длинные тёмные коридоры, их ответвления, закоулки, лестничные пролёты и в особенности обширные спальни, заставленные пустыми маленькими кроватками, освещённые мёртвым светом уличного фонаря, будили в душе Андрея эсхатологические мотивы и порой не давали заснуть до утра.

Район, в котором находился детский сад, существовал давно, как минимум лет двести. Когда-то его заселяли люди, промышлявшие извозом. Примерно век назад здесь построили небольшие заводы, а в советское время и крупные предприятия, на которых работали тысячи людей, что и объясняло размеры детского сада. До недавнего времени сад был окружён частным сектором, но, как только советские заводы благополучно остановились, территорию начали застраивать многоэтажными домами. Однако десяток-другой старых, послевоенной постройки, домиков ещё остался. Там кто-то жил, как казалось Андрею, какие-то советские тролли, по вечерам тускло светились окна, топились печи, и поэтому зимой можно было видеть дым, уходящий в небо столбом, и ощущать уютный, успокаивающий запах курного угля.

Через некоторое время Андрей стал неожиданно получать утром, после окончания своей смены, чай или какао, а также кашу или блинчики, в зависимости от того, чем в этот день завтракали дети. На довольствие его поставили с согласия заведующей и по инициативе поварахи со странным именем Изольда, которая, как понял Андрей, не равнодушна к нему. Она удивительно не соответствовала своей профессии: худошавая, даже изящная, небольшого роста, напоминающая эмансипированную петербурженку начала прошлого века, правда, до тех пор, пока не начинала говорить. Она часто задерживалась после работы, заходила к нему, присаживалась на стул и, сложив на коленях руки, сдерживая смех, ожидала начала разговора. Окончательно Андрей покорила её историей о Тристане и Изольде, которую рассказал, с удовольствием вспоминая прочитанные когда-то строчки и красочные волшебные картинки.

Однажды Андрей отремонтировал беседку, а потом вызвался покрасить забор, купив для этого кисти и краску нужного цвета. С этих пор он оставался в саду и днём. Зимой расчищал дорожки, обрезал деревья и кусты, менял перегоревшие лампочки, а иногда по просьбе воспитателя успокаивал разыгравшихся детей, рассказывая им истории из богатой на приключения жизни своих бывших коллег, опуская некоторые моменты и подбирая понятные детям слова.

С огромным удивлением он узнал, что умеет рисовать. Это получилось случайно, когда он пытался изобразить заведующей схему перепланировки участка, где намеревался разбить несколько новых клумб. С тех пор он рисовал красочные плакаты к праздникам или с наглядной агитацией, писал поздравления с днём рождения, а площадка у забора, на котором он изобразил сказочных персонажей, стала объектом посещения комиссий и делегаций департамента образования. Андрея провели по какой-то ведомости, увеличив ему зарплату на три тысячи рублей, и стали кормить обедами и ужинами.

Хотя здание детского сада и было мрачноватым, но его проект тем не менее предусматривал комнату для ночного сторожа, где стояли необходимая мебель, холодильник и маленький телевизор. Андрей принёс из дома постельное бельё, посуду, минимум одежды и бритвенные принадлежности. В маленьком чулане висела рабочая куртка, ватные штаны, перчатки, лежали валенки. В конце коридора располагался душ для сотрудников, там же постоянно тихо гудела стиральная машина. Так что Андрей неделями жил здесь, выбираясь домой только в случае крайней необходимости. Компьютером он не пользовался уже года два, телевизор практически не включал, обходясь радио и той информацией, которую приносили сотрудницы.

В последнее время он пристрастился к книгам из небольшой библиотеки детского сада и находил это занятие весьма увлекательным, дочитывая то, что не прочитал в детстве.

Особенно ему нравилась сказка «Незнайка на Луне». Эта книжка живо напоминала краткий курс истории советской и постперестроечной России, изложенный ярким, доходчивым языком задом наперёд. Он несколько раз перечитывал то место, где лунные капиталисты, вдохновлённые общественно-экономической формацией коротышек из Цветочного города на Земле, отдали все свои несправедно нажитые деньги и стали трудиться простыми рабочими на своих бывших предприятиях. В воскресные дни они выезжали в лес и на реку или посещали зоопарк, кинотеатр и планетарий, пополняя своё образование и получая огромное удовольствие, которого были лишены ранее, занимаясь бизнесом и думая исключительно о прибыли. Всё это было вдвойне увлекательно, поскольку многие персонажи книжки даже внешне походили на его бывших друзей, знакомых и партнёров.

Не все книги были так веселы и занимательны. Одну, например, он так и не смог дочитать до конца, до того туманной и мистической она ему показалась, хотя и предназначалась для младшего школьного возраста. Речь в ней шла о каком-то лунном мальчике, двойнике обычного земного мальчишки. Все события, как правило, происходили ночью. Лунный мальчик никак не мог попасть на Луну, поскольку мальчик земной всё никак не находил специальные голубые таблетки, которые помогали погрузиться внутрь себя и получить возможность перемещаться в пространстве и времени. В конце концов, земной мальчик нашёл только одну таблетку и отдал её лунному. Сцена их прощания заставила Андрея отложить книжку в сторону и задаться вопросом о том, чем могли пользоваться советские детские писатели для стимуляции своего творчества...

В каше оказался комок. Андрей хотел выплюнуть его, но, подумав, растёр языком и запил чаем, ощутив вкус непроваренной манной крупы...

В комнату, постучав, вошла Изольда.

– Андрюш, – произнесла она нараспев, – там, в кухне, от плиты ручка отлетела. Посмотришь?

– Посмотрю, – сказал Андрей.

– И кастрюля прогорела насквозь. Первый раз такое вижу.

– Так мне что, кастрюлю залудить?

– Не надо ничего лудить, – засмеялась Изольда. – Кастрюлю мы спешем. Как каша?

– Хорошая каша, только несладкая, водянистая и комков много.

– Приготовлено в соответствии со всеми нормами. А много сахара детям вредно.

Что бы ты понимал в каше!

– Из, я кашу не стараюсь понять, я её ем.

Изольда опять расхохоталась, пересела ближе и, опустив голову, снизу заглянула Андрею в глаза.

– Ладно, сегодня на обед суп с фрикадельками.

– Его тоже понять необходимо?

На этот раз Изольда хохотала не меньше минуты. Отсмеявшись, она тихо спросила:

– Ты сегодня ночевать здесь будешь?

– Не знаю, сейчас по делам пойду, а там посмотрим.

– Что ж за дела у тебя?

Андрей посмотрел на Изольду долгим рассеянным взглядом и ничего не ответил. Собственно, дело у него было только одно: заглянуть к знакомому психотерапевту. Поговорить как бы о ничего не значащих вещах, о снах и реальности, о границе между ними, а также о том, насколько одно может проникать в другое. Побудило Андрея к этому вчерашнее событие, которое он не решался назвать встречей, но и говорить о нём как о сне было бы большой натяжкой.

Вчера во время ночного обхода здания, стоя на пороге игровой комнаты, Андрей почувствовал, как кто-то дёргает его сзади за куртку. Две мысли пронеслись у него в голове. Первая: в детском саду не может быть ни единого живого существа. Вторая:

дёргали вниз, как мог бы делать только ребёнок. Андрей обернулся и увидел мальчика лет пяти, бледного, остриженного наголо, в наброшенном на плечи, поверх какой-то невразумительной одежды, одеяле, концы которого лежали на полу. «Забыли ребёнка забрать. Вот уроды! А может, случилось что с родителями?» – подумал Андрей. Но тут же отверг эту мысль, поскольку воспитатели не ушли бы из детского сада, оставив ребёнка.

– За тобой мама не пришла? – всё-таки спросил он.

– Да какая там мама, – по-взрослому махнул рукой мальчик, – нет у меня давно никакой мамы.

– Ты что, сирота?

– Ну, можно сказать и так, хотя это странно звучит.

– А! – осенило Андрея. – Ты бездомный? Просто как-то попал сюда?

– Нет, бездомным меня назвать нельзя. Я же всё-таки здесь живу.

– Где?

– Здесь.

– И давно?

Мальчик поднял глаза к потолку, подумал и отчётливо произнёс:

– Где-то с 1932 года.

«О-па! Что ж делать-то? Он сумасшедший. И говорит как-то странно, не по-детски...» – пронеслось у Андрея в голове.

– А как же тебя никто не видел столько лет? – спросил он, размышляя, как ему, не упуская мальчика из виду, позвонить по телефону заведующей.

– Прятаться надо уметь! – сказал мальчик с оттенком гордости. – Тем более что есть где спрятаться. Да и всё можно сделать, если потихоньку: и напиться, и одежду стащить, и помыться. А иногда и, наоборот, не потихоньку. Я сколько раз вместе с группой гулял, а воспитатели ничего не замечали. В девяносто третьем году меня один чужой папа чуть домой по ошибке не забрал.

– Пьяный был, что ли?

– В стельку.

– А что же ты сейчас объявился?

– Хотел у вас поесть чего-нибудь попросить, не получилось сегодня ничего утащить из кухни. Вы не бойтесь, я вас знаю: вы – дядя Андрей, ночной сторож. А я – Иван.

– Да я не боюсь. Это ты должен бояться. Ведь я про тебя расскажу.

– Нет, вы не такой, как все остальные. Вы меня не выдадите. Да и потом, я ведь так спрячусь, что меня никто не найдёт. А вам не поверят, ещё за сумасшедшего примут. А тогда прости-прощай, убежище. Вы же тоже прячетесь.

– С чего ты взял?

– Знаю. Я давно за вами наблюдаю.

– Ванечка, всё-таки скажи, где твои родители?

– Они погибли в 1931 году. Поезд потерпел крушение. Ну вот, я когда узнал, то здесь спрятался. Воспитатель подумал, что меня родственники забрали, а родственники думали, что я погиб вместе с родителями. Там, говорили, такая каша была... А может, никто ничего и не подумал, а... Время тогда, как я понимаю, непростое было.

– А они у тебя кем были?

– Стеклодувами. Тут недалеко работали, на фабрике, не знаю, сейчас она цела или нет.

– Ну, а дальше?

– А дальше я подумал: зачем выходить, куда? В детдом? К дядьке с тёткой? Они у меня такие... были. Не очень хорошие люди. Вот и остался. С тех пор прячусь. Да и события приключались одно хуже другого. То 37-й год, то война, то смерть Сталина. В хрущёвскую оттепель хотел было выйти, да она закончилась быстро. А потом застой, а потом перестройка. А потом Советский Союз исчез. А сейчас и вовсе такое, что не дай Бог.

– Ваня, а откуда же ты знаешь обо всём?

– А радио, а телевизор? А разговоры всякие? То воспитатели, то родители, то дети что-нибудь рассказывают, а я подслушиваю. И делаю выводы, – добавил он вдруг неожиданно громким голосом так, что Андрей вздрогнул.

– И ты один всё время?

– А с кем же? С чёрной курицей, что ли?

– С какой чёрной курицей?

– Книжку я тут стащил в 1967 году, «Чёрная курица, или Подземные жители». Про Алёшу и курицу.

– А... А как же ты не вырастешь, Вань? Ведь тебе лет-то сколько?

– Да как было пять, так и осталось. Как же тут повзрослеешь при такой жизни? Дядя Андрей, дай что-нибудь поесть, а потом поговорим, если хочешь.

С некоторой внутренней дрожью Андрей взял мальчика за руку и повёл к себе, ощущая тонкие и холодные пальчики Ивана. Мальчишка говорил как взрослый, но в его речи были заметны детские интонации, да и некоторые слова он произносил неправильно. Конечно, всё, что он рассказал, было полным бредом, но Андрей предельно чётко понимал, что ни один пятилетний ребёнок не в состоянии придумать то, о чём поведал ему Иван.

В комнате Андрей усадил мальчишку на кровать, разогрел чайник, достал из холодильника колбасу и сыр.

– А можно яйцо? – спросил Иван.

– Конечно, но оно сырое.

– Я люблю сырые, – сказал Иван, ловко разбил верхушку, обильно посолил и с громким хлопанием выпил. Подумал и потянулся за вторым.

– Ну и яйца! – пробормотал он сам себе. – Никакого вкуса. В пятидесятые были яйца как яйца – крупные, вкусные, душистые.

Он съел два бутерброда, выпил чаю и уже веселее посмотрел на Андрея.

«Мальчик как мальчик, даже симпатичный. Яйца как яйца... Не хватало, чтобы сейчас припёрся кто-нибудь. Подумают чёрт знает что...» – размышлял Андрей. Он совершенно не знал, что ему делать, хотя решение позвонить заведующей не пропало.

– Вот так, дядя Андрей, – неожиданно сказал мальчик, – я не вырасту, вы, похоже, куда-то возвращаетесь, но всё равно остаёмся мы самими собой. Дети остаёмся. Можно я к вам приходить буду? Иногда очень скучно одному...

Дальнейшего Андрей не помнил. То ли он заснул, то ли потерял сознание. Но когда очнулся, обнаружил себя в кровати. Мальчик либо ушёл, либо его не было вообще. Чашки стояли на своих местах, крошки на столе отсутствовали, а сколько оставалось со вчерашнего дня колбасы и сыра, Андрей не помнил. «Яйца надо на ночь считать, сейчас точно определил бы, был кто-то у меня или нет», – подумал Андрей.

К психотерапевту он не пошёл. Два дня и три ночи он потратил на доскональное обследование здания. Он обошёл все комнаты, простучал стены, облазил каждый закоулок подвала, спустился в старое заброшенное овощехранилище, спугнув тощую, злобную, словно из сказки про Буратино, крысу.

Андрей искал место, где можно было прятаться в течение восьмидесяти лет. Он не верил, что видел сон. Не верил и в реальность случившегося, но знал, что Иван больше не придёт к нему, что эти поиски – последняя возможность увидеть его лицом к лицу и спросить о чём-то самом главном.

«Найду и усыновлю. А может, спрячусь вместе с ним. Или спрячусь и усыновлю. Хотя, это ведь он должен меня усыновить, по логике вещей... А что я ему скажу? Нечего мне ему сказать. Буду его слушать. Но для этого надо его найти, там разберусь как-нибудь. А вот если не найду? Что тогда? Мне же надо с ним быть? Или им быть? Или кем быть, а? Быть или не быть? Вот как вопрос стоит!.. Куда же он спрятаться мог, всё же на виду?» – думал Андрей, освещая фонарём тёмное пространство над балками тёплого и, казалось, бесконечного, как мост в тумане, чердака.

В подвале за фанерными щитами притаилась дверь, ведущая, очевидно, в старое бомбоубежище, но она была не только закрыта, но и заварена.

Андрей вышел на крыльцо и, сложив ладони рупором, крикнул в тёмный заснеженный двор:

– Иван! Иван!

С ветки, хлопая крыльями, взлетела ворона, и невесомый снег бесшумно и медленно опустился на землю...

Поиски результатов не дали. Андрей разыскал только почерневший пятак 1946 года, тусклое круглое зеркальце в дешёвой пластмассовой оправе и ветхий женский кошелёчек, сплетённый из цветной соломки. Внутри лежал пожелтевший трамвайный билет со счастливым номером: 115700.

Этот билет он показал Изольде, когда она осталась с ним следующей ночью.

– Смотри, Из, счастливый билет.

– Что же в нём такого счастливого, Андрюша?

– Сумма трёх первых цифр равна сумме трёх последних.

– Ну и что?

– Ничего, примета такая. Желание надо загадывать.

– Загадал?

– Загадал.

– А... А это куда билет?

– На трамвай.

– У нас в городе и трамваев-то давно нет. Уехало твоё счастье.

– Куда уехало?

– Туда, где трамваи были, наверное.

Они вышли во двор и долго гуляли, оставляя следы на свежеснеженном снегу. Потом Андрей смотрел из окна, пытаясь понять рисунок их прогулки, и не понимал. Следы вели и на запад, и на восток, заходили в тупики и возвращались, петляли, оставляли на снегу вытопанные полянки, а иногда, когда кто-то из них, шая, прыгал, расстояние между следами было больше метра, будто здесь шагал великан.

Утром детей собирали на прогулку. Андрей с интересом прислушивался к их разговорам во время долгой процедуры одевания курток, шапок, рукавиц и шарфов. Он слышал разные слова – то не совсем приличные, то детские, то взрослые, то совершенно непонятные, вроде «курса акций» или «космополитен». Потом дети вышли во двор, разбежались в разные стороны, и следы, оставленные ночью, исчезли, словно их и не было...

Андрей сидел за столом и ел манную кашу из глубокой тарелки алюминиевой ложкой. Радио на стене доиграло музыку, помолчало, а потом глубокий бас Кашалота медленно произнёс:

– В эфире комитет охраны авторских прав природы...

И смешной голос Попугая прокричал:

– КОАП! КОАП!

За окном медленно падал крупный, мохнатый снег. Андрей загляделся в окно на густое переплетение чёрных голых веток.

– Андрюша! – раздался голос воспитательницы. – Ты о чём задумался? Почему не ешь? Вот я твоим родителям всё расскажу, когда они тебя забирать придут.

– Я не хочу, Мария Сергеевна!

– Ешь хорошо, а то у тебя не будет сил и ты не сможешь стать тем, кем хочешь. Ты кем хочешь стать? Космонавтом?

– Не знаю, Мария Сергеевна... Никем не хочу. Комки в каше...

– Выплюнь аккуратно на салфетку.

Андрей хотел выплюнуть, но передумал и разжевал тугой комочек, ощутив вкус непроваренной манной крупы.

ИГРЫ АНГЕЛОВ

Я сильно устал. Как? Возьмите обычную человеческую усталость духа и умножьте на сто.

Мне одиноко. Человеческое одиночество умножьте на тысячу – и поймёте, о чём я говорю.

Конечно, это пройдёт, как тоска, называемая вами депрессией, но тоска в двадцать второй степени.

Самое обидное, что я не ощущаю от всего этого никакого дискомфорта. Ничего не изменилось в моём существовании. Просто, чтобы вам было понятнее, прошлое и будущее слились воедино. Примерно так, примерно...

Однако я не могу сказать, что невообразимое количество ваших земных лет повисло на мне тяжким грузом. Никакого груза нет, я радостен, тих и светел. Но мне захотелось поговорить, если можно употребить это слово. Просто поговорить, насколько это возможно в моём положении. Вот я и нашёптываю сейчас первому попавшемуся представителю рода человеческого то, о чём думаю.

Хотя нет, не первому попавшемуся... Вечерняя темнота в сентябре, особенно в больших городах, часто неестественна, словно создана не природой. Поэтому и люди в это время кажутся странными. Они словно сближаются, их голоса звучат глухо, но отчётливо, они разносятся далеко в мягком воздухе. И мысли немного ленивы, словно нарисованы углем или мягким карандашом на толстой, крупнозернистой бумаге.

Вот девушка, выражение её лица меняется постоянно, словно картина облачного неба в ветреный день. Но думает она бесформенно и медленно, её мысли мутны, их трудно понять.

Вот мужчина, его судьба трагична, очень скоро ему придётся уйти из этого мира, к которому он так привык.

Вот ребёнок, который лучше других сможет понять меня, поскольку он ещё слышит другие, недоступные остальным звуки и голоса, видит невидимые образы. Но он плачет, упав и разбив колено. Я не хочу ему мешать.

Утром я устремился прочь из города и относительно недалеко обнаружил старый яблоневый сад. Деревья ещё были зелены. Они стояли редко, а между ними росла высокая трава, тоже зелёная, с вкрап-лениями осенних диких цветов. Кое-где сквозь зелень листы просвечивали маленькие красные яблоки, как на картинах рая у старых голландских мастеров. На траве лежал молодой человек.

Человек как человек: беспечный, наивный, добрый, любящий, в меру эгоистичный, не понимающий природу многих явлений. В небольшом багаже его жизни помещался коротенький набор старых добрых грехов, но зачастую грешил он неосознанно, полагая, что этот мир создан только для него. Типичный антропоцентрист, хотя и не подозревающий об этом. Не подозревал он и о том, что пока ещё был счастлив. Мысли его были остры и чётки, как сентябрьские тени. Кроме того, они представляли собой образный строй, так что я наблюдал некий спектакль пустякового содержания. К нему я спустился и шепнул несколько слов.

Надо заметить, что за все годы моего существования с людьми я говорил всего несколько раз, но всегда это заканчивалось не очень хорошо. В том числе и для меня. Один раз я заговорил с женщиной. Это было во Франции в 1585 году, на берегу Луары. Разговор закончился тем, что я принял облик, наиболее привычный для человека, поскольку очень захотел искупаться в реке. Я окунулся в воду, спел песню и внезапно почувствовал, что не хочу возвращаться обратно...

Спустя полтора века я решил поговорить с Яковом Брюсом в Москве. На этот раз он не пускал меня назад, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуться...

Шесть тысячелетий назад, в Вавилоне, заговорив с прохожим, я столкнулся с нечеловеческим сознанием, с незнакомым мне образом мыслительных процессов и не смог проникнуть сквозь плотную завесу к разгадке этой личности. А если говорить откровенно – не захотел...

Чтобы настроить молодого человека на разговор, я уронил с ветки три яблока на траву, около его ног. Они упали с равными промежутками времени. Затем на его щеку скатилась с листа капля невысохшей росы. Облако, на которое он смотрел, приняло очертания слона. Всё это прервало ход его мыслей, и они начали выстраиваться в нужном мне направлении. Как это обычно происходит, молодой человек стал размышлять о чём-то другом, напрасно пытаясь понять, почему именно эти мысли пришли ему в голову. Он выстраивал свои неуклюжие ассоциации, не догадываясь об истинном положении вещей. Потом он начал задавать себе вопросы, не подозревая, что задаю их я. Но отвечал на них он самостоятельно.

А я рассказывал ему о человеке, которого опекал последнее время, до того момента, как он отошёл в мир иной. Ну, чуть позже этого момента. Мне пришлось ещё проводить его туда, куда ему было необходимо попасть.

В таких случаях мы идём по интересной дороге, которую многие люди представляют себе по-разному: то в виде туннеля, то в виде тропинки между чёрных мрачных скал, или как спуск к реке, или как склон, ведущий к низкой стене. Ну, вы наверняка знаете, читали. Или представляли. Это, конечно, не ваше воображение, а наши игры. Но игры серьёзные и необходимые. На самом деле дорога вполне обычная, только через некоторое время попадаешь на перекрёсток. А дальше ведомым оказываюсь я, а вовсе не мой попутчик, как вы всегда думаете...

Впрочем, довольно об этом. Итак, я опекал человека, личность достаточно заурядную, нечувствительно превзошедшую все хитросплетения трёх последних десятилетий сумасбродного российского времени. Человек родился, его крестили, причём этот факт он долгое время скрывал, а потом говорил о нём публично и достаточно часто. Затем он уехал из прекрасной деревни, где ему не надо было ни о чём думать, в город, учился, работал, делал карьеру, женился. Некоторые Божии заповеди нарушал, некоторые – нет. Радовался самым незамысловатым вещам и процессам. Имел притуплённое восприятие действительности и, наверное, поэтому умел приспосабливаться к любой ситуации. Зато когда впервые попробовал банан, даже не задумался, в какой стране растёт такой плод, что это за страна и какие там обычаи. Мало чему удивлялся: на моей памяти, он был поражён тем, что огромное количество крылатых фраз и цитат, которые он считал народными поговорками, взяты из Библии. После этого он даже начал читать эту книгу, но застрял на третьей главе Исхода, так и не добравшись до Нового Завета.

Мнение своё по некоторым вопросам скрывал, уважал силу, пренебрежительно относился к людям, был малообразован, любил выпить. В конце жизненного пути приобрёл менторские замашки и своеобразные привычки: например, постоянно пересчитывал денежные купюры и с огромным интересом наблюдал, как ящерица отбрасывает хвост. Поэтому ходил по лугу в окрестностях своего дачного участка с пачкой ассигнаций в кармане спортивного костюма и наступал на хвосты встречным рептилиям. Хотя что здесь удивительного? Навуходоносор считал песчинки в пустыне, а Скуратов-Бельский постоянно думал о том, что все жители планеты, кроме него, внезапно умрут, и ему придётся предавать земле их прах в одиночку. Но я отвлекся. Я постоянно отвлекаюсь...

Не помню, чем он занимался, герой моего рассказа, кажется, возглавлял строительную корпорацию. Или ловил рыбу? В России или в Норвегии? В этом веке или в прошлом? Но неважно. Мне не интересны внешние проявления, время жизни людей, хотя я, конечно, должен знать это. Меня интересуют внутренние побуждения и мысли, но мысли самостоятельные, а не те, которые нашёптываем мы.

Человек, о котором я рассказывал, любил повторять: всё, что ни делается, – к лучшему. Тут он был не совсем прав. Не к лучшему, а к единственному и верному. Действия человека, картина его жизни – словом, всё, что вы называете судьбой – предопределены. Всё, кроме мыслей. Как бы это понятней объяснить? Допустим, вы смотрите кадры кинохроники в убыстрённом темпе. И если вам показывают оживлённые улицы больших городов, то вы беспокоитесь за прохожих, переходящих проезжую часть: машины снуют, поворачивают, объезжают пешеходов, кажется, вот-вот произойдёт авария или наезд. Но всё подчинено одной схеме: первоначальной съёмке. Никто ни на кого не наехал, всё благополучно. Или, наоборот, на-ехал. Как снято, так и будет. Такова ваша жизнь. Она когда-то снята на плёнку, если вы позволили мне такое сравнение, и прокручивается себе, в темпе или медленно. Всё, что должно случиться, уже случилось, всё, чему суждено быть, – будет. На плёнке вы ничего уже не измените, каким бы странным ни казалось вам происходящее. Вы смотрите фильм и спрашиваете себя: может ли такое быть? Хотя прекрасно понимаете, что это было во время съёмок.

Но сравнение с плёнкой – для наглядности. Всё, конечно, сложнее. А вот мысли подотчётны вам. Ну, опять же, актёры – они ведь думают время от времени о чём-то другом, когда играют роль. И иногда они – мысли – могут создать некоторый сбой и завести кого-то из вас не в ту сторону, потянуть вверх или утащить вниз, что не предусмотрено сценарием. Именно тогда приходится пощекотать кончиком пера кожу на виске, швырнуть кому-то в лицо холодным ветром с горстью мокрых осенних листьев или просто посадить человека в кресло и никуда не пускать в течение нескольких веков. Или сделать что-нибудь более серьёзное. Вы, конечно, догадываетесь, что я имею в виду. Увы, увы, но это так...

Так вот, я рассказывал об этом ушедшем человеке другому представителю человеческого рода, пока ещё находящемуся здесь, и мои слова трансформировались в его мысли. Он думал, как скучна такая жизнь, как она пресна и никчёмна. Он был уверен в том, что никогда не сможет и не захочет жить так, он представлял себе свою любимую девушку, мечтал о ней, радовался, что она понимает и ценит его. Но постепенно в его размышления начали вкрадываться совсем другие, вполне резонные вопросы. А почему я уверен, что проживу жизнь так, а не иначе? Не лучше ли лежать под яблоней и наблюдать полёт стрекозы, чем заниматься бесплодными мечтаниями? И можно ли наблюдать полёт стрекозы вечно?

Как только я собрался дать понять, что такое возможно, меня отвлёк какой-то грохот. Я подумал, что это гром, потом решил, что это в Москве всё-таки взорвали храм Христа Спасителя. Однако вспомнил, что мой собеседник родился лет на шестьдесят позже этого события и живёт во времена, которые я называю сценарными. Не так давно некоторые люди в России поняли, какие именно механизмы определяют жизнь страны в начале тысячелетия. Эти времена, кстати, продлятся недолго – я не успею и вздохнуть: лет семь-восемь. А что касается грохота, это был обвал в Кордильерах...

Возвращаясь к истории и удивительной судьбе храма Христа Спасителя, хочу поведать вам любопытный случай, произошедший во время его уничтожения. Перед взрывом из храма вывозили ценности, вырубали горельефы, вырезали мраморные доски. Рабочий Иван Агафонов, орудуя молотком, зубилом и пилой, случайно отсёк себе безымянный палец. Плита покрылась кровью. Как ни шлифовали мрамор, на нём остался небольшой красный след, словно мазок тонкой кистью. Потом этими досками облицевали станции Московского метрополитена, и до сего дня на станции Охотный ряд можно увидеть этот мазок, а рядом природный рисунок в виде нескольких тёмно-розовых точек, напоминающий созвездие Большая Медведица.

С отсечённым пальцем случилось следующее. Взрывом его выбросило за забор, огораживающий территорию храма. Затем палец подобрала бродячая собака и закопала его в одном из дворов Остоженки. Спустя несколько десятилетий от него осталась только косточка, которую нашёл мальчик, живший неподалёку. Он взял её себе, и она стала его

амулетом. Мальчик собственноручно зашил её в холщовую тряпицу и повесил себе на шею. Сейчас ему пятнадцать лет. Его ждёт блестящее будущее. Через некоторое время он доподлинно узнает, что это за косточка, и после этого начнётся очень интересная история. Обо всём сказать не могу, вернее, не хочу, замечу лишь одно: судьба вашей страны часто зависела от странных вещей и явлений, но ещё никогда – от косточки безымянного пальца человека, разрушавшего храмы...

А молодой человек думал и думал о своей девушке, но его мечтам не суждено было сбыться, ибо именно в этот момент из дверей собора святого Иосифа в Рио-де-Жанейро выходила Кончита Веласкес, его будущая супруга, прелестная мулатка, с которой ему предстояло познакомиться через два года в Праге и прожить долгую, не всегда счастливую, но достаточно интересную жизнь.

Он работал, кажется, в Организации Объединённых Наций, разъезжал по миру, и всё шло хорошо и гладко до тех пор, пока его не потянуло в одно совершенно ненужное ему место. Как раз после рождения второго ребёнка. Потянуло сильно. И здесь наметился как раз тот возможный сбой в сценарии, о котором я говорил раньше. Не знаю, как сложилась бы его судьба и судьбы многих других людей, если бы он поехал туда, куда хотел. Но знаю точно, что страшно было бы в этом случае даже подумать, с кем он шёл бы по той самой дороге до заветного перекрёстка, который положено пересечь каждому.

Мне пришлось помешать ему. В конце концов всё закончилось благополучно: он пролежал несколько месяцев на больничной койке, диагноз не подтвердился, и ненужные мысли сами собой ушли в небытие.

За свою жизнь он задал самому себе около ста серьёзных вопросов, а это много. Для сравнения скажу, что человек, о котором я рассказывал ему, спросил о чём-то стоящем всего лишь дважды. На многие вопросы мой собеседник получил ответы, на некоторые, естественно, нет.

Он любил и был любимым, совершал добрые дела, остро мыслил и чувствовал, серьёзно не грешил, счастливо продолжился в своих детях. Отошёл в мир иной с чувством выполненного долга, будучи глубоким стариком, окружённый близкими людьми.

Мне не хватило одного дня, чтобы рассказать ему то, что я хотел. Мы беседовали пятьдесят три года, а сейчас я озираюсь в недоумении и ищу, с кем бы продолжить разговор...

Несколько слов о саде, где мы встретились. Сад жив, хотя и постарел. Многие деревья умерли, некоторые выродились, и на них теперь растут маленькие кислые и жёсткие дички. Сад зарос, стволы яблонь потемнели и покрылись пятнами лишайника. Свеж, зелен и упруг только мох, в изобилии поселившийся здесь.

Всё так же в воздухе порхают бабочки, стрекозы и шмели, в траве сидят кузнечики и жуки, а под землёй ползают черви.

Вот божья коровка села на травинку, и та согнулась под её не-ощутимой тяжестью.

Мир полон звуков и запахов. В этом году запах лета особенный: пряный, сильный, с привкусом печного дыма. Это запах памяти, но что это за память – о прошлом или о будущем – я не пойму.

В саду появился мальчик. Он присел под деревом, снял с травинки божью коровку, посадил на палец и тихо запел:

*Божья коровка,
Полети на небо,
Принеси нам хлеба...*

Когда-то, через годы, этот мальчик станет скитальцем. Потом сделает на перекрёстке свой поворот и поведёт меня по выбранному пути. А пока он пел. Кто так пел? Наверное, Орфей, Оссиан да ещё один моряк на колумбовской «Пинте». Ну и, пожалуй, я.

У мальчика был чистый, хрустальный голос, ищущий несбыточную мечту. Его впитывали листья яблонь, светлея и свежая от этой благодати. Он пел и пел. Божья коровка высвободила чёрные крылья и улетела. Мальчик остался ждать её, и я остался вместе с ним.

Она принесёт хлеб, принесёт счастье, радость и любовь. Надо только немного подождать.

Андрей ФРОЛОВ

Андрей Владимирович Фролов родился в 1965 году в Орле. Окончил Орловский строительный техникум. Автор книг стихотворений «Старый квартал» (2000), «Над крышей снова аисты» (2004), «Над туманом сад плывёт» (2011) и сборника рассказов «Конечная остановка» (2006). Стихи и рассказы публиковались в альманахах «Поэзия», «Невский альманах», журналах «Наш современник», «Роман-журнал. XXI век», «Простор», «Родная Ладога», «Молодая гвардия», «Литературный Омск», «Огни Кузбасса», «Подъём», «Бийский вестник» и др. Произведения включены в антологию современной литературы «Наше время» (Москва–Нижний Новгород, 2009, 2010) и антологию «Русская поэзия. XXI век» (Москва, 2010). Член Союза писателей России. Живёт в Орле.

РОДИНА ЛЮБИМЕЙ НЕ СТАНОВИТСЯ...

ПОЛИВАЛЬЩИК

Картину детства в сердце берегу я:
Володька Рыжий, дворничихин внук,
Схватив за шею радугу тугую,
Над головою чертит полукруг!

Широкий веер радужных осколков
С шипением врезается в газон.
А мы поодаль, хмурые, поскольку
К Володьке подходить нам не резон.

Штанины клёш – такая нынче мода,
Под синяком сверкает хитрый глаз...
Что говорить, он старше на три года –
Почти эпоха разделяет нас!

ВЕСНА ВО ДВОРЕ

Весна шарахнула во вторник,
Её уже заждался двор.
И дед Савелий, бывший дворник,
Слезу нежданную утёр.

Вразбег по пенящимся лужам
Снуют весёлые лучи,
Ворона скачет неуклюже
Через проворные ручьи.

Играют в салки две девчонки,
И, словно принятый в игру,
Наш новый дворник
Саня Пчёлкин
Гоняет мусор по двору.

Скворец пальнул
картечью трелей,

Ему откликнулся другой!..
А на припёке дед Савелий
Сердито топает ногой.

НА ПОКОСЕ

Отава изросью умыта.
Из лога выплыла заря.
Литовка шикает сердито
На неумеху косаря.

Срываю потную рубаху –
Не деревенских я корней,
Но я упрям, и с каждым взмахом
Строка прокоса всё ровней.

Здоровье, вроде, не воловье,
А не устал за два часа –
Шепчу старинное присловье:
«Коси, коса, пока роса!»

СЪЁМКИ

Глухое рявканье мортир,
Дым в поле как стена...
Снимают фильм «Война и мир» –
Сейчас как раз война.

Гороховецкий полигон
Теперь – Бородино.
Наш взвод в массовку приглашён...
Такое вот кино!

На десять дней ворвался свет
В армейский серый быт!..
Жаль, во француза я одет
И должен быть убит.

Красиво падать учит нас
Известный каскадёр.
И вот грохочет, как приказ:
«Внимание! Мотор!»

Кино – серьёзная игра:
Бежим в атаку, но
Лихое русское «ура»
Кричать запрещено.

Штабной московский генерал
Безмерно горд за нас,
А я бы русского играл
Правдивей в десять раз!

КОГДА-НИБУДЬ

Стало в городе постыло –
Я подамся до села,
Там жила прабабка Мила,
Очень правильно жила.

А когда туда приеду,
Как в насмешку над собой,
Заведу за жизнь беседу
С покосившейся избой.

Мне расскажут половицы
Про скрипучий свой недуг,
И ворчливо забранится
Старый бабушкин сундук:

– До каких таких пределов
Под замком добро стеречь?!
И дымком заплесневелым
Поперхнётся гулко печь.

И прабабушка к обеду
Выйдет, памятью светла...
Я когда-нибудь приеду,
Наплевав на все дела.

Ивану Рыжову

В деревне Коровье Болото
Совсем не осталось коров,
Да и от деревни всего-то –
Двенадцать замшелых дворов.

Воюет старик-долгожитель
С колодезным журавлём:
– Помрём-то когда же, скажите?
Ведь всё же когда-то помрём...

Горбатятся крыши косые,
Хребтами белеют плетни...
Храни, Вседержитель, Россию!
И эту деревню храни.

РОДИНА

Дойдешь до чёрного столба,
Сверни направо –
Твоя здесь скорбная судьба,
Твоя держава.

Твой худо-бедный огород
В тени крапивы,
Тебя заждались у ворот,
Рыдая, ивы.

В лугах не кошена трава
Четыре срока.
А мама... всё ещё жива,
Да одинока.

Ждёт обветшалая изба
Тебя так долго.
Сверни у чёрного столба –
Нет выше долга.

ГЛУБИНКА

Сдвинув в сторону плетень,
Бог поставил мету
Из окрестных деревень
Именно на эту.

В холода двory тесней
Прижимались к тыну,
Отмидали по весне,
Пережив годину.

Быт размерен,
 у людей
Вкусы простоваты:
Сговорясь, в апрельский день
Все белили хаты.

Дружно – вспашка,
Дружно – сев,
И любой при деле.
Здесь и немцы, обрусев,
Под гармошку пели.

СТОРОЖ

Десять лет колхоза нету,
Сад давно уже ничей.
Сторож ходит до рассвета,
Он привык не спать ночей.

В ширину – шагов сто двадцать,
Двести семьдесят – в длину.
Он не может отвлекаться
На бездельницу луну.

Перекурит за избушкой,
Пристегнув себя к ружью,
И пугает колотушкой
Тень горбатую свою.

СВАДЬБА

На два дома поделено счастье:
Невзирая на серенький дождь,
Шумно, весело едет венчаться
Из обеих семей молодёжь!

Чинны сваты, задиристы сватьи,
Поцелуи по-русски – взасос,
На невесте шикарное платье,
Море радости, толика слёз!..

Всё путём, по обычаям древним:
Пир горой...
Да ведь речь не о том.
В этой Богом забытой деревне,
Почитай, уже есть третий дом!

ХРАМ

Храм рождался тяжело,
Туже истины.
Собиралось всё село
Возле пристани.

И стучали молотки
Лето целое.
Поднималось у реки
Чудо белое.

В небеса взметнулся крест
Ярким всполохом.
Долгожданный Благовест
Грянул колокол!

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Висели дома на высоких дымах –
Отчаянно печи чадили в домах,
И в каждой четвёртой по счёту печи
Румянили к Пасхе бока куличи.
Клубился ванильный над крышами дух,
Творились молитвы устами старух,
И вздох колокольный летел до небес,
И верили люди:
– Спаситель воскрес!..

Родина любимей не становится
С добавленьем прожитых годов.
По моей судьбе промчалась конница –
Глубоки отметины подков.
Выбоины тотчас же наполнила
Светлая небесная слеза.
Сердце от рождения запомнило
Родины усталые глаза,
Спрятанную в сумерках околицу
И дымки лохматые над ней...
Родина любимей не становится,
Родина становится нужней.

Кажется, я не умру никогда...
Речка дымится над вспаханным полем.
Вслед отступающим страхам и болям
Смотрит насмешливо с неба звезда.

Ей говорю: «Не меня сохрани,
Но береги без конца, год за годом
Тех, что с моим невесёлым уходом
Могут пред миром остаться одни...»

Сорванный лист устремлён в никуда –
То ли падение, то ли паренье.
Дочка вишнёвое варит варенье...
Кажется, я не умру никогда.

Георгий ГОРЬКИЙ

Георгий Горький (ранее публиковался как Георгий Панкратов) – финалист независимой литературной премии «Дебют» (премиальный сезон 2014 года). Финалист литературной премии «Золотая тыква» (2014). Третье место в литературном конкурсе «За далью даль» и др. Публиковался в журналах: «Нева» (Санкт-Петербург), «Кольцо А» (Москва), «Иные берега» (Хельсинки, Финляндия), «Интеллигент–Москва» (Москва), «Наше поколение» (Кишинёв, Молдавия), «Нижний Новгород», «Литература», «Первая роса» (Ульяновск), «Пегас» (Санкт-Петербург), «Эрфольг», «Русская жизнь», «Новая реальность», «Литературно-философский журнал «Топос», «Ликбез», «Мастерская Евгения Берковича», «45-я параллель», «Современная сетевая словесность».

Родился в Санкт-Петербурге, в разное время проживал в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске. В настоящее время проживает в Москве и Севастополе.

СКРИПКА

Старик долго ждал того дня, когда просто пойдёт дождь. Во все окна летел песок, и, когда бы он ни открыл их, мелкие песчинки засыпали подоконник, спешили в холодную кровать, на рваные тряпки, служившие постельными принадлежностями, старые газеты, в неприличном количестве скопившиеся на прикроватной тумбочке, и фотографию, всё время норовившую завалиться набок. Счастливые глаза немолодых, но крепких, исполненных жизненных планов людей смотрели на полусгоревшую розетку, куда-то в бездну ее чёрных внутренностей. Старику становилось не по себе в такие моменты, вздыхая и охая, он шёл к тумбочке и поправлял упавшее фото. В их доме было много пыли, но фотография всегда блестела: в стекле, защищавшем от внешнего мира их ставшее кадром счастье, отражались свет люстры, солнце и пристальные, редко мигающие и словно удивлённые глаза жены, когда она подолгу смотрела на запечатлённый момент прежней, когда-то бывшей реальностью жизни. Куда торопилась, куда мчалась та жизнь? В эту постель, в летний песок сквозь окно, в растрёпанные ветром муниципальные газеты... Старик протирал рамку тряпкой, лежавшей тут же, на тумбочке, или (в те дни, когда не подводила память) аккуратно помещённой в верхний ящик.

«Закрой», – просила жена, и слабая рука её делала неопределённый жест, указывая то в направлении окна, то куда-то в сторону потолка.

Она практически постоянно лежала, хотя её не мучали болезни, столь свойственные пожилому возрасту, лишаящие людей радости ходьбы. Ходить она могла, но радости это не доставляло.

Заунывное лето никак не заканчивалось. Лето было для молодых, а в отношении молодости, цветущей вокруг, у старика не было никаких иллюзий. Вопреки распространённому среди подростков заблуждению, он не ненавидел молодость, не терзался завистью, не томился бессилием повернуть свою жизнь вспять. «Я и сейчас не ближе к смерти, чем они, – говорил он, кашляя, пришедшему его навестить журналисту. – Любого человека отделяет от смерти секунда, и с этой секундой в запасе бродит своими тропами всякий живущий». После таких слов он умолкал и неизбежно смотрел впереди себя, не в глаза собеседника и даже не на него вовсе, отчего тому становилось не по себе. Молодость была, как было и всё остальное, и всё жило в равных условиях на Земле.

«В этом и есть справедливость мира», – говорил он журналисту, чем вызывал отчаянный пьяный смех того.

Журналист Аркадий Вепрь, странный знакомый старика, был алкоголиком отпетым, его профессия приучила к мысли, что справедливости в мире нет и, более того (именно поэтому, а может, и поэтому только), мир по-своему справедлив. По крайней мере, он любил объяснять это профессией, возможно, оттого что так ему представлялась «отдача»

от профессии журналиста ещё в незрелые годы. Каких-то вершин в профессии Аркадий достичь не сумел и в свои 40 неожиданно понял, что вернулся к тому, с чего начинал когда-то, мечтая достигнуть космических высот. Он не бывал под пулями, не раскапывал секретных дел, не делал сенсационных снимков звёзд, да и обычные интервью с ними брал редко. Поработал в паре городских газет, в журналах о музыке и авангардном искусстве, какое-то время был главным редактором сайта. Но время шло, и статьи, переписываемые из других источников, чьих-то блогов, или просто собственные впечатления от жизни, которые он гордо именовал публицистикой, обесценились даже в его собственных глазах. Редакторы же выбирали молодых и энергичных, благо недостатка в таких кандидатах нет. Теперь Аркадий с переменным успехом боролся с энергичными на сайтах фриланса, периодически отхватывая заказы от PR-агентств и специализированных журналов. Впереди маячила пустота, и общение со стариком хоть как-то сглаживало внутренний страх: во-первых, у старика пустота уже наступила, а у него ещё нет. Но это слабо согревало душу. Скорее, глядя на пустоту старика, он готовился к собственной, примирялся с ней, узнавал, чего ему ждать.

Старик – а звали его Семён Иванович Французов – относился к своему приятелю скептически. Его не покидало ощущение, что зрелости журналист так и не достиг, и, встречаясь с ним, он всякий раз испытывал некоторую брезгливость. Пытался побороть её, понимая, что это единственный друг. Но не мог.

Жена его, Нина Валентиновна, журналиста не любила тоже. Но терпела, и вовсе не оттого, что старик мог – условно, но всё же – назвать его другом. Лишённая общения, гостей, подруг, приятелей – всего того, что делало яркими прежние годы, она видела в не самом приятном ей госте единственное зеркало, в котором отражалась их старческая жизнь. Не будь журналиста, их не существовало бы – о них некому было бы знать, говорить, вспоминать, – и вся та любовь, что она пронесла через жизнь, строя маленькое счастье, осталась бы незаметной. Она, посвятившая жизнь одному человеку, хотела, чтоб об этом знали, увидели, что она смогла, что она не зря когда-то так решила и ни разу не отказалась, не пожалела о своём решении.

Этот итог – их бедное и не самое яркое существование на закате жизни – всё-таки был счастьем. Все тяготы и невзгоды так и не от-учили их говорить: «Я люблю тебя» – выходя из ванной, засыпая вместе, выполняя незатейливую и несложную просьбу другого. Остальное было скучно, других достижений не было, но быть до конца вместе – это цель, которую они поставили когда-то и которую сумели достичь.

Семён Иванович был доволен: его спокойствие и достоинство, с которым он часами смотрел во двор, провожая жизнь, на том и держались, что он добился всего, чего захотел, а большего и не надо: он сделал её счастливой. Правда и то, что он совсем не нуждался в «зеркале», в том, чтобы кто-то оценил, увидел, как они живут вместе. Людей, которые не интересовались его жизнью, он оставил в стародавние времена, они стёрлись из памяти, ни имён их, ни лиц, ни голосов от них не осталось. Старик знал, что никто не интересуется человека, кроме самого себя. И строил своё счастье без оглядки на тех, кто даже не слушал, что он отвечает на вопрос «как дела».

Нина Валентиновна подолгу смотрела на старика и улыбалась. Он источал спокойствие и уверенность, несмотря на больной вид. Казалось, его ничто не тревожило, ничто не могло задеть и побеспокоить. И действительно, всё обстояло именно так. Впрочем, одна гнетущая мысль с некоторых пор поселилась в голове Семёна Ивановича и, всплывая из мутных вод бытовых повседневных мыслей, заставляла его мрачнеть. Его беспокоила смерть, но не тем первичным страхом, заложенным в каждого человека – мол, все умрут, и не тем, какой смертью умрёт он сам – по дороге к дивану или в очереди за молоком. Он терзался: кто уйдёт раньше – он или Нина. И в редкие моменты разговора с Богом старик просил, чтобы она умерла раньше. Чтобы умерла счастливой, окружённая его заботой и скромным, на какое он способен, вниманием. Чтобы ей не было страшно

оставаться одной. «Она падает и подолгу не может встать, – объяснял он Богу, – и порой забывает, зачем куда-то направлялась, хотя только на сборы тратила пару часов».

Разговоров с Богом Нина Валентиновна не слышала: старик просто стоял у окна и смотрел вдаль. Разве что мог не ответить на её вопрос, чего в остальные минуты с ним никогда не случалось...

Семён Иванович закрыл окно. Песок, залетавший в дом, расстраивал старика (а в возрасте, когда самые яркие радости, как ни крути, позади, сильнее всего ранят, как правило, мелочи).

Тольятти был грязным городом, они переехали сюда, устав от столиц. Да и была квартира, оставшаяся с незапамятных времён ещё от бабушки. «Живи», – приговаривала бабуля ему, тогда ещё молодому, и пристально смотрела на него. Он не выдерживал взгляда и отворачивался: так уходящая жизнь смотрела на остающуюся. «Живи», – шептал голос откуда-то с границы, и ему очень хотелось жить. В городе не было моря, не хватало воды, были только заводы и офисные центры. В их дворе стояла трансформаторная будка, несколько больших канистр для мусора и баскетбольное кольцо без сетки, приделанное к ветхому столбу посреди песчаного поля. И справа, и слева, и впереди – через поле – стояли блочные дома, такие же, как и у них, а за теми домами стояли другие, если уж не такие же точно, то очень похожие, а где-то совсем далеко, куда жена уже не дойдёт одна – заблудится, проходила дорога.

Старик любил посидеть на автобусной остановке, наблюдая за движением: мимо проносились автомобили, сновали туда-сюда охваченные бытовыми думами жители ближайших домов, а иногда царственно останавливался автобус; снисходительный водитель открывал двери и сразу жал на кнопку снова – он знал, что старику некуда ехать, а другие пассажиры на остановке появлялись редко, да и не выходил никто. Иногда старик откупоривал бутылочку пива, и липкий, вязкий день вдруг начинал бродить радостными пузырьками, неожиданно радовали мамаша с колясочкой или удачная шутка проходивших мимо старших школьников. Кто-то заговаривал с ним, спрашивал время, и старик улыбался в ответ: «Время, время...» – и кивал головой. Затем вдруг спохватываясь, резким движением выставлял вперёд руку и, прищуриваясь, бодро рапортовал: «Половина четвёртого, или пятнадцать тридцать. Нет, даже тридцать одна». Но интересовавшийся временем прохожий уже куда-то исчезал.

«Хм...» – ёжился Семён Иванович, возвращаясь в своё привычное забытьё. Пиво приносило больше тоски, покидало его быстро, оставляя тревожное чувство медленного отрезвления, которое было гораздо хуже ясной трезвости. День был испорчен, оставалось либо напиваться, либо тяжело приходиться в себя, но даже идти за алкоголем – не то чтобы пить – казалось ему бессмысленным. Напиваться не удавалось: алкоголь не нравился, веселья не было, сон становился страшен и гадок. Приятное ощущение было от первого глотка пива, но только от него – единственного. А далее мозг просто погружался в какую-то мутную и вонючую жидкость, пока не тонул в ней. В этот момент у старика закрывались глаза.

Он не мог и не хотел напиваться ещё и из-за жены, конечно. Когда они становились беспомощны, в глазах стояли слёзы. А какая помощь от пьяного, когда его и в лучшей форме (теперь так приходилось говорить и про такое состояние) сдувает ветер. А если пьяный упадёт, ещё и расшибётся... А станет плохо ей? Нет, он не мог подобного позволить.

«Нельзя заикливаться на одном человеке», – всплывали в его памяти слова приятеля из далёких времён уже зрелости, но ещё вроде как молодости. «А в чём же тогда смысл? Посвятить жизнь другому – вот единственное, что оправдывает наше существование», – интимно шептал Семён Иванович, наделяя космической важностью каждое слово. «Ну-ну...» – смеялся приятель сквозь сигаретный дым. Постаревший, он иногда посматривает на Семёна Ивановича с телеэкрана. Иногда старику кажется, что бывший приятель

осознаёт его правоту в том разговоре. Иногда глаза бывшего приятеля кажутся ему грустными. И чтобы не видеть их, старик выключает экран.

А как не заикливаться? Однажды жена действительно заблудилась в их унылом квартале. Дело было так: в одно из воскресений они собрались за продуктами. В собственном дворе магазина не было, в соседних – лишь пара павильонов, и они отправились в экспедицию, как шутя говорил старик. Деньги они получали из пенсионного фонда, да иногда приходил перевод от дочери, живущей в Москве. Дочь никогда не вспоминала о них, старик вряд ли смог бы сказать, когда видел её в последний раз: может, десять, а может, пятнадцать лет назад – в его возрасте прошлые годы уже перестают быть аккуратно расставленными папочками в архиве и сливаются в прямую линию, на которой все события не имеют ни дат, ни степени важности. Её муж не был интересен Семёну Ивановичу – он занимался какой-то продажей, перепродажей, арендовал и покупал что-то, посещал корпоративные курсы и сам проводил тренинги. Говорить с ним было не о чем. Дочь занялась бизнесом, дальше этого слова старик уточнять не стал: занялась, ну и занялась, – мысленно одобрил и забыл. Дочь была совсем другой; не то что любить её больше матери – да и вообще, просто любить её он так и не научился. Теперь она временами присылала сообщения на телефон Нины Валентиновны, узнавала: «Живы ли?», «Не изменился номер счёта?» – и делала нерегулярный перевод. На эти деньги не разгуляешься, но всякий раз они были кстати.

– Так доча понимает благодарность, – ворчал усталый старик, надевая пальто, но про себя благодарил её и Бога, ведь без помощи этих двоих жизнь стала бы очень тяжкой.

– Ну а что ты хотел? Жизнь... – объясняла жена.

Встав с постели и опираясь о стену, она тяжело дышала и осматривалась по сторонам, будто оказалась в незнакомом месте. В действительности ей было больнее: дочь была в детстве и юности её лучшей подругой, отдалилась слегка, обучаясь на последних курсах университета. А затем внезапно уехала, сначала в Европу, затем вернулась в Россию. Мать просила о встрече, плакала возле окна, а Семён Иванович уходил на кухню и там засыпал. Затем просьбы о встрече кончились, а с ними и все разговоры. Дочь исчезла, стала другим человеком, выбрала мир, о котором они никогда ничего не узнают, даже самого главного: хорошо ли ей там? Они не знали, замужем ли дочь до сих пор, или уже разведена, или уже с другим. Единственным контактом с ней были сообщения, приходившие изредка с телефона, в остальное время выключенного.

«Дай мне руку», – просила она привычным, ничего не выражающим голосом, и старик, босой и одетый в пальто, шёл через коридор ей навстречу и протягивал руку.

Она опиралась, чувствуя в руке силу, которой ей так не хватало, прижималась к нему всё крепче. Эта сила не могла её защитить или спасти перед лицом самого страшного, но эта сила ещё была, и в налитых ею руках старика она чувствовала жизнь, в то время как её собственная сила стремительно уходила. А самое страшное уже являлось по ночам. «Забери меня, – кричала она старику сквозь сон бессвязные слова. – Верни мне...», а он закутывался в одеяло и бесконечно долго на неё смотрел.

К середине дня у Семёна Ивановича разболелась голова, да и слабость организма дала о себе знать в самый неожиданный момент. Виски сдавливала какая-то непреодолимая и жестокая сила, перед глазами появлялись пятна, всё плыло – потолок, стены; тревожно качалась из стороны в сторону блеклая лампа на чёрном проводе, свисавшая в прихожей, как будто дело происходило не в панельном жилом доме, а на корабле при сильной качке. Старика резко затошнило, голова взорвалась неестественной, непривычной даже для него болью, и на какое-то мгновение отнялось зрение. Он резко качнулся вправо, заваливаясь на жену, и, не желая потянуть за собой, выпустил её руку. Но так и не смог увернуться: падая, толкнул её, и без того потерявшую равновесие.

Это могло быть смешно, засними кто такую картину на видео: два старичка, сопровождая друг друга, падают по дороге к входной двери. Они и сами посмеялись бы (к своим годам им удалось сохранить чувство юмора и добрую иронию), когда бы,

падая вслед за ним, она не ударилась головой об угол тумбы. Издав какой-то – то ли хлопаящий, то ли хрипящий – звук, она потеряла сознание, да так и лежала возле тумбочки, а рядом, на расстоянии вытянутой руки, в беспомощности ворочался старик и стонал. Тусклая лампочка висела над ними неподвижно на кривом чёрном проводе и совсем не шаталась, ведь это был не корабль, а обычный панельный дом.

Сколько прошло времени, он не мог понять, да и выяснить это не было никакой возможности. Мысль бежала впереди, была сильнее физической возможности встать, он отчётливо понимал: что-то случилось с женой. Внезапно настигшая слабость, едва возвращающееся зрение, дикая головная боль приковали его к полу, только судорожно двигалась рука, цеплялась за стену, пыталась оттолкнуться от пола, но не хватало сил. Он окликнул её по имени – один раз, другой, испугавшись собственного голоса, ставшего внезапно хриплым и неестественно тихим, в то время как хотелось орать. Вдруг что-то укололо в сердце, затем ещё и ещё. Превозмогая боль, он пытался привстать, чтобы увидеть её, но не получалось. Через какое-то время голова бессильно упала на пол, издав глухой стук. Чтобы помочь, нужно было прийти в себя, нужно было лежать и ждать.

Старик старался дышать медленно и ровно, он чувствовал, как боли постепенно отступали, как силы медленно, но верно возвращались к нему. Он смог ощущать что-то ещё, кроме ужаса, к нему постепенно приходили мысли. В них не было настоящего, не было комнаты, лампы, дурацкого падения, чёртовой тумбы, в конце концов, там не было. В них были неясные воспоминания, улица, которой он представить никак не мог, яркое солнце, слепившее глаза, и он, Семён Иванович, без головного убора, ищущий, как укрыться. Он всё глубже проваливался в какой-то мистический сон, но знал, что тот день был на самом деле. Старик попытался приподняться, но неуклюжая попытка вновь закончилась ударом об пол.

Несговорчивая машина времени возвращала его в день, который когда-то точно был прожит, и это один из счастливейших дней: они отмечали какую-то дату. «Сколько-то лет, как решили быть вместе...» – вертелось в голове. Они шли по солнечной улице в ресторан, ему чуть за сорок, ей чуть меньше сорока. Но о чём они говорили, во что были одеты, что было до этого, да и вообще – когда всё это было, проклятое помутнение не давало вспомнить. Там была кошка, да, там была кошка, и не одна. Забор, торчащие железные прутья и залитая солнцем улица. «Автомобиль», – прошептал старик и вновь попытался встать.

Воспоминания приходили вместе с болями. Не те, что он хранил, не те, к которым обращался в минуты грусти или романтического (с ним случалось и такое) настроения. Не те, в которых и он, и она помнили каждое слово, каждое движение своё – целые истории, которые они могли безошибочно рассказать, лишь взглянув на фотографию из альбома, только друг другу – больше им было некому. А другие воспоминания, которых словно бы и не было никогда, словно бы они пришли из другого измерения – где хаотично хранятся случайности, незначительные и неброские фрагменты прожитого, моменты обыденности, где они переплетаются друг с другом настолько, что дата, время и место событий становятся категориями, лишёнными всякого значения. Внезапная боль выпускала их, и тогда появлялась молодая она. Не старуха ещё...

«Мне уже за семьдесят пять, а ты никогда не называл меня старухой. Надо признать: старуха и есть», – говорила она, собирая пролитый чай тряпкой. Рука дрожала, вот и не выдержала – опрокинула. Любимую чашку, подаренную им в наборе. «Ничего, есть ещё чашечка, – шептала она. – Куда-то подевалась чашечка».

Старик помнил, что предпоследняя чашечка была разбита пару дней назад. Её осколки всё ещё лежали в мусорном ведре. «Ну, какая же ты старуха...» – Он гладил её руку и смотрел куда-то вдаль. Но, помолчав и словно спохватившись, посмотрел на неё. «Какая же ты старуха...» – повторил он зачем-то. «Ну, заладил!» – осадил её.

«Нет, – он словно нашёл, что сказать, подобрал нужное, – ты всегда была моей женщиной, самой нужной мне женщиной. Когда мы познакомились, ты была молодой-

молодой, – он улыбнулся чему-то, – хотя тебе было под сорок, но я никогда не замечал этого. Я не замечаю и сейчас, – он пожал плечами. – Твоего возраста нет. Да и я иду рядом с тобой, мы всю жизнь действительно вместе. Ну а кто знает? Мы как одно целое, мы же прожили с тобой, да? Мы не замечаем возраста друг друга, как не замечаем своего. Жизнь так устроена».

Она почему-то молчала. Тряпка давно лежала на полу, но она не думала об этом: должно быть, забыла, что протирала пол. «Ну, а ты что-нибудь поняла из моих слов?» – произнёс старик.

«В том то и дело, – с каким-то безумием посмотрела она, – никакого возраста нет! Я не старела никогда, но раньше я не забывала. Раньше я не падала, и не болели так сильно ноги. А у тебя... Вот, когда я смотрю, как ты спишь... Ты раньше не спал так. Тебе часто больно. Мы можем упасть на улице. И от этого так хочется плакать. Почему мы должны падать? Мы всю жизнь были сильные, добивались чего-то. Москву помнишь? И вот теперь мы падаем, не можем до магазина пройти. Жизнь несправедлива. Она проучила нас, а за что? Ведь не за что было. Ты знаешь свой возраст? Я – нет. Я не помню, сколько мне – 73, 74 – мне не столько. У меня совсем другой возраст».

Старик лукавил. Конечно, он замечал её возраст – так было не только сейчас, но и прежде. Время шло и ставило свои отпечатки на её коже, уголках её губ, груди, которая становилась всё мягче, на руках, которые грубели – казалось, именно с них начиналось старение, и именно они выдавали её истинный возраст, когда многим её сорок с небольшим казались тридцатью. Время меняло даже вкус поцелуя. Он смотрел с грустью и сожалением не на неё – любимую не меньше, чем в первые дни их совместной жизни, – но на то, что с ней делало время. Когда она, бледная, с кругами под глазами, представляла его взору утром, долго и тревожно всматриваясь в зеркало в ванной комнате, он обнимал её сзади и говорил, как она красива. «Да что ты! – отвечал он на её сомнения. – Ты у меня самая красивая! Брось, никаких морщин я не вижу. У тебя всё замечательно».

Но старость пугала его самого. Ещё в начале их совместного пути в минуты, когда её не было рядом и она не могла увидеть, Семён Иванович и сам подолгу всматривался в зеркало – и там, где не хотел замечать наступающую старость жены, он отчётливо видел свою. На лице появлялись непонятные складки, нос как будто раздался, стал большим и некрасивым, усыпанным чёрными точками, морщины на лбу становились всё более заметными, подбородок принимал форму двойного – казавшегося ему уродливым и ненавидимого им с детства типа подбородков; кожа щёк пестрила какими-то мелкими трещинами, и, что особенно расстраивало его, на лице и шее постоянно образовывались новые родинки, а некоторые старые увеличивались и становились височными. «Омерзительно», – шептал он возле зеркала. В отличие от Нины Валентиновны, он не нуждался в каких-то словах, успокоениях со стороны – для него и так вся правда была очевидна, он бодрился, но ужасно боялся старости. Он видел, что наступит она не скоро, что у него гораздо больше времени, чем у неё – мужская старость наступает намного позже женской, – но она неизбежно наступит. А какой она будет, ему отчасти подсказывала жена, чей корабль первым взял курс к берегам старости и уже не мог с него свернуть.

«Бритвы...» – говорил он отстранённо – не самому себе под нос, но и не миру, тем более что рядом никого не было, словно признавал что-то неизбежное, что не хотелось принимать, но от чего не было никакой возможности отказаться. Ещё в молодости, в студенческие времена, когда он, подобно многим сверстникам, увлекался стихосложением и экспериментировал в прозе (кто знает сейчас, где эти тетрадки?), Семён Иванович обратил внимание на тот, казалось бы, очевидный, но игнорируемый всеми молодыми людьми факт, что люди стареют. Причём стареют они не просто быстро, а ежесекундно: каждый миг своей жизни человек стареет – таков жестокий механизм старости, которая держит в тисках человека всю жизнь, пока не искромсает его. Он даже

отчётливо представлял себе сам механизм, его, если можно так выразиться – техническое устройство: как будто на голове каждого человека установлена некая конструкция, представляющая собой множество вращающихся перед лицом человека бритв, непрерывно кромсающих кожу лица. Пока не будет стёрто лицо, пока не упадёт человек, искромсанный злыми бритвами, не остановятся они, и не снять человеку злобещий аппарат со своего лица, – рассказывал он свою концепцию в пьяных компаниях. Бритвы искромсают самых красивых, влиятельных, респектабельных, самых естественных и позитивных, самых злых, самых добрых, рождённых больными и полных жизненных сил, бесцельных праздных гуляк и полных задумок гениев.

Справедливости ради, тогдашний студент не носился с этой идеей, выдавая её за оригинальность, он доверял её не всем, а только избранным, как личную тайну и личную боль. У него была девушка, одна из первых красавиц на потоке, друзья завидовали ему, но такое положение не спасало от тяжких раздумий: порой он просыпался в холодном поту в палатке на берегу моря, в загородном коттедже, в студенческом общежитии после весёлой попойки, в постели со своей красавицей. Ему снились бритвы. Случалось это и в зрелом возрасте, в вагоне поезда, в гостинице в командировке, утром нового года в объятиях той, что дождала с ним до дней, когда жестоким бритвам осталось совсем немного работы. Он один называл её по имени, как будто единственный из живых, кто знал его, а значит – хранил. Берёг в сердце. Имя – то, что оставалось в ней неизменным и до чего бритвам было никогда не добраться.

Он позвал её по имени. Было очень больно, из горла пару раз вырывался бессвязный хрип, и только. Лишь после того, как старик немного подождал и отдышался, он смог внятно произнести её имя. Глаза смотрели на лампу, он приподнял чуть-чуть голову и увидел: лежит. Дышит ли?

Порой он чувствовал скрежет бритв перед собой. Порой они сверкали между ними во время поцелуя. Порой он говорил своей, тогда ещё живой, матери, о том, что навестит её осенью, а лезвия бритв скрежетали: «Нет, миленький, ты знаешь всё наперёд. Зачем обманываешь себя?» Он отвечал односложно, его речь сбивалась, а мать печалилась, считая его неблагодарным или невнимательным, и выходила курить на красивый балкон с цветами. И никогда не знала, что он плакал, думая о ней. Сложно сказать, жалел ли он только мать или страдал от того, что никому из его близких никогда не вырваться из времени.

Тогдашний приятель его говорил в ресторане, в центре Москвы: «Твои бритвы – это всё ерунда. Если всё нормально по жизни, то нет никаких бритв. Женщины стареют, но женщин много. И потому это совсем не трагедия. Пока стареет одна женщина – тысячи созревают. А мужчина стареет тогда, когда захочет. И то, если захочет. Сечёшь?» Старик перестал покупать журналы, но если б покупал – увидел и его, давнего приятеля из бара, главного редактора одного из журналов для умных и слегка циничных мужчин. Впрочем, главный редактор – это было скорее хобби, нежели призвание: приятель был совладельцем фирмы, выпускающей этот журнал, а помимо неё – самой крупной сети фитнес-центров и держателем нескольких гостиниц в разных городах страны. В его журналах не было старых женщин, экономическая целесообразность нашёптывала ему, что нужно избавиться от них, ведь журналы тоже старели. «Женщина существует как сосуд для наполнения мужских потребностей – от самых простых, вроде секса в туалете, до продиктованных космической сущностью человека: выносить продолжателя рода. Мужчина слишком занят в этом мире, он – как руководитель в крупной компании – даёт указание, обозначает, что требуется, делает первый штрих. Дальше ему некогда, его ждут тысячи дел. Так и беременность: по логике человеческого бытия мужчине просто некогда беременеть, вот он и выполняет необходимый минимум – зарождает в женщине эту тяжёлую, но столь необходимую работу. А дальше она сама. И когда та рождает – один ли раз, два ли, три – и понимает, что больше рожать не сможет, от неё остается только оболочка. Она как использованный кокон, от которого освобождается маленький человек,

и всё – до неё больше нет никому дела. Многие женщины знают, как есть на самом деле, и им не нужны никакие слова любви. А если они и слышат таковые, то никогда не разделят всей прелести с говорящим».

Старик иногда вспоминал эти слова – они всплывали в памяти против его воли. В сущности, если у каждого человека наступает в жизни момент истины, как его многие называют, или момент главного выбора, то он случился тогда. Не в ресторане, во время разговора с приятелем, конечно, но в тот самый год, когда он особенно заметил старение жены. Их позднее знакомство не позволило ему узнать, какой она была юной, когда толпы поклонников ухаживали за ней, а она всё ждала своего и отказывала. Он встретил её, когда она отчаялась найти, почти в последний миг. Он знал, что её молодость прошла под знаком ожидания, сгорела в этом ожидании – она верила в счастье, верила в чудо, а бритвы работали. Пока она доверялась человеку, проходили годы, но затем, после какой-то глупости, чьего-то неудачного проступка легко теряла доверие, а вместе с ним интерес к человеку. Она не сдавалась, как многие, не соглашалась на тех, кто «почти подходит» или «лучше будет, лишь бы не остаться одной». Она совсем не боялась быть одна, но верила в счастье так, как, казалось ему, невозможно верить. И он, поражённый, захотел дать ей счастье, подарить его. Это могло быть только делом жизни, иного счастья ей было не нужно.

«И вот... Эта верность, о которой много говорят, за которую сейчас медали дают, – объяснял он однажды журналисту Аркадию, засидевшемуся у него на кухне, когда она уже спала, пригубив вина и выпив чаю с мёдом, – это не то же, что любовь. Совсем не то же. Любовь никуда не исчезнет. Влюбляются раз и на всю жизнь на самом деле многие. Но что такое верность? Разве это то, что, кроме своей единственной, ты не замечаешь никого на свете? Что для тебя нет других женщин, кроме неё? Что секс с ней так же хорош, как и пять лет назад, наконец? Это сейчас я о сексе думаю не особо...»

Старик не понимал и сам, зачем рассказывал всё это журналисту – человеку, даже не слишком хорошо ему знакомому, порой в разговорах с женой именуемому не иначе как «собутельник». Но какую-то мысль хотел донести до мира, в надежде, что журналист расскажет кому-нибудь ещё, и эта жизненная тайна, которая вовсе, конечно, не тайна, его маленькое жизненное дело не пропадёт, а будет услышано кем-то. Может, он куда-то напишет, чёрт его знает, он же журналист. Прищуриваясь, старик смотрел на собеседника и морщился, вспоминая пару его статей, которые ему довелось прочесть: «Ну хоть послушает, ладно...» – вздыхал он про себя.

«Но когда твоя любимая стареет, а любовь нет, и при этом ты полон сил, и тебе постоянно встречаются женщины, ты пересекаешься с ними по работе, они улыбаются тебе в транспорте и в магазине, они пишут тебе, твои бывшие нет-нет да и звонят, и предлагают ни к чему не обязывающую встречу в кафе... А бывает, что и молодые подружки жены предлагают себя – без намёков, вот так, в открытую. Помню, к нам в гости пришла одна такая подруга, коллега её по работе. Она была ох как ничего, – Семён Иванович даже прищурился, вспоминая приятный момент из жизни. – Но я сказал себе: стоп! Она прямо в комнате, пока моя на кухне вынимала что-то из печи, сказала, что хочет и желательно прямо сейчас. Да, мы выпили тогда немало, конечно. Она и к себе звала на следующий день, приезжай, говорила, и даже втроём уговаривала: давай, мол, твою уломаем, я, говорит, готова обслужить вас по высшему разряду. Но моя не понимала прелести секса втроём, вот мы никогда и не попробовали... Всё свели в шутку, когда за столом все вместе сидели, говорили о каких-то невинных вещах, телевизор включили, какой-то концерт посмотрели. А мы с ней переглядывались иногда, и она на меня смотрела, а в глазах её такой секс читался, дикий, необузданный. И в моих, наверное, тоже. Правда, одета она была скромно. Тогда ещё не было всего этого, ну вот, к примеру, лабутонов этих не было. Так бы, может, и не удержался бы».

В те годы, когда их навещали такие гости, Семён Иванович часто мучился от мыслей об измене. Он очень скоро понял – причём именно в отношениях с ней, ибо до неё

никогда не имел ни на кого из своих женщин серьёзных планов, – что любовь и секс живут где-то рядом, но одно не зависит от другого. Его любовь была величиной постоянной, даже больше – с годами, прожитыми вместе, она крепла, становилась всё сильнее, проникала в жизнь его так глубоко, казалось, на клеточном уровне, что начала составлять суть этой жизни, сама стала ею. Гулянья в парке, походы в кино и по магазинам, вечерний просмотр телевизора и чтение вслух газет, предвкушение поездки в санаторий и пролистывание альбома с фотографиями холодной зимой – все эти простые вещи, как он их называл, человеческие радости, лишь больше укрепляли его в том, что он не ошибся однажды с выбором, что ему хорошо и комфортно с ней рядом, а главное – её счастливые глаза наполняли его сердце трепетом, а жизнь – смыслом и важностью. С сексом же было иначе. Не искушённая в нём и не проявлявшая активности, Нина любила секс, но не умела заниматься им. Она получала наслаждение в простых позах и была на седьмом небе от счастья: ей было этого достаточно. Она и не подозревала даже, как скоро её спутнику жизни надоел этот рутинный секс. Ему, которого женщины сами просили провести с ними ночь, непросто было легко изменить ей – ему этого очень хотелось. С некоторых пор совместной жизни измена стала идеей-фикс для него, молоденькие девушки манили его своим возрастом, кто неопытностью, кто, напротив, столь рано проснувшейся похотью, женщины старше – разнообразием.

Проходя по улице, даже обнявшись с ней, он чувствовал головокружение от того, сколько вокруг женщин, и хотел буквально каждую, в его голове рождалось безумие, когда он представлял, что творил бы в постели с ними, какой бы это был неписанный разврат. Едва успокоив свои грязные, но столь будоражащие воображение мысли, он отчётливо понимал, что в них общее, во всех этих встречных, случайных женщинах, к которым его так тянет: в каждой из них было главное, что возбуждало его сильнее всех фантазий, уже само по себе – это была не она. Не его возлюбленная.

Занимаясь с ней сексом, он представлял себе их запомнившиеся лица и фигуры – из трамваев, с пляжа, из магазина, подсмотренные в кино. Особенно любил её подруг, приходивших к ним в дом или приглашавших в гости. Вспоминал кого-то из своих бывших, представлял проституток, фантазировал на тему лесбийского секса и доминирования женщин друг над дружкой – в его голове находилось место любым картинам, кроме единственной: реальности, в которой он здесь и сейчас был с ней. Он переставал смотреть на неё, закрывал глаза, его движения становились порывистыми, резкими и однообразными, но она всё равно ничего не понимала, и, когда он, измождённый, падал на неё или рядом с ней, она целовала его и благодарила.

Удивительно красивая от природы, Нина становилась ещё прекраснее, приобретала будто бы волшебный, ангельский вид – только раскрасневшегося, с растрёпанными волосами ангела. Ей было хорошо, она была восхищена совершенно искренне – он дарил ей настроение, дарил жизненную радость, удовольствие чувствовать себя желанной. «Как секс преобразует женщин!» – не уставал изумляться Семён Иванович на протяжении всей своей жизни.

«Конечно, она не знала. Ну как я мог рассказывать об этом, как бы прозвучало: ты знаешь, моя радость, я в постели представляю не тебя, а Лену, например? Ей было бы больно, она никогда не сомневалась во мне, в моих чувствах, а радость секса для неё была радостью чувств. К тому же она бы поняла это неправильно – как мою измену. А это не была моя измена. Я никогда не хотел, чтобы так было. Я представлял, что мы будем вечно, с первого дня знакомства. Но вмешалась тупая физика. А как это ещё назвать? Не я хотел ей изменять, не мои чувства, не мой мозг – сама природа. Она бы перестала доверять мне – это раз, и перестала бы сама получать наслаждение – два. Этого было достаточно, чтобы скрывать от неё истину. Но то, что она получала взамен как компенсацию за незнание этого обмана, было в несколько раз лучше. Мои фантазии распяляли меня, и да, я был не с ней, но всё равно был с ней – такой вот парадокс. И она была счастлива, говорила, что у нас идеальный секс, что у неё ни с кем не было так, как

со мной. И знаешь, что? Я действительно был хорош! Я делал это ради неё и в конечном счёте оказался прав. А если бы я открыл ей глаза? Кому было бы лучше?»

«Ты так и не изменил ей?» – ухмылялся захмелевший журналист.

«Я понял одно: от верности кайфа больше. Верность – это тяжёлый, чуть ли не физический труд. Это не розовая идиллия и не вынужденная необходимость. Это работа над собой здорового взрослого человека в мире возможностей и соблазнов, чуть ли не ежедневное самоотречение. Ты добровольно отказываешь себе в том, чего у тебя никогда, ни в какой жизни больше не будет, а ты можешь это взять здесь и сейчас. На такое надо решиться... – Старик любил эту мысль и здесь делал продолжительную паузу. – Конечно, важно то, чтобы той, кому ты верен, это было нужно. Иначе просто нет смысла. Но верность – это чувство высшего порядка, если бы я изменил ей хоть раз, я променял бы высший смысл на радость нескольких часов, а вся последующая жизнь была бы омрачена этими часами. Для неё в моей верности было счастье, ощущение того, что жизнь именно такая, какой она её хотела, о какой мечтала, конечно, что всё было не зря. Подарить другому человеку эту жизнь или просто трахнуть какую-нибудь изголодавшуюся по сексу шлюху? Нет, это навсегда наложит отпечаток на семью, на отношения. Сейчас я вижу: жена прожила свою жизнь счастливо, и она сейчас счастлива. В том числе и потому, что я когда-то решил быть верным, в то время как меньше всего этого хотелось».

Семён Иванович и сам не заметил, как начал называть её женой. Хотя они так и не женились и прожили все свои годы в так называемом гражданском браке. Оглядываясь назад, они не понимали и сами, почему так получилось: вроде, их любовь должна была стать браком – единственным и на всю жизнь, а не стала. С другой стороны, если есть любовь, зачем ей какой-то брак? Они не планировали свадьбу, не мечтали о ней, не копили и не думали, кого пригласить – всё проще: они, видимо, забыли о ней. Им было всё и так понятно: будут вместе, что бы ни случилось. Однажды они сказали друг другу: «У нас всегда всё будет хорошо» – и этот день можно было бы считать днём свадьбы, когда бы их обоих на закате лет не подводила память.

Сделав свой выбор однажды – быть верным, старик гордился им всю жизнь. Гордился и сейчас, даже если на улице встречал совсем молоденьких красоток, в коротких юбочках и чёрных чулках, и в нём – нет, не просыпались, но ворочались во сне отголоски тех давних лет, когда он делал выбор между женой и такими же, как они. Уходящая жизнь казалась ему цельной: все задачи были поставлены, и все задачи были выполнены. «Должно быть, стоило поставить себе ещё несколько задач?» – думал он иногда. Но быстро охладевал к этой мысли.

Удивительно, что, когда старость наступила, Семён Иванович перестал её бояться. Всё стало очевидно, просто вся жизнь, в которой он бешено искал смысл в юности, в зрелом возрасте и надеялся найти в 50, стала ясной и простой. Полная целей, маленьких и больших, переживаний, серьёзных и несерьёзных, очарований и разочарований, она стала единой, безэмоциональной – стала тем, чем никогда не была и чем он очень хотел её чувствовать: просто жизнью. И кроме этого, «просто» у неё не было иных характеристик.

Картина солнечного дня, который отчего-то упорно всплывал в памяти, постепенно восстанавливалась и заполняла собой всё сознание – даже ту его часть, что отвечала за связь с реальностью в данный момент: на холодном полу, под лампой. Сюжеты из давнего прошлого приходят в старости хаотично и избирательно и, как убедился старик за последние несколько лет жизни, против воли. Силясь вспомнить какую-нибудь дату, прекрасный момент их совместной жизни, тёплую встречу с последними из друзей – тех, кто остался там, в столице, он не мог этого сделать: картина событий рушилась, так и не успев построиться, а тут – пожалуйста! – некоторые воспоминания не просто приходили – врывались в голову, терзали его привычные дни, не давая помыслить ни о чём, кроме себя. Их нельзя было выбрать, пролистать, как фотоальбом, и остановить взгляд на самой красочной карточке – они сами выбирали и себя, и время своего

появления, а порой приходили и к ней, и к нему одновременно. «Мы же одно», – говорила она, и старик кивал головой.

Но что пришло к ней сейчас, он не мог знать. Сам же он видел наконец всю улицу – одну из маленьких столичных улочек, которые сохранились ещё, но в них незнающему человеку можно забрести лишь случайно. Им повезло: они жили неподалёку в старом, но аккуратном двухэтажном доме, окружённом зеленью – яблочными, ореховыми деревьями, разнообразными кустами, названий которых он никогда не знал, но на которых иногда появлялись ягоды. Единственным зданием выше их дома во всех видимых окрестностях была городская больница – впрочем, и её громадиной не назовёшь: современное, но со вкусом построенное здание в пять этажей, возле которого был разбит аккуратный сад с аллеями, скамеечками, вечерними фонарями и даже небольшим фонтаном. Территория больницы была окружена забором, который граничил с их маленьким двором. Выходя из подъезда или просто выглянув в окно, они всегда могли увидеть нервно курящих и вздыхающих посетителей, терзаемых вопросом «ну как» и мысленной надеждой «лишь бы всё было в порядке»; мам с маленькими детьми или серьёзных статных мужчин, обнимающих за плечи седовласых женщин; встречались там и врачи в своих белых халатах, терпеливо объяснявшие что-то нетерпеливым родственникам. Вот и сейчас он их отчётливо увидел в своих воспоминаниях, прикрыв калитку и выйдя на прогулку по их «двухэтажной» улице.

Они спешили в ресторан отметить очередную годовщину совместной жизни – того дня, когда они сказали друг другу главные слова, решив быть вместе. Даже сейчас старик пытался вспомнить, что это за дата, и не мог. Но было солнечно и жарко, значит, лето, а ведь именно летом происходит всё самое лучшее. Они спешили к маленькому мосту, которым заканчивалась их короткая и уютная улочка. Впереди он видел детей, перебегающих через дорогу, выгуливающую бульдога женщину в безразмерных солнцезащитных очках; вот слева от них стоял потрёпанный временем ржавый ларёк, где они, страдая от недостатка времени, чтобы дойти до магазина, покупали хлеб, колбасу и сладкое печенье. А справа, где заканчивался больничный забор, стоял совсем уж ветхий дом на три квартиры. В одной из них жил дед – тогда им казалось, совсем древний, выдавший такие времена, которых и не существовало вовсе. Он отчётливо увидел этого старика, всплывшего в памяти спустя столько лет, мог разглядеть, во что тот был одет – казалось, это какие-то несуразные мешки, но, конечно же, то были просто старые рубашки и потёртые джинсы; старик сидел на огромном гнилом пне возле дома и пристально смотрел на них. Ей было всегда не по себе, когда они встречали сидящего старика, она прижималась к нему и шептала: «Почему он на нас так смотрит?» Семёну же был любопытен старик, он не считал, что во взгляде того есть угроза, осуждение или хотя бы неприязнь. Наблюдая за ним и его пристальным взглядом, он делал вывод, что старик провожает жизнь – его изумил этот взгляд лишь впервые, и он быстро привык к нему. «Старик провожает жизнь, и он жадно впивается взглядом во всё, что видит вокруг, – объяснял он ей. – А видит он очень мало – только тех, кто проходит по этой улице, вот и вся его жизнь. Дед понимает, что ему недолго осталось наблюдать эту жизнь, и поэтому он так жаден». «Сам ты жаден», – пожимала плечами она и забывала о том старике и его взгляде.

Но в тот день их от молчаливого и соблюдающего дистанцию старика отвлекли кошки. Это были самые обычные кошки, которые в огромном, каком-то даже неприличном для территории медицинского учреждения количестве плодились возле больницы. Они были настолько обычны, что даже влюблённая пара, равнодушная к кошкам и державшая дома одну, проходила мимо, не останавливаясь поглядеть, как те играют. Семён смотрел на маленькую улочку, любуясь её перспективой, и наслаждался жизнью, а вернее – простой и приятной формой, которую та приняла с тех пор, как они стали жить вместе. За тем мостом, которым кончалась улица, открывалась настоящая Москва – большая и шумная, с ветром, скоростью, людскими потоками, силой трения между людьми

в магазинах, очередях, учреждениях, с домами, рвавшимися ввысь, с рекламными баннерами, нависающими над людьми и вселяющими страх своим размером и непрочностью конструкции (вместо желания купить или куда-то поехать). И сейчас они шли в тот мир с радостью, что нечасто бывало: они шли в большой мир отмечать своё маленькое счастье.

Нина резко схватила его за плечо, и он не успел ещё вырваться из своих мыслей, задать привычный в таких случаях вопрос: что-то случилось, любимая? – как увидел омерзительного вида человека, стоявшего в двух метрах от них. «Что?» – только и выговорил он. Омерзительный человек тыкал каким-то толстым металлическим прутом в нос кошке, оцетинившейся и тихо, почти неслышно шипевшей. Человеку было навскидку лет двадцать, и всё в его виде говорило, что он дебил – не в том развлекательном смысле, который используют в дружеских разговорах, а в самом натуральном, прямом. Рот человека был открыт, выставлены напоказ гниющие зубы, с губ стекала слюна – по подбородку и дальше, на оголённую грудь (цвета помоев майка на человеке была порвана в нескольких местах) или на землю, глаза впились в кошку, не замечая ничего вокруг, а рука бешено двигалась взад-вперёд, а затем застыла – человек выжидающе смотрел на кошку – и вновь резко двигалась вперёд, в то время как рот издавал дикий, протяжный звук. Дополняли образ брюки, обрезанные до колена, и резиновые сапоги. Прут в руках человека внушал опасения: сам придурок был очевидным слабаком, завалил бы его на землю и тот, кто о драках лишь читал или смотрел фильмы, но вот опасное железо могло проломить голову не только кошке, но и человеку. К тому же толстый прут был заострён, и странный человек норовил проткнуть глаз кошке или попасть ей острым концом прямо в шипящий рот.

Человек настолько поразил Семёна, что он и не смотрел на кошку. «Котята», – шепнула Нина, наверное, единственное, что в тот момент успела выговорить. Семён резко перевёл взгляд вниз, к забору, и увидел: действительно, несколько маленьких котят испуганно жались к кошке. «Всё понимают», – только и успел подумать он, как человек резко ударил кошку сбоку по голове и прикрикнул что-то невразумительное, вроде победного клича дебила. Животное отскочило, ошарашенное болью, но тут же побежало назад, к котятам. Человек залился диким смехом и вновь принялся вертеть прут в руках. Котята его явно не интересовали, но было видно, как страшно кошке, у которой даже отнялся дар её кошачьей речи, и она давно убежала бы – нелепый человек с железной палкой никогда не догонит юркую кошку, – нырнула в подвал, и её как не бывало – не будь рядом этих маленьких существ. «Они ведь тоже боятся за кошку, – подумал Семён, – и жмутся к ней не от страха за себя, а именно от страха за неё». «Эй!» – наконец выкрикнул он. Неприятный человек обернулся к нему и убрал прут из-под носа кошки. Нахлынувшее омерзение не оставило в нём места страху, и он медленно, как-то устало произнёс идиоту: «А ну иди отсюда». Человек развернулся покорно и, даже не глядя на кошку, отправился прочь – в сторону дома, где жил старик с пронзительным взглядом. «Прут выкинь!» – добавил Семён вслед. Орудие жестокой игры упало на асфальт и громко брякнуло. Звук напугал кошку не меньше, чем страшный человек, и она в окружении котят засемила вдоль забора в сторону ворот, на территорию больницы. «Ну, пойдём», – сказал он Нине. И они молча пошли в сторону моста.

Старик угрюмо смотрел в угол, уже не пытаясь встать, воспоминания пригвоздили его, он даже не шевелил рукой, замерев на полу: казалось, там, за мостом, небо заволочло тучами и готов был вот-вот разразиться дождь. Дед, сидевший на пне, не отрывал от них взгляда, когда они приближались, он смотрел на них, и каждому казалось, что именно на него; следил, как они проходят мимо, и провожал их, когда они начали отдаляться. «Ну что вам надо?» – не выдержала Нина и вернулась назад, вплотную приблизилась к деду, но у того даже не шелохнулась бровь. Ему не было интересно вступать в разговоры. «Вы что, это всё видели?» – она почти кричала. «Дед всё видит», – мрачно сказал Семён, взял её за руку и быстро повёл за собой.

В ресторане было не уйти от разговора об увиденном. Он хотел, чтобы всё успокоилось, чтобы не омрачали праздник ненужные мысли, но ему и самому было не по себе, хотя он успокаивал, как мог, свою возлюбленную. Выпив пару бокалов, она вернулась к прожитому событию и, как он ни отговаривал, разнервничалась и совсем не желала слышать о праздничном настроении, о том, почему они, собственно, сюда пришли.

– Нет, дай мне сказать. Ты видел саму кошку? Видел, какая она маленькая и беззащитная?

– Прошу тебя, не начинай, – Семён взял её за руку и осмотрелся по сторонам.

«Зачем? – вдруг подумал он. – Какая мне разница, кто что увидит или подумает? Ну, разнервничалась женщина».

– Да нет, я не о том, что кошка и мне её жалко. Хотя это, конечно, тоже, и это в первую очередь. Но ты видел, как она защищала котят? Ей было страшно, но она готова была умереть, погибнуть. Ведь она же понимала, что у неё против этой палки и этого... зверя, против него, да, никаких шансов. Понимаешь, никаких! Она просто выгуливала своих котят в летний день, и ситуация обернулась таким вот образом. Хотя ничто не предвещало. И ты думаешь – что? Она надеялась, что своим телом она защитит их, своей жертвой, своим вот этим шипением? Нет, это же совершенно невозможно! – Она размахивала руками, не зная, куда их деть. – Она умерла бы, забитая железной палкой, ну или раненая лежала бы возле забора, а он бы расправился и с котятами, если б захотел. А он захотел бы. Мог бы убить их, мог бы утащить, мог бы прогнать.

– В мире много зла, – Семён попытался отделаться дежурной фразой. – Что он ещё мог бы? Зачем нам с тобой сейчас об этом думать? Мы отогнали его, значит, сделали маленькое доброе дело, – теперь он попробовал шутить. – Мы молодцы! – Он развёл руками и откинулся в кресле.

– Да, но это зло совершенно бессмысленное, оно не оправдано ничем не только нравственно, но и практически, логически, не знаю, как ещё. Этот человек, эта мразь... Он даже вряд ли получал от этого удовольствие. Так, чтобы было чем занять время.

– Он даже вряд ли понимал, что делает. Он же идиот.

– Вот. Понимаешь, в каком виде приходит зло. Есть вот эта кошка, мать, она живёт и каждый день делает что-то, бегаёт там, кормит их, отдыхает на солнце. Это маленькая жизнь в большом мире. Но её так легко растоптать, разрушить, просто по чьей-нибудь прихоти, и от неё ничего не останется. И следа.

– Ладно, – он поднял бокал, – давай выпьем за то, чтобы с нашей жизнью так не случилось.

– Мы, люди, так же уязвимы. Всё в мире уязвимо против абсолютного зла. Вот так живёшь, строишь планы, любишь, копишь деньги на квартиру, лечишься у доктора в доме напротив, ужинаешь, уставший, стелешь постель. А в какой-то момент в тебя тыкают палкой, просто ради того, чтобы провести время. У тебя могут отнять любимого, ребёнка.

– Да откуда у тебя такие мысли? – он начинал заводиться.

– Это очевидно. Почти что всё в мире живёт до тех пор, пока не попадает в поле зрения абсолютного зла. Кроме тех, кто и есть это зло. Мы же абсолютно беззащитны – со всеми деньгами, законами, системами безопасности. Кто захочет – разрушит нашу жизнь в секунду. Главное – не попасться ему на глаза.

– Так, стоп. По-моему, я знаю одного такого, от чьего взгляда мы точно не отвертимся. И в чьём поле зрения мы постоянно.

– Тот дед?

– Нет, что ты... Хотя, какая-то правда в твоих словах есть... – Он взял паузу. – Это время. Вот перед кем мы абсолютно беззащитны и кто уж точно не оставит от нас и следа. А мы его сейчас теряем. Отводим на разговоры о том, что нас совсем не касается, сидим как два идиота и делаем вид, что постигли суть мироздания. Уныние, между прочим,

смертный грех. В то время как сегодня наш праздник, и лично меня не волнует ничего больше.

Убедившись в том, что возлюбленная замолчала, он начал произносить заготовленный заранее тост. Не то чтобы он не ценил спонтанное выражение чувств, но красоту слова всё-таки предпочитал экспромту, который всегда выходил неказистым.

Она смотрела на него пристально, как будто что-то хотела сказать, но вдруг поняла: не надо. Слушала ли она его? Он улыбался, смотрел в её глаза, но они были так же неподвижны, как будто видели в этот момент что-то другое, да и сама она пребывала не здесь.

«Вставай!» – громко и отчётливо произнёс он, сам не поняв, кому – то ли ей, лежащей без движения, то ли своему слабому и немощному телу, с которым было сложно смириться сильному мужчине, каким он всегда себя считал. Что-то проснулось в нём, какая-то неведомая для его лет, давно забытая мощь, и он не встал даже – резко вскочил с пола и сразу же прислонился к стене, чтобы не упасть. В голове что-то стрельнуло, потом снова, но слабее. Он увидел её, лежащую на полу. Зрение вернулось, старик вновь чувствовал себя живым, чувствовал силы стоять и двигаться, он пошевелил рукой, затем сделал шаг, ещё один и ещё – и вот он стоял, ни на что не опираясь. Он резко засмеялся залихватским, громким смехом, на мгновение он забыл и о ней, и о пришедшем только что внезапном воспоминании, он смеялся от лёгкости, оттого, что всё не кончилось, оттого, что он не умер на полу, и только в этот миг осознал, что в коридоре стало темно. Дневного света, проникавшего из кухни и незакрытой спальни, было достаточно, чтобы ориентироваться в пространстве – видеть предметы мебели и лежащего на полу человека, но лампа, которую они не меняли, наверное, с самого въезда в эту квартиру, погасла. Теперь чёрный провод, свисавший с потолка, казался безжизненным и бесполезным. Старик нагнулся, посмотрел на неё пристально, затем присел на корточки возле неё – он уже не опасался, что не сможет встать, – взял её за руку и принялся прощупывать пульс.

– Ты заменишь лампу? – спросил её слабый голос.

– Да, заменю, конечно, – устало ответил он. – Купим вон... в магазине...

И только сейчас до него начало доходить, что она очнулась, что ему не мерещится, что это действительно с ним говорит она. Он бросился с поцелуями к её дряблой щеке, она повернулась и ответила ему тем же.

– Со мной всё хорошо. Просто я старая, – серьёзно сказала она. – Помоги мне встать.

Она, похоже, не знала или забыла, пролежав некоторое время без сознания, что он тоже падал, потому и не спрашивала его ни о чём. Старик проводил её в ванную комнату, помог умыться, сходил к холодильнику, достал лёд и приложил к виску. Так и сидел некоторое время.

– Спасибо, – говорила она. – Сейчас пойдём. Надо лампочку заменить.

– Да помню я, помню.

– А что ещё? Посмотри, у нас хлеб есть?

– Есть, был там.

– Вот славно. Погода как?

– Какая может быть погода? Никакой погоды. Ты что, не знаешь этот город? Пыль и дерьмо – вот тебе вся погода.

– Ну, холодно там или нет? Дождь, может, собирается?

– Да ничего там не собирается, – ворчал он. – Давай вот ты собирайся лучше.

– Деньги-то взял? – Нина Валентиновна посмотрела на него строго и пристально. –

Карту магазина не забудь. Сумку нашу...

– Ладно, ладно...

Он вышел из ванной.

– Ужас! – причитала она, глядя в зеркало, открывала какие-то баночки, набирала немного крема и мазала им лицо.

«Ужас!» – шептал старик, глядя в окно.

На часах была половина четвёртого, он помнил, что сегодня должен был прийти журналист, но встречаться с ним почему-то не хотелось. С утра не покидало странное ощущение: очень хотелось побыть вдвоём, закутаться с женой в одеяло или пить чай и смотреть в окно, закрыться от всех и всего, смотреть друг на друга и, может быть, вспоминать что-то. Не то, что приходит против воли, а то, что так сладко вспомнить двоим – из тех давних дней, когда жизнь казалась чудесной. Но уговор, как помнил старик из детства, дороже денег. Как отменить его? Сказать, что у них дела? Но какие дела могут быть у престарелой пары, кроме как сидеть дома и смотреть в окно? Не поверит. Пусть уж приходит. «Ужас!» – повторил старик.

За окном столбом поднималась пыль, ветер трепал деревья, случайные люди старались закрыть лицо, отворачивались, ускоряли шаг, чтобы быстрее попасть домой. Только трое мальчишек, на вид – младшие школьники, бегали по двору туда-сюда, словно и не было ветра. Они смеялись и кидались друг в друга листьями, останавливались, договаривались о чём-то, отчаянно жестикулируя, менялись ролями, и вот тот, кого преследовали только что, уже догонял бывшего преследователя и что-то кричал тому вдогонку. Игра приносила детям такую радость, что, если бы хлынул дождь, грянул гром и засверкали молнии, это не оторвало бы их от весёлой беготни. Старик совсем не заметил, что Нина Валентиновна стоит рядом и тоже смотрит во двор.

– Пришла вот твоя... – не стала договаривать она, но, кажется, была довольна.

«Ничего не болит, слава Богу», – подумал про себя Семён Иванович.

– Человек приходит в этот мир с одним вопросом, – начал он, – точнее, даже с двумя: где что есть и что здесь делать? Он занимает своё время, бесконечно ищет способы, как его провести. И уходит, так и не отыскав этих ответов. Делал что-то, возился, да и всё. Не заметил, как время прошло. Главное – чем-то занять себя. А понять, как это всё, почему здесь...

– Ну вот ты опять начинаешь...

– Чего начинаешь? – Он повернулся к ней в недоумении.

– Заунывные речи свои.

– А чего ж они заунывные? Посмотри на детей – они рады. Они нашли себе не худшее занятие.

– Ну, а ты как провёл время? Ты рад?

– Я своё время занял тобой. Пусть и не всю жизнь, и до неё что-то было, но мне сейчас, кажется, что всю. Я никогда не сожалел, что так сложилось. Да и не сложилось – мы сами сложили.

– Скоро твой подойдёт? – Она прислонилась к плечу старика и заглянула в его глаза. – А ещё хотел встретить. Может, не придёт? Ветром его сдует, а? – И она улыбнулась игриво, как в незапамятные годы, когда, пользуясь любой свободной минуткой, они сразу бежали в постель.

Поход в магазин уже несколько лет был для них целым предприятием. Нуждались они в малом и потому ходили туда редко. Всё необходимое умещалось в большой сумке, купленной в незапамятные времена. Ходили они медленно, но всё же любая прогулка доставляла им несказанное удовольствие – как выход в большой мир, который, правда, заканчивался теперь автобусной остановкой. Ехать куда-то они не решались, да и не было никакого практического смысла, а ведь именно практический смысл стал в их возрасте определяющим в принятии каких-то решений. В подъезде она трогательно поправила ему потрёпанный берет на голове, как в те годы, когда они выходили в свет: счастливая красавица беспокоилась о том, чтобы её мужчина выглядел лучшим. «Ничего не изменилось, только наши тела постарели», – звенел в голове старика её голос, и он

грустно улыбался. «Что?» – тревожно всматривалась она в улыбку. «Да ничего, ничего, пойдём».

Он взял её за локоть, и они пошли. Привычка держать её за локоть появилась в старости, но они никогда не придавали этому значения: влюблённые шли обнявшись, равные в новой семье – держась за руки, старики – поддерживая друг друга. Наверное, так и должно быть, иначе почему они не замечали? На нём были джинсовая, аккуратно выглаженная рубашка и темно-зелёные брюки, а также в крупную сеточку летние туфли какого-то непонятного цвета. Она шла в лёгком плаще цвета охры и шляпке с нелепым искусственным цветком. Их стиль мог назвать аккуратной бедностью встречный прохожий, решивший бросить на них свой взгляд, но ощущали ли они сами, что бедны? Должно быть, да, и в разговорах это признавали, но если задумывались, то не находили ответа: на что бы им потребовались деньги? Вот так, чтоб вдруг и много?

Бросали на них взгляд многие: необычное в них действительно было – но не в одежде, не в поведении, да и не в них самих, наверное, а, видимо, в том спокойствии, которое выражала пара, в той стойкости, с которой встретила их любовь старость, молчаливом достоинстве и отрешённости от всего окружающего. В мире не было ничего, кроме них двоих, – это знали и она, и он, хоть и не произносили вслух, как часто делали тогда, в начале совместной жизни. Бросали взгляд романтически настроенные парочки, школьницы, одинокие пенсионеры и мужики «под пятьдесят», женщины, ещё не нашедшие спутника жизни, молодые семьи с детьми. Они часто встречали на лицах прохожих улыбки, и Нина Валентиновна иногда улыбалась в ответ тем, кто ей тоже нравился.

Но случалось, что на них бросали и недобрые взгляды: сидевшие на лавках и металлических оградках детской площадки наркоманы или просто люди неопределённого возраста, с тусклыми лицами, воняющие, как она говорила, «всеми вонями» мира. Другие, напротив, ничем не воняли, одеты были скромно, но взгляды их были тяжелы, порой они корчили рожи или демонстрировали одиноким прохожим агрессивные жесты. Иногда они набивались в подъезды, и старику, придерживая любимую, приходилось просить их расступиться, чтобы пройти, что они исполняли весьма неохотно и подолгу мрачно смотрели вслед. Однажды он пытался разнять драку, но чуть не оказался избитым сам и, сказав: «Бог с вами, ненормальные», – отправился домой. Их район, хоть и не был на отшибе в городе, всё же не считался благополучным. Дело в том, что не считался благополучным и весь город Тольятти. Но всё же они жили здесь.

Возле магазина Нине Валентиновне вдруг стало плохо. «Не могу идти...» – Она остановилась отдышаться и прислонилась к стене возле входа в магазин. Голова её как-то неестественно тряслась, глаза долго смотрели вниз, а затем она закрыла их и продолжала так стоять, не говоря ничего. Прохожие подходили ближе, но, видя, что старик рядом, не бросит её, шли по своим делам. «Да что ж ты стоишь, дурень? Делай же что-нибудь!» – пристала к Семёну Ивановичу какая-то женщина. «Сейчас пройдёт», – мягко ответил он. «Да что пройдёт? Вызывай скорую!» – не могла уговориться та. Нина Валентиновна с трудом подняла голову и открыла глаза, полные слёз: «Пройдёт, – спокойно сказала она, – идите, женщина». «Ну, как знаете. Умные все такие...»

– Не могу туда идти, – проговорила она. – Мне всё чаще почему-то плохо... Не знаю, голова кружится и тошнит, почему так?

– Всё уже прошло, – отвечал старик. – Давай просто зайдём туда. Быстро купим что надо.

– Нет-нет, – она замахала руками, – иди один. А я вот тут посижу.

– С тобой ничего не случится?

Она села на лавочку неподалёку от входа в магазин, сняла свою шляпку и начала обдывать себя ею, как веером.

– Всё хорошо, – успокоила она. – Здесь так пахнет цветами. Что это за цветы?

Старик плохо разбирался в цветах. «Мой самый красивый цветок – ты», – говорил он ей. Они оба любили сирень и дарили друг другу веточки, но сейчас был не сезон. Старик ходил между рядами и думал вовсе не о запахе цветов. Он злился: «За что ей так? Она же такая сердечная, такая добрая, а какая была красивая...» Набирая в тележку хлеб, помидоры и всякие крупы, он производил впечатление благостного пенсионера, у которого всё хорошо. Но это было не так. «А если я умру первым? – думал пенсионер. – Что же она делать будет? Кто будет успокаивать и говорить, что всё в порядке? И делать вид, что так и есть, что это правда? Что я смогу сделать для неё ещё? Только уйти после неё – это единственное, что осталось сделать». «Что?» – переспросила молоденькая девушка-кассир. «А, – встрепенулся старик, – ничего. Какую вы сумму назвали?»

Выйдя на улицу, Семён Иванович обнаружил самое страшное, что только мог предположить: её не было на скамейке.

– Ты помнишь это? – спросил он.

– Как потерялась-то? Да. Я пошла за цветами. Они очень вкусно пахли. Запах цветов уведёт на край света.

– Мы и так на краю света. Сколько я передумал тогда, – проворчал старик, отходя от окна.

Он взял со стола металлический чайник, подошёл к раковине и открыл кран. Шумно полилась вода. Она присела на табурет и смотрела то на него, то в окно.

– Цветы особенно пахнут сейчас, в старости. И особенно яркие цвета. Помнишь, мы думали, что всё будет чёрно-белым.

– Это, знаешь ли, у кого как. Есть люди... – проговорил он, ставя чайник на огонь.

– Я говорю про нас с тобой. Какие ещё люди?

– Я, конечно, надеюсь, что ты больше никогда не потеряешься, – сказал он со всей серьёзностью, подсев к ней. – Мы обещали друг другу никогда не теряться, ты должна помнить.

– Да как тут запомнишь?! Тут скоро как меня зовут – и то не вспомню.

– Это точно. Ты тогда и не вспомнила.

– Расскажи, как ты меня нашёл.

– Я спросил у прохожих, у одного, второго – молодые стояли там: куда пошла женщина? Какая, говорят, женщина. Красивая, говорю. Самая. Жена, говорю, моя. Они, говорят: ах, да, ну разве ж мы смотрим? А один такой: старик, какая тебе жена, чего ты? Да, люди, конечно... – Он помолчал. – Я обошёл дворы, до остановки дошёл – вот он, наш край света. Думаю: нет там тебя, значит, нужно дома искать. А потом думаю: дома? А почему ты пошла домой? Как? Зачем? Телефоны же зря не берём с собой, сколько тебе говорил. А ты: мы вместе всё время? Вместе – да вот не вместе.

– Так, ты ворчать будешь или рассказывать?

– А что там рассказывать? Просто ходил по дворам, думаю: не могла ж ты исчезнуть. Значит, заблудилась.

– А может, украли меня?

– Украли... Я сам тебя давным-давно украл. За кошкой какой пошла, может быть, ну, или за цветами...

– За цветами пошла. Мне сказала одна женщина, там, на скамейке, что чудесные цветы растут в соседнем дворе. Она даже сказала, как они называются. Дай-ка вспомню. Они правда же красивые? Красные такие, огромные, а пахнут как!

– Красивые. Только когда я нашёл тебя, ты плакала. Я подошёл, а ты сидела на какой-то перевёрнутой выброшенной тумбе. В этих цветах, да. И плакала.

– Я заблудилась.

– Ты не сразу узнала меня даже. Так смотрела долго-долго, я уже думаю: что такое? Потом обняла. Ты говорила: «Я заблудилась, прости меня, мне очень страшно».

– Я посмотрела на цветы и пошла обратно. Думаю: как же так – ты ждёшь, не опоздать бы. И пошла непонятно куда. Там был двор, ещё один, потом ещё один двор, и нигде не было того, с магазином. У меня голова кружится, как я вспоминаю эти дворы, и все – одинаковые. Ужас! Не знаю, как бы я выбралась. В каком-то дворе я увидела снова цветы и вот... разрыдалась.

– А почему ты меня не узнала?

– В какой-то момент я вообще забыла про магазин и про то, что искала тебя, это было странное чувство: я вообще не понимала, где я и что происходит. Станный мир, в котором есть только то, что здесь и сейчас, вокруг меня. Я и вокруг. Я не помнила себя вообще – ни прошлого, ни будущего. Такое детское, знаешь? Помнишь, нам говорили, что старики как дети?

Он налил чай и снова подошёл к окну, держа в руках кружку, от которой шёл тёплый пар.

– В этом странном мире может и потемнеть. Да и обязательно потемнеет. И ты останешься там одна, в цветах. И куда ты пойдёшь?

– Это проходит. Потом всё возвращается. Мне так страшно было, я не знала, что делать.

– Больше не отходи от меня. Будем теперь только вместе. Иначе зачем я тебе? Буду рассказывать, кто ты и где живёшь.

– Хорошо, – улыбнулась она. – Ты мне чаю налил?

– Налью сейчас, – смутился старик. – Забыл.

Она рассмеялась:

– Ну ладно тебе, я сама налью. Чайник под рукой, не беспокойся.

– Шея болит, – пожаловался он. – Что-то вошло уже в норму. Каждый день одно и то же: просыпаешься, походишь чуть-чуть – разболится, и так до самого вечера, пока не уснёшь.

– Ну, ты гимнастику делаешь?

– Так, иногда. Да что мне эта гимнастика? Толку...

– Ну что за дела! – строго сказала она. – Так, быстро присядь!

– Ну чего ты? Чай вот допью.

– Допьёшь, допьёшь. Давай вот, усаживайся.

Она встала и приобняла его, настойчиво глядя в глаза:

– Вот, тебе место освободила.

Старик присел, поставил чашку на стол и отчего-то даже улыбнулся.

– Готов, – сказал он.

Она обняла его за шею сзади, упираясь руками в подбородок.

– Сделай глубокий вдох.

Старик вдохнул.

– А теперь выдох.

На выдохе она начала тянуть голову старика на себя, прижимая к своей груди. Ему было не очень приятно, но он терпел.

– Вдох, – говорила она. – Теперь выдох. Вдох, теперь выдох.

Постепенно боль если не прошла, то успокоилась. Семён Иванович прижал её руку к своим губам и несколько раз поцеловал. Потом потянулся к чашке.

– А теперь сам, – сказала она. – Да не остынет твой чай, не беспокойся.

– Уже остыл.

– Делай, что говорю. Вытягивай шею.

Старик потянул голову вверх, не касаясь её руками, напряжение в шейных позвонках возросло, затем он расслабился, и напряжение пропало. Сделав глубокий вдох, он снова принялся вытягивать шею.

– Так, молодец, молодец! – хвалила она. – Тянись к солнышку. Умничка, тянись к солнышку! Всё у тебя перестанет болеть. Обязательно перестанет.

Она погладила старика по голове. За окном и впрямь появилось солнышко. Пробегавшая по своим делам туча исчезла, и теперь небо было ясным. И даже ветер успокоился, и песок не мело по всему двору. Наступила прекрасная погода, такая редкая для этого города.

– Ты молодец, – шептала она.

Журналист заявился позже намеченного, перед встречей успел где-то выпить и выглядел слишком помятым. Икая, полез с порога обниматься:

– Ну как жизнь, старики?

– Какие ж мы тебе старики? – изображала она возмущение. – Мы ещё вон какие молодые! Сегодня зарядку делали.

– Ну, вы какие молодцы! – расплывался тот в отвратительной улыбке, выдающей сильное опьянение.

Тем, что Аркадий пришёл пьяный, она была действительно возмущена.

– Будь моя воля, он бы вообще перестал сюда хаживать, – шептала она на кухне, взяв старика за руку.

– Ну что теперь делать? Пусть уж посидит.

– Ты знаешь, мы спать с женой рано ложимся, – объяснял он, выходя в коридор.

– Ничего-ничего. Вот и вам я успел надоесть, – тараторил пьяный журналист, неуместно кивая головой.

– Ну а чего нахлестался-то? – спросил старик, когда они уже сидели в комнате, куда еле донесли вдвоём – один пьяный, другой слабосильный – раскладной стол.

Теперь на нём стояла початая бутылка водки и была разложена скромная закуска вроде сыра, маринованных грибов и копчёной колбасы. Журналист смотрел на него мутным взглядом, и в определённый момент старику показалось, что разговор в этот вечер вообще не получится. На госте была красная футболка с изображением неизвестного старику бородатого лица, какая-то цепь с непонятной фигурой, болтавшейся на ней, белые, но довольно грязные джинсы с зауженным низом, часы на ярко-оранжевом пластиковом ремешке. На носках отчётливо виднелась дыра, а пришёл гость вообще в потрёпанных чёрных кедах, с кружочками и незатейливыми геометрическими фигурками. «Сорок лет мужику, – подумал про себя старик. – Человек творческой профессии». Нина Валентиновна и вовсе всегда смотрела на гостя как на диковинного зверя, но любопытство начало сменяться брезгливостью только в последние посещения, когда журналист начал приходить пьяным.

– А, издержки профессии, – отмахнулся тот.

– Не в профессии дело, – возразил старик. – Хотя... Я потому и оставил вашу профессию, чтобы со всем этим не связываться.

– Врёте, дядя! – Обычно журналист не позволял себе панибратства, но тут понесло: – Вы, помню, говорили, что журналистика сама вас выставила вон.

– Ты меня ни хрена не слушаешь. А говорил, мол, опыту научиться какому-то хочешь. Бреешь, собутыльник тебе нужен. Впрочем, и мне иногда. Про твою журналистику я говорил тебе не раз: никакой журналистики нет. Точнее, есть, но это никакая не профессия.

– Ну, конечно, конечно, не профессия. Вы просто не добились ничегошеньки в ней. Вот и не профессия.

– Мил человек, а чего там можно добиться? Лбом об стену там можно добиться. Я приходил в первые редакции с таким воодушевлением, мне казалось, что я могу изменить мир. Мне казалось, что журналист – это такой человек, который делает мир лучше. Он видит то, чего не видят другие, и показывает это тем, кто почему-то этого не знает. Я думал, что для журналиста нет идеалов, кроме правды, и нет большего удовольствия, чем тексты и публикации. Но я увидел, что там такие же люди, как и те, которых я встречал на складах, в магазинах, в офисах – там, где приходилось работать в студенчестве. Только с гонором, а так ленивые и жадные. Все удовольствия – пожрать

да поржать. Никому не интересна никакая правда, никто не хочет ни в чём копаться, что-то выяснять, никому ни до чего нет дела. Все отрабатывают свой маленький заказ: продвигают издание, повышают узнаваемость, быстрее других перепечатывают новости из информационных агентств. А в свободное время ржут друг над другом и над людьми, которые хоть что-то умеют делать.

– А журналисты, по-вашему, ничего не умеют делать?

– А что они умеют? Единственное, для чего нужен, по-моему, журналист – это помогать людям друг друга понимать. Все наши люди чудовищно разобщены, это сейчас я смотрю на все эти вещи как во двор с балкона, а тогда... Каждый человек формирует вокруг себя такой герметичный мирок, собирает людей близких взглядов, и они начинают молиться своим иконам, триндеть на свои бесконечные однообразные темы, лишь бы доказать, что я, мол, тоже в теме, я, мол, тоже понимаю, я тоже читал, тоже видел. Бесконечное, унылое топтание на месте. И ненависть к тем, кто не читал, не видел. Весь окружающий мир – за бортом. И я думал тогда, что журналист – человек, который должен строить мостики между этими людьми, между их замкнутыми группками. Потому что он знает все точки зрения, все мнения, все события, он видит всю картину целиком. И он понимает, что тот человек прав в этом, другой – ещё в чем-нибудь, третий – в том, о чём первые двое даже не догадываются. И журналист помогает им слышать друг друга, а без этого нельзя двигаться вперёд.

– Ах, милая моя, я не люблю тебя – ты не умеешь двигаться вперёд, – запел журналист.

– Ну, в общем... – старик замялся, но решил, раз уж начал, продолжить: – Там такие же люди, каждый варится в собственном соку и каждый тянет одеяло на себя. Живут банальной жизнью, глупыми интересами. Даром что журналисты. Кому и чем они помогли? Носятся с раздутым самомнением, с дешёвым мирком и набором банальностей, которые выдают за новизну и свежесть взгляда. Каждый упёрся в свою точку зрения, в свой комплект представлений о жизни, каждый дышит ненавистью к людям. Непонимание и твердолобость, нежелание ничего менять, никого слышать. Такая журналистика меня, конечно, выставила вон. Но к тому моменту, когда она меня выставила, я уже скопил денег на малый бизнес и занялся им. Мы с женой открыли маленький ресторанчик и приносили пользу влюблённым парочкам, которые хотели где-то поговорить по душам, сказать друг другу главные слова. А вашей журналистике я сам сказал: катилась бы она к чёрту. Они издеваются над любовью, потому что не знают, как любить, как это делается.

Журналист икал и косился на стопку: налили довольно давно, но старик разговорился. Воспользовавшись паузой, он взял стопку в руку:

– Вы напрасно. Чувство юмора – это лучшее чувство. Это самое вообще важное и ценное качество человека. Всё можно простить, если есть чувство юмора, и как тяжело с человеком, если его нет.

– Да? – старик посмотрел на него пристально, затем взял стопку со стола и, не чокаясь, опрокинул. – И чем же оно ценно?

– Оно помогает людям выживать.

Журналист не стал медлить и последовал примеру старика: опрокинул свою стопку и, поморщившись, откусил добрую половину огурца.

– Не надо, – сказал старик, – не надо просто создавать вокруг себя такую атмосферу, чтобы приходилось выживать. Это самое простое решение, но почему-то никто не хочет его принимать. Особенно в вашей журналистской среде, где кипят склоки и каждый считает себя на ступень эволюции выше другого. Но этот террариум смешон: пока серьёзные и молчаливые люди переделывают мир, вы занимаетесь своей игрушечной борьбой, карикатурным соревнованием – кто кого уделает, кто кого перешутит, переострословит. Вы забыли, что вы для людей, что вы – в помощь им. Вы всё на свете забыли.

– Нет. Юмор помогает жить всем людям, просто он у каждого свой. Свой у офисного работника, у врача, у пожарного, у нас он такой.

– Я тоже люблю добрую шутку, мы любим с женой посмеяться. – Он повернулся к Нине Валентиновне, и та ласково улыбнулась. – Если б ещё не болели так... Но, вообще, если смотреть на мир здраво, а не сходить с ума, то чувство юмора не может быть главным. Человек приходит в этот мир не поржать. Жизнь – это не хиханьки-хаханьки, не шуточки, не подкольчики, понимаешь? И врач ржёт над своим юмором, да. Но при этом он лечит! И понимает, что он в этом мире не для того, чтобы ржать. Он своё дело знает. И пожарный. Ты хороший пример привёл. Ну а вы, журналисты, своё дело знаете? Вы забыли его!

– Вы философ просто, этим всё и объясняется. Вы мыслите философски.

– Нет, философ – это Шопенгауэр, не знаю там, Сиоран. А я обычный старик, мне скоро умирать.

– Ну, а зачем тогда человек приходит в мир?

– Работать. Всё на свете есть работа, это не просто статейку там написал или какую-то бесполезную дрянь продал – самая бессмысленная из работ. Построить отношения – работа, сохранить отношения – работа, семья, дети – это тяжёлый труд. Без него не было бы семей, не было бы таких, как мы, стариков. Проблема только одна: не все работают на своём месте.

– Это вы опять на меня намекаете?

– Нет, что ты, молодой человек... (На этих словах сорокалетний журналист ухмыльнулся.) Это я в общем. Вот, например, как должно быть в мире и как в нём, наверное, было когда-то: человек хочет работать кузнецом – он приходит к кузнецу и говорит: хочу быть твоим учеником, передай мне знания. И тот передаёт, потому что он служит делу, а дело должно продолжаться. Так же строитель, химик какой-нибудь, астроном. Сейчас же мир устроен так, что кто угодно может получить какое угодно образование. Ну, гипотетически. Профессор отучил толпу неизвестных людей и удалился. И ему наплевать на дело – он ничему не служит, и толпе – они ничему не хотят служить. Врач может заработать? Пойду врачом. Юрист? Юристом. У них нет к этому тяги, их не влечёт сила. А кто-то идёт работать в офис менеджером, хотя хотел бы стать, например, писателем. А потому что выжить надо. Или грузчиком, а хотел бы стать театральным артистом. Потому что надо выживать, надо есть, пить, квартиры обустраивать – все не на своих местах. Вот что печально.

– Вы и сами, наверное, хотели быть писателем?

– Нет. Зачем мне? Не о чем писать. Да и какой прок от книжки? Напишу я её, поставят её на полку, подойдёт красивая девушка, прочитает мою книжку, позвонит в издательство, узнает, как меня найти. Ну, это всё допустим, – старик закрыл глаза, представляя, – и пригласит на встречу. Мы встретимся с ней в кафешке, посидим, выпьем вина или кофе, и она признается мне в любви. А у меня уже есть любовь, – старик обернулся к жене, – мне ничего не надо. И уйдёт эта девушка ни с чем. Так зачем мне писать было книжку?

– Ну вы романтик, дедушка! – рассмеялся журналист.

– К тому же зачем самому-то? Один обещал про меня написать. Не помнишь кто? Вот где та статья, о которой ты говорил? Прочитаю ли я когда-нибудь, каким журналисты меня видят?

– Да говорил я вам... – гость замялся. – Редактор наш – человек такой: сам не знает никогда, чего хочет. Говорит: историю любви надо, День семьи скоро, то да сё. Сделаем тематический материал. Нужны пожилые пары, которые долго живут вместе. Ну, я же рассказывал всё? А как она вас нашла, не знаю. Список дала, говорит, пройдишь, пообщайся.

– Ну да, а потом статья ей не понравилась.

– Да не статья ей не понравилась, а говорит: обычная история, банальная совсем. Ничего, говорит, фееричного, никаких эмоций.

– А может, статья ей не понравилась? – прищурился Семён Иванович.
– Да не статья ей не понравилась, жизнь ей ваша не понравилась! – возмутился гость.
– Жизнь не понравилась, – процедил старик. – А нам вот она понравилась. – И он снова повернулся к жене: – Правда ведь?

– Правда, правда. Может, я чайку вам сделаю? А то хватит пить, время уже.

– Да ладно, – махнул рукой старик, – ещё водочки выпьем. Немножко. Человек вон историю нашей любви написать хотел – о как! Редактор не дала. Ничего, в Москве вон вообще тем таких нет: старики какие-то, пары семейные. Провинциальная журналистика. Что у вас, писать больше не о чем?! – старик попытался изобразить возмущение.

– Ищем, – икнул журналист, – работаем.

– Да, вот и мы работали... – Старик погрузился в воспоминания. – Тянули свой ресторанчик и потихоньку старели. Если бы не эти новые дурацкие законы... Да и сил нет уже, да и передать некому было. Тоскую я по нему... Вот продали, теперь отдыхаем.

– Небось, не все денежки прокутили? – хитро спросил Аркадий.

– Мы не кутили.

Семён Иванович не хотел рассказывать, что денег, полученных с продажи бизнеса, давно никаких нет, да и работали они в последнее время в убыток. Из бывшего журналиста получился никакой бизнесмен. Которому повезло, что ресторан вообще удалось продать, с такими-то долгами, которые накопились к концу их деятельности.

– Ну, а ты-то на что скопил?

– Я, как говорит Лимонов, коплю нематериальное.

– Ты копишь себе цирроз печени и язву желудка. А это вещи, знаешь, ещё какие материальные! Как материализуются, так средств не хватает их опять, – старик усмехнулся, – в область нематериального переводить. Подумай об этом.

– Подумай об этом... – устало и как-то неосознанно повторил журналист. По его виду можно было сказать, что человеку очень хотелось спать.

– Где нахлестался -то? – спросил старик.

– На митинге был.

– А...

Старик слышал, когда включал ненадолго ТВ на кухне, что сегодня в центре собирались человек тридцать, и вроде как всех разогнала полиция. Да, он мог бы и догадаться, что журналист там. В последнее время митинги проходили часто, чуть ли не каждую неделю, их то жёстко разгоняли, то, наоборот, давали выступить. Для маленького города это было непривычно. Когда бастовал «АвтоВАЗ», выходили тысячи, но нынешние митинги никакого отношения к «АвтоВАЗу» не имели. Всегда приезжала толпа журналистов, которых было больше, чем самих митингующих, часто они сливались, и было не понять, где журналисты, а где протест.

– Ты понимаешь? – спрашивал старик, отрываясь от экрана.

– Нет, – говорила жена.

– Так и что, на митингах теперь принято пить? Или по пьяни устраивать митинг?

– Напились мы после, – сказал журналист. – На митингах никто не пьёт. Судьбу страны никто не решает пьяным.

– Так там судьбу страны решают?! – удивился старик. – А я и не знал. Так, а чего они хотят, ты выяснил?

– Я уже говорил вам, дедушка. И хотят не они, а мы. Я не как журналист туда ходил. А сам по себе. Ну, в смысле, как гражданин.

– Тогда что вы хотите?

– Мы хотим изменений в стране. Мы хотим, чтоб началась нормальная жизнь. Чтобы тот, кто сидит у власти, не сидел там ещё столько же лет, чтобы дали дорогу молодым, энергичным, чтобы светлые головы могли рулить государством, вместо этих мракобесов. Чтобы настал рассвет над страной. Чтобы шансон не звучал по радио, чтобы люди читали Канта, наконец. Чтобы люди учились жить, а не бесцельно сидели, уставившись в ящик.

Чтобы те, кто чувствует себя человеком, кто умеет думать хоть сколько-нибудь, не были бы в этой стране презираемы... – Аркадий громко икнул. – Чтобы элитой общества была её настоящая элита, а не эти... с мигалками. Чтобы полиция нас не трогала. Мы хотим собираться – и будем собираться. И никто нам не запретит. Никто! – Он плеснул ещё водки в стопку, но не рассчитал и залил стол. – Ой, извините. Вы же согласны со мной, все тут присутствующие? – с трудом выговорив последнее слово, он посмотрел на Семёна Ивановича, на Нину Валентиновну, потом опять на Семёна Ивановича.

Тот выждал паузу, подумав, что речь продолжится. Но этого не случилось.

– Так это что, вы, все тридцать человек, таких убеждений придерживаетесь?

– Какие тридцать? – не понял журналист.

– Ну а сколько вас – тридцать пять выходит? Или сорок? – спросил старик.

– В Москве выходят тысячи, десятки тысяч. Вы же там жили, должны это знать.

– Там людей на порядок больше живёт. Это капля в море. И даже с теми тридцатью, что здесь.

– Там их всегда больше, – затараторил журналист, – их больше с каждым днём, потому что люди просыпаются, люди хотят жить, хотят думать, хотят чувствовать. Там всё больше людей, скоро так будет и здесь. Хватит спячки. Никто за нас не постоит, ну а Москва – это ж сердце, там всё начинается.

– Хм, подожди, – остановил его старик, – хочешь, я скажу, где сердце? Оно совсем не в Москве. Когда я ещё жил там, мне тоже казалось – первое время – что это сердце. Причём такое, которое пламенный мотор. Но движение ещё не подразумевает цели. Это может быть просто мельтешение, колебание. Как броуновское. Движение в Москве – оно у каждого своё, как и сама Москва у каждого своя. Но движение там вовсе не означает, что оно двигает весь организм. Движение есть, а организм стоит на месте. От этого движения устаёшь. И, устав от него, я однажды пришёл в православный храм и с тех пор ходил туда всю жизнь. Пока вот тяжело ходить не стало. Мы вместе даже иногда ходили, – он кивнул на жену.

– И к чему вы клоните?

– К тому, что сердце России – оно там. Оно не в одном каком-то месте, тем более таком, как наша Москва. Ему невозможно быть в одном месте, потому что наше сердце – это Бог. А Бог – он может быть только везде. И где бы ты ни зашёл в храм, ты попадаешь в сердце.

– Молиться – это не для меня. Свободный человек не станет молиться. Если я перед кем и грешен, так только перед самим собой.

– А молиться необязательно. Тебя никто не заставляет. Ты заходишь в храм – и тебе хорошо. Тебе светло, ты понимаешь, о чём речь? Тебе светло от присутствия Бога, от радости, которую он дарует тебе, оттого, что живёшь. И тебе хочется говорить, говорить перед иконой – но не просить для себя, а благодарить Бога. За жизнь на земле и за свет. И когда ты закроешь дверь храма – будь это в центре Москвы, и ты побежишь по своим делам, или в какой-то глухой деревне морозным зимним вечером, когда тебе и идти больше некуда, – ты понимаешь, что сердце России – это не какой-нибудь город, не какая-нибудь площадь, а это вот тот самый храм, в котором ты только что был. И крестишься, благодаря Бога за то, что побывал здесь. Да, православный храм.

– Я удивляюсь вам, дедушка, – пробормотал Аркадий. – Свободному человеку это не нужно, у свободного человека одно сердце – своё. И весь мир лежит перед ним: действуй! Мир ждёт, что решит свободный человек. Сердце России – это думающие, мыслящие и переживающие люди.

– Так, значит, не все люди такие? Не знал, – улыбнулся старик. – Ну, а ты, свободно мыслящий, чего не заявишь никак миру о своём решении? А то он уже заждался.

– А у меня есть всё, что мне нужно, – развёл руками журналист. – К тому же мы живём в оккупированной стране. – Он приблизился к уху старика, заставив того немного

отодвинуться. – Законы не соблюдаются – раз, свободы слова нет – два, чиновники всё захватили – три, – объяснил он на пальцах. – Нужна революция, – заключил журналист.

Старик откинулся на спинку стула и крепко задумался:

– Знаешь, – сказал он, – вот в этом городе, где сейчас твои тридцать человек задумали революцию, я вырос и провёл молодость. Ну, некоторую её часть. Я жил не здесь, конечно, этого района не было. Мы жили с родителями в центре, неподалёку от тех мест, где вы собираетесь, ну если обогнуть пару улиц. Я помнил там каждый двор, каждый закуток, знал все потайные ходы, как пролезть через какую-нибудь стену, как попасть в закрытый дворик, где какие тайны есть – для ребёнка, конечно. Там росли всякие интересные деревья, какие-то низкие кусты с ягодками, названия которых я не знал. Там пахло жизнью, прелестью, молодостью. Потом, когда я жил уже в Москве, этот дом расселили, и бабушке досталась эта квартира здесь, а родители купили себе жильё в другом городе. И когда я приехал сюда, уже на старости...

– Когда мы вместе приехали, – поправила его жена.

– ...когда мы вместе приехали, я прошёлся по тем улочкам детства, я заглянул во дворики, я увидел снова все старые лестницы... – Казалось, он мог бы заплакать, но собрался и бодро продолжил: – Все деревья вырубил, половину лестниц, по которым я бегал ребёнком, снесли к чёртовой матери, моего дома не было уже – вместо него высился забор, такой, что невозможно было увидеть, что за ним построили. Уцелевшие старые дома выглядели так плохо... Их белые стены сияли в детстве, они так были красивы летом, если б ты видел! Сейчас они были почти разрушены. И все были исписаны – да так неумело – вот этим словом: революция, revolution. Исписали лестницу, исписали асфальт – непонятно уже чем, да и ладно. Они хотят изменить что-то, а губят красоту? И тогда я понял, глядя на это всё: революция – это то, что уничтожает мои любимые улицы, скверы, срубает деревья и закатывает их в асфальт, сносит аккуратные дома и исписывает всё вокруг грязными, бездарными надписями. Вот такая она – революция. Она убивает моё детство. Поэтому я не хочу её.

Взгляд гостя изменился: теперь он был как будто ошарашенным. Он словно протрезвел немного, слушая старика, и смотрел на него с непониманием и даже презрением.

– Мы за бескровную революцию. Мы ничего не собираемся убивать, – медленно проговорил он. – И тем более никого. Но так дальше жить нельзя. А такая позиция, как у вас, – это позиция закомплексованного, живущего в собственных воспоминаниях человека, боящегося сделать шаг вперёд.

– Миленький мой, сколько мне лет? Какой шаг вперёд? В моём случае шаг вперёд – это шаг в могилу. А насчёт закомплексованных я вот что тебе скажу. Закомплексованным может быть тот, кто не хочет выставлять себя напоказ. Вот вы, все такие подчёркнуто раскомплексованные, вы кичитесь этим: я как хочу, так и веду себя, где угодно и с кем угодно, просто потому, что я так хочу. Вы любите эпатаж, любите пафос, любите, как мне говорили часто, перформанс. Встречал я таких людей раньше, не тебя одного. Вот как ты одет? Подчёркнуто ярко. Как ты ведёшь себя? Вызывающе ярко. Что пишешь? Какие-то яркие слова. А что, твоя жизнь яркая? А много ли яркости в тебе самом?

– А помнишь, как мы танцевали? – неожиданно вступила в их разговор Нина Валентиновна.

– Ну да, – улыбнулся старик.

– Мы были на каком-то мероприятии, где, в общем, народу было полно. – Она ухватила Семёна Ивановича за локоть, но смотрела на журналиста, так как рассказывала ему. – И там танцевали все, это было «что-то по работе»...

– Да, меня пригласили. Ну и жену заодно...

– И я выпила ещё, а танцевать никогда не умела, да и в толпе такой как развернёшься? Мы сидели за столом, у нас остался бокал вина и море вишнёвого сока. Я помню, мы пили, обнимались и слушали.

– Мы закрыли глаза, – вспоминал старик, – и представляли, как мы танцуем. Как мы одни на берегу большого моря – нет, океана даже, и как вокруг только песок и волны, и нет никаких людей, и есть музыка. Этот танец был красивее их всех, и чувственнее их, в нём была страсть, в нём было единение. В нём была вечность. И мы любили друг друга в этом безумном танце, мы растворялись друг в друге.

– Да уж, действительно безумный танец, – ословело смотрел на них журналист, – сидя за столом на корпоративе.

– Ничего он не понимает, – устало проговорила Нина Валентиновна и поднялась из-за стола. – Ладно, я, пожалуй, прилягу. – Она поцеловала старика в щёку и не торопясь пошла в другую комнату.

– Вы уж меня извините, – заводился Аркадий. – Но это и есть «овощная» позиция. Это «овощи» так рассуждают: пока вокруг идёт большая жизнь, мы фантазируем, будто у нас всё хорошо. Мы сидим и ничего не делаем и представляем, что у нас всё лучше, чем у тех, кто что-то пытается делать. Мол, у нас чувств больше, мол, мы глубже. Потому мы не поднимем задницу со стула, а будем смотреть, как разваливается страна.

– Да я же не о стране, – сказал старик.

– А я о стране! – прикрикнул, сам испугавшись, журналист. – Я о стране. Сейчас нельзя думать о чём-то другом, совесть не позволяет. Сейчас всё о стране, все мысли должны быть и действия. Нельзя быть разлагающимся «овощем», который голосует за лидера нации этого, чёрт бы его побрал, вашего. Нельзя возле телевизора жизнь просиживать да детство своё вспоминать. Нельзя быть такими же «овощами», как эти... – он судорожно подбирал слова, – как это было.

– И что ещё нельзя? Расскажи мне, – попросил старик, вставая из-за стола.

– Нельзя так наплевательски относиться к будущему страны. Это и ваша страна, и вам тоже в ней жить. Неужели вам всё равно? Ведь вы не даёте нам взять власть, в частности, вы.

– Вы – дети, которые никогда не повзрослеют. Какая вам, к чёрту, власть? Обожжёться, – мрачно сказал старик. – А мы вот с женой, почему мы должны быть с вами? – он настойчиво указывал журналисту на дверь и часы.

Тот хлопнул последнюю рюмку, встал и, пошатываясь, отправился в коридор.

– Вы нас считаете за «овощей». Мы для вас никто, и наше детство, и наша любовь, и наши заботы – этого всего для вас нет. Вы не знаете, что мы существуем. Да, мы живём друг другом, друг для друга и всю жизнь прожили так. Кто ещё проживёт для нас, ты? Для неё проживёшь ты? Или ваши митинги, или ваши молодые, сверкающие улыбками кандидаты? Они плюют в нас, хамят нам. У нас своя жизнь, а вы не признаёте наше право на неё, не считаетесь с нами. О чём может быть разговор?

– Вы же нормальные, вроде, люди, – бормотал журналист, натягивая кеды. – Разве вас не унижает, как вы живёте, что делается вокруг? Как вас это может устраивать? Никаких прав человека, никакой свободы слова...

– Какая свобода слова? – пожал плечами старик. – У меня никто ничего не отнимает. Всё, что я хотел говорить, я всегда говорил. Всю жизнь.

– Тогда и я вам скажу на прощанье, – собрался с мыслями Аркадий. – Вы – дураки. Хотя и образцовая семья. Заслуженные люди! Не знаю, где редактор откопала вас, динозавров! Я общался с вами как с равными, как с нормальными людьми. Любовь у них. Ничего вы не нажили, а главное – мозгов. Вот вы говорили, что проблема в том, что не все на своём месте. Нет, главная проблема в том, что в стране таких людей полно, как вы. Пока есть вы, не будет никаких перемен. Но ничего, ночь пройдёт... – журналист усмехнулся, махнул рукой и вышел в подъезд.

Старик смотрел на него, ищущего кнопку лифта. «Не уснул бы тут, в подъезде», – промелькнула мысль.

– Тебе 40 лет, и ты никому не нужен, кроме пригревших тебя одиноких стариков. Тебе и нужны перемены – нам нет.

Журналист не смотрел на него.

– Ночь пройдёт, наступит утро ясное, – разгорячённый, пел он. – Солнце взойдѣ-о-о-т!
Старик закрыл дверь.

– Зачем он нас обидел? – спросила Нина Валентиновна.

Они лежали в полутьме. Светила луна. Семён Иванович оставил дверь в комнату приоткрытой, и было слышно, как кто-то за стенкой пытается играть на скрипке.

– Мы уже не раз так говорили. Просто ты спала, – сказал старик. – Он никого не обижает. Ну, думает так человек – пусть думает. Лишь бы не повесился.

Скрипка за стеной издала особенно протяжный звук, а затем полилась грустная мелодия. Старик посмотрел на часы: без двадцати одиннадцать.

– Тебе нравится эта мелодия? – зачем-то спросила жена, кивнув в сторону двери.

– Мне не нравится, что она так поздно играет, – ответил он. – Мне, как любому старику, хочется покоя.

– Это точно. Тем более после такого беспокойного гостя. Но красивая же мелодия. Пусть и спать не даёт. Играет здорово. Скажи?

– Ты знаешь, – он повернулся к ней, – это всё глупости, но ты не думай об этом. Там живѣт девочка, лет десяти, её мама всё этой скрипкой мучает. Я их пару раз видел, когда без тебя ходил. И играть она совсем не умеет, да и не научится никогда. Потому что не хочет.

– Ну и ладно. Важно ведь не как, а что. Правильно? Если мне нравится, как она играет, значит, это не зря?

Звук скрипки то прерывался – были слышны чьи-то голоса, – то с новой силой возникал, первое время даже громче, потом затихал, и его было еле слышно.

– Спи. – Он погладил её по щеке и укрыв одеялом. – Милая моя, дорогая...

«Живѣм мы хорошо, – вспомнил старик отчего-то, как рассказывал журналисту во время их первой встречи, ещё за чашкой чая. Тот сидел с блокнотом и аккуратно записывал, трезвый ещё. – Мы довольны своей жизнью и наслаждаемся ею. Наверное, потому, что всё, что надо, у нас есть. Вот только... Если б дочь не присылала деньги, наверное, было б трудно. Подумай сам: пенсий наших, вместе взятых, хватает вот, чтобы квартиру оплатить, ну и на скромную еду. А если лекарства нужно купить, то уже тяжело. Плохо, что у нас так старики живут. Посмотришь на такую жизнь и думаешь: где справедливость?»

«Ну, справедливость – вообще сложное философское понятие, его можно интерпретировать по-разному, – заключил журналист. – Все зависит от угла зрения. Никто ведь ещё не придумал универсального определения справедливости».

«Нет, – покачал головой старик, – справедливость – это вполне конкретный термин. И у него может быть только одно значение, всё остальное – ложь, чтобы прикрыть несправедливость. Вот нам с женой показывают по телевизору: выходят с цветными флагами, гримасничают на улицах – чего хотят? Оказывается, ориентация у них другая. Требуют защитить, требуют признать. Ну да, может, где-то их и ущемляют, возможно такое, конечно. Но они не умирают с голода, не умирают оттого, что к ним не приезжает скорая. Мы сколько прожили, ни одного гея не видели – ну вот сложилось так, а стариков, считающих копейки возле хлебного прилавка, видим каждый день. Проблемы нужно решать последовательно, – заключил старик. – Ты заходи к нам в гости, ты парень интересный, я расскажу тебе ещё про справедливость».

– Ну ты и мразь! – внезапно процедил Семён Иванович и испугался, взглянул на жену.

Она уже крепко спала, положив руку под подушку, и, конечно, не слышала его слов. Не услышала она и странный шум из коридора, который привлек внимание и насторожил старика. Как будто кто-то тихо открыл дверь, стараясь быть незаметным, а потом столь же тихо прикрыл её за собой. «Померещилось? – с тревогой подумал старик. – Надо бы встать, глянуть». Он присел на кровать и стал елозить босой ногой по полу, нащупывая

тапки. И тут отчётливо понял: в квартире кто-то есть. Неведомый гость уже не скрывал своего присутствия: раздался топот, кто-то прошёл на кухню и быстро вернулся. Сердце старика бешено заколотилось, он поднялся и чуть не упал снова: голова кружилась, слабость не давала сделать шаг.

«Давай туда», – раздался гулкий голос в коридоре. И немедленно ответил второй голос: «Их там двое». Старик мельком взглянул на спящую: она ничего не слышала, лишь размеренно дышала. Собрав все силы, он ринулся в коридор.

«Не работает, твою мать», – раздалась громкая ругань, а затем ещё несколько грязных слов. Старик увидел человека, щёлкающего выключателем, а рядом с ним ещё одного, уже заметившего его появление. «Так и забыл купить лампу», – подумал старик. Надвигавшегося на него человека он не успел разглядеть. В темноте было непонятно, как выглядели внезапные гости, во что они были одеты. Он ощутил резкий удар в живот и, начав сгибаться, – в голову каким-то тяжёлым металлическим предметом. Старик упал на колени, и нападавший скользнул мимо него в комнату. Второй, проходя, ударил его ногой в лицо, затем ещё раз, и старик упал на пол.

«Туда», – указал первый голос из спальни, и второй человек прошёл в зал. Борясь с наступавшим на него мраком, Семён Иванович услышал, как открываются ящики, шкафы, вываливаются вещи. В зале с грохотом разбилась ваза, и только после этого проснулась Нина.

– Вы кто? – спросила она.

Старик вскочил, опираясь на тумбу и, шатаясь, пошёл в сторону спальни. Он понял, что ничего не видит, и ещё – что его сейчас вырвет. На пороге в спальню это и случилось. Вместе с рвотой из глаз хлынули слёзы. «Грабители!» – подумал он.

Человек схватил нож, отчего-то лежавший на трюмо, рядом с тремя тысячами рублей – всеми деньгами, что были в квартире, приблизился к ней и несколько раз ударил. Старик увидел, как хлынула кровь, но ему, согнутому пополам, было не преодолеть своего состояния, он упал и снова попытался встать. Она окликнула его по имени – два раза, отчаянно, громко.

– Миленький, спаси меня, пожалуйста! – прокричала она.

Грабитель схватил её за волосы, и несколько резких ударов ножом, последовавших за этим, успокоили её окончательно. Она свалилась с кровати, издав неестественное и страшное хрипение, и старик закричал нечеловеческим голосом.

– Где деньги? – услышал он голос за своей спиной и только сейчас понял, что к горлу приставлен нож, а самого его держат крепкие объятия, из которых уже никогда не получится выбраться. Он не понимал вопроса, он не знал, что ответить этому голосу, и не мог ничего ответить – после крика уже не было сил, да и добавить к нему было нечего. Темнота поглотила его, и не было ни кровати, ни мёртвого тела жены, ни окна с едва различимой за мутными облаками бледной луной. Потом стало очень больно, и никакое движение уже не представлялось возможным. Он ещё слышал какие-то голоса, шумы, но они уносились всё дальше и дальше, а там, где лежал он, лишь становилось горячо и липко, но нельзя было выбраться из этого, можно было только закрыть глаза.

– Ну, и неужели вы ничего не слышали в тот вечер? – аккуратный молодой следователь сидел за белоснежным столом в светлой комнате и смотрел в глаза красивой, немного усталой и оттого казавшейся печальной блондинке. «А он интересный, – подумала она и бросила взгляд на его руку. – Кольца нет».

– Вы знаете, мы ничего не слышали. У нас девочка играла на скрипке. Машенька, – крикнула она, – иди познакомься с дядей. А вы знаете что, – улыбнулась она, – не желаете кофе?

Татьяна ГРИБАНОВА

Татьяна Ивановна Грибанова родилась в деревне Игино на Орловщине. Окончила факультет иностранных языков Орловского государственного педагогического института.

Автор четырёх поэтических книг: «Апрель», «Прощёный день», «Сказ о Судбищенской битве», «Соль» и книги деревенских рассказов «Лесковка». Печаталась в журналах: «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Молодая гвардия», «Московский вестник», «Простор», «Подъём», «Родная Ладога», «Народное творчество», «Сельская новь», «Огни Кузбасса», «Лик», «Славянин», «Странник»; альманахах: «Звезда полей», «Новый Енисейский литератор», «Орёл литературный»; на сайтах: «Российский писатель», «Русское поле», «Славянские традиции», журналов «Великороссь» и «Камертон».

Лауреат-победитель в номинации «Привет, Россия!» Всероссийского конкурса «Звезда полей» им. Н. М. Рубцова. (2012). Обладатель специального диплома «Прохоровское поле» за поэму «Судбищенская битва» (2013).

Член Союза писателей России. Живёт в Орле.

МАЛЬВА

I

Вторые сутки без передыху гуляла у Потаповых свадьба. Степан Семёныч с размахом женил старшего. По всему было видно, невестка пришлась ко двору: пятистенка набита до отказа сватами, кумовьями да сродниками, и для пришедших взглянуть на молодую, а то и подруливших просто ради даровой выпивки хозяин расстарался, собственноручно выкатил из-под сарайки флягу свойской – угощайся, хуторские, знай наших!

Под грушенку, на сбитые на скорую руку, покрытые нарядными клеёнками тесины-столешницы под командой жениховой тётки Галины беспрерывно металась тарелки и миски с закусью. Никто не остался без угощенья, никто не почуял себя обнесённым на этом широком застолье.

Даже дышащие на ладан бабки Кузьминична с Егоровной не сдержались, порылись в сундуках, вытащили из-подо дна пахнущие нафталином наряды: «престоловские» шерстяные подшалки, штапельные, в тёмненький огурчик юбки, обористые завески.

Пригубив по рюмашке «красненькой», спробовали-оценили потаповские щедрые разносолы и, уступив место подтянувшимся, уселись в ожидании на лавку под сиренями – время от времени свадьба выплёскивалась на подворье, гомонился потерявший всякую стройность корогод. Гармонисты, сменяя друг дружку, уже путали «Барыню» с «Цыганочкой», и их рядком укладывали в саду на свежескошенную отаву.

Припозднившаяся бабка Мальва угостилась наливочкой и, прихватив кусок яблочного пирога, отошла к товаркам на лавочку.

В это самое время толпящийся на крыльце люд расступился, и из душевной хаты протиснулись молодые. Невеста – девчоночка-девчоночкой, лет семнадцати. Сашке, жениху, – под четвертак, пора уж, пора-а!

– Микитична, сказывают, так и не смирилась, темней тучи! – поспешила сообщить новость подружкам Егоровна. – На порог, говорит, Людку не пушшу, а уж Сашка́ тем боле!

– И чтой-то она на его узьелася? Вроде, не мозгляк худой... Малай как малай. И Людки ейной не хужей. Всё при ём, – поддержала разговор Кузьминична.

– Дак как жа не осерчать?! Вить и взаправду спозорила девка Микитичну, ой, спозорила-а-а! Брюхо-то – выше носу! Ишь, в белое обрядилася! Какое там белое-то? Стыдоба-а-а! И Микитичне – не запить, не заесть!

– Загундосила! Ну, и что стово? Что теперя, ай в моток девке сигать? – с обезоруживающей простотой, не дав отвести сплетнице душу, встряла бабка Мальва. – Всё чин-чином... Потаповы от своо дитя не отказалися. И Сашка в ей души не чаёт, ай, не видно? Сказывают, смертным боем с зареченскими ребятами за неё бился. А ты, девка, – Мальва покачала головой, взглянула на Егоровну, – язык-то поприкуси, чужим грехам счёт не веди... В пору бы свои не забыть... да успеть отмолить. Нечево девку хаять! Разуи глаза-то: с головы до ног счастливая, вишь, как сияет!.. Ажни слезой меня, старуху, прошибло... Прямо из себя выводишь! Замятовала, стопроцентова девушка, как со своим Прошкой стакалась, во скоко годиков ворота ему отворила? Кажись, нам с тобой, подруга, не боле, чем Людмилке, было, кода я коло вашего сенника в сторожах сидела, а ты с Прошкой миловалася... када он тебе Серёжку-то скоростелил!

– И-и-и! Нашла об чём говорить! – отбойрилась с ухмылкой, замахала руками Егоровна. – То в какие годики было?!

– А и вправду, что вспоминать-то теперя, бабоньки? У меня и самой, может, рыльце в пушку.

Мальва встала, не оглянувшись на ошалевших товарок, оправила юбку и пошагала к крыльцу, дав понять, мол, не о чем тут и говорить боле.

Протиснулась сквозь свадебных, поклонилась молодым за угощение, нажелала им три короба добра и потопала к воротам.

...А вот уснуть бабке Мальве так до самого свету и не удалось. Нахлынуло-о!

II

Род Силиных испокон веку жил на хуторе Степном, в двух верстах от Козловки. Прапрадед Лёхи, мужичок оборотистый, выкупив вольную у барина Казюлеева, поселился на заброшенном суглинке, заложил недалеко от деревни хутор. Сколько годков минуло с тех пор! Сколько вёсен тальми снегами шумнуло в Кромю-реку! Сколько трав полегло под литовками Силиных на пойменном лугу и сколько журавлиных косяков откурлыкало над разросшимся в дюжину дворов приречным хутором, в котором все – Силины! Все – родня!

Лёхин отец, Павел Семёныч, осенью сорок первого, не успев допахать под озимые, прямо с поля ушёл на фронт. В составе Первой гвардейской танковой Катукова вошёл в Берлин. Не раз со своей машиной горел, но Бог миловал, вернулся – грудь в орденах, с осколком в лёгких, но живой.

А в сорок шестом, под зимнего Николу, за ситцевой занавеской бабка Авдотья приняла на руки его первенца, названного в честь пращура, хозяина хутора, Алексеем. Через пару лет Господь послал и дочку Светланку.

В послевоенные годы, устроившись в МТС, Павел Семёныч перепахал холмы и взгорья на сотни вёрст в округе. Светланка при мамке, а Алёшка, перекинув в сумке учебники, мчался к отцу на пахоту. Тот и рад: сын к делу тянется! «Тракторист из тебя, Лёха, что надо! – подбадривал Семёныч мальчишку. – Машину чуешь – это главное! А сноровка – она с годами проявится».

Пришли и сноровка, и хватка. Лёха с завязанными глазами мог разделить под орех, в пушинку, любое самое заковыристое поле. Да и служба в армии (в танкисты, по батыным стопам, напросился) дала немало мужижкой закалки.

Хуторские Силины извечно приводили жён из окрестных деревень.

Пришёл срок, женился и Алексей: с вечера начистится, нагладится, чуб зачесет и – в Козловку, в клуб.

– Ты уж гляди там, сначала головой думай, опосля другим местом! – поучала вослед мать Александра Тихоновна.

– Ну, ты и даёшь! – отмахивался Лёха.

– Чего даёшь, чего даёшь? – не отступала напористая Тихоновна. – Знаем мы вашего брата!

Как в воду матушка глядела...

Служить уходил, Машка Спиридонова – малявка малявкой, он и вниманием её не достаивал. А, вернувшись, появился первый раз на танцах – сразу на девчонку глаз и положил. Очень уж приметная: норовом бойкая и с виду – что надо. Статная! Платице в оборочку, косынка по плечам розовая.

Котька, дружок закадычный, подтрунивал: «Зря не пьясь! Малолетка, только из школы. Да и в техникум собралась. Такую вожжами не удержишь. Кобылка необъезженная, норовистая!»

Но так уж, видно, стало Богу угодно: приглянулся девке армеец. (Лёха всё ещё в форме расхаживал: старшиной не каждый домой возвращается.) Сама подошла... А как к такому не прикипеть? Сажень косая в плечах, на турнике за клубом такие фортеля выкидывал – никому не под стать!

Как-то сговорилась проказница с гармонистом, дедом Степаном, и только Лёха на порог, а она – в круг. И пошла! Да с выходкой, да с дробями. Косыночку за спиной, что касатка крылышки, раскинула, натянула, вот-вот взлетит! Плясала-порхала по пяточку, а потом остановилась против Лёхи да давай частушками заковыристыми сыпать, паренька подшкеливать. Как, мол, перебьёшь мои дробиночки?

*Как за речкой за Кромую,
Где черёмуха цвела,
Начались у нас с тобою,
Друг, сердешные дела.*

Лёху голыми руками не возьмёшь! Вихрем с места сорвался, руки за голову – и вокруг танцорки гоголем, да вприсядку, только сапоги вперебой с девчоночьими каблучками спорят, поскрипывают. И язычок – не обрежься:

*Взял бы я тебя на ручки,
Посадил тебя на печь –
Таких девушек красивых
Лучше дома приберечь!*

Напирает Лёха на Машутку, кружит, передыху не даёт.

А та – носик кверху, головку чуть в сторону, струна струной, аж звенит! Даже росточком повыше стала. Воссияла – маков цвет. Руками повела, раздвинула.

– А ну, шире круг, мы тут надолго разошлись!

– Держись, забияка, поглядим, кто кого!

– Гляди, да глазки не поломай! Допляшешься! – послышался голос из толпы. – Присушит девка, век под её дудку плясать станешь!

А Маша не смолкала:

*На Святой неделюшке
Повесили качелюшки.
Сначала покачаешься,
Потом и повенчаешься!*

– Ну, это мы ещё посмотрим! Ишь, чего захотела!

Не плясали, а разговаривали, не разговаривали, а договаривались. И не было сомнения у глазевших: пара! Ещё какая пара! Смотреть не оторваться!

И танец не закончился, а уж Маша с Алексеем понимали: запыхаются эти перегонки, выйдут они за порог клуба – и никогда не разойдутся их стёжки. В тугой узел связала их эта пляска, оттанцовывают последние холостяцкие деньки.

Июньская ночь, неспелая, нежная. Густо пропахшая доцветающей сиренью, молодой, ещё не пропылённой листвой, духом входящих в сенокосную пору луговых трав. Светло даже в такую глухую пору. Машутка с Лёхой, обойдя не раз закоулки деревушки, наконец-то добираются до крайней хаты. Вдали сквозь тончайшую кисею тумана проглядывают заросли черёмух, скрывающих Лёхин хутор.

– Пора, а то, глядишь, и до дома тебя допровожаюсь, – замечает Маша и поворачивает обратно.

– Ну, ещё чуть-чуть... – принимается уговаривать девчонку Лёха и усаживает на лавочку у Котькиного палисадника.

С Котькой Смирновым они не разлей вода. И под кручу за пескарями вместе; и в школе за одной партой; и поглазеть из лозняков на девчат, что плещутся нагишом после покосов на омутке; и повсхлипывать друг у друга на плече от лозинки Силина-старшего, не спускавшего эдаких проделок ни своему отпрыску, ни сынку друга Михаила, погибшего в далёкой Польше на подступах к Кракову.

Но сейчас Лёха помнит, что шалопаистый товарищ его в одиночку отправился на Чупаху, на другой конец деревни, до самой зорюшки промилуется с какой-нибудь очередной любовью.

Оттого ли, что Лёха знает: вокруг – ни одной живой души; а может, оттого, что Маша, доверившись ему, забрела чёрт знает куда, сердце парня выпархивает из-под гимнастёрки, не удержать.

– А как Архиповна выгянет? – косясь на окна, настораживается девчонка.

– Не бойсь, куда ей! Обезножила тётка Марья. Неделю, как у дочери обретается. Котька один свирепствует. Архиповна полезла в сараюшку на сеновал – гнёзда куриные обобрат, а верхняя ступенька у лесенки возьми да и обломись. Яйца, что в фартуке придерживала, – вдрызг, и тётка помялась – нога в гипсе. Котьке, конечно, за недогляд всыпала, лесенку-то ещё дядька Михайло сработал, подгнили перекладыны.

– Котьке твоему, что плимутроку племенному, не до хозяйства. Кто ж вместо него девчат по углам тискать станет? Без такого ухаля с тоски поумирают.

В росном палисаднике гремит соловей. Золотые жуки-светляки фланируют в зарослях мальв. Их безудержное цветение всегда совпадает с самыми пугливыми, самыми короткими ночами, когда на прозрачном, едва притухшем небе до мельчайших подробностей просматриваются горние вершины облаков.

– Небеса-то какие улыбчивые... – Маша кивает на бирюзовую, так и не соскользнувшую с горизонта зарю.

– За нас радуется, не тает... переживает: ночь промелькнёт... а я тебя и не поцеловал...

– Вот ещё! – фыркает девушка, вскакивает, отбегаёт в заросли палисадника.

Мальва, как есть – мальва! И впрямь приворожила. А стан! Крепкий, тугой, того гляди платье по швам разойдётся. Не смотрит, а брызжет влажным огнём насмешливых глазниц.

– Почему тебя Мальвой не назвали? Такая же стройная, такая же...

– Какая такая?

– Настоящая, – смущается Лёха.

Лунная дорожка, сходящая в палисадник, тянется к реке, вдгонку за выскользнувшей Машей. Над кустами ивняка мелькает газовая косынка, а парню чудится: невидимый ветерок расхулиганился, оборвал, подхватил перламутровые мальвовые лепестки и закружил над поймой крошечным ярким пламенем.

Убегаёт Машутка от Алексея и не ведаёт, что стремится ему навстречу. Навстречу своей судьбе.

III

От неожиданности она резко останавливается. Котыкина баня так обросла ивняком, что мало кто и помнит о её существовании. Сбегающая к реке стёжка вдруг упирается в её замшелую стену. Откуда может девчонка знать об этой ветхой баньке? Ноги сами привели.

Лёха, спускающийся вслед за Машей, загодя готовя для себя оправдание, шепчет: «Видать, судьба... от неё не увернёшься...» Знала бы ступившая на эту тропку Маша, сколько девчоночьих и Котыкиных тайн покрывают брёвна допотопной бани. Лёха догадывался, но никогда не расспрашивал своего друга о сердечных похождениях.

Смекнув наконец, что забрела невесть куда, да и вообще, зашла для первого вечера с этим армейцем слишком далеко, Маша, зная, что следом спускается Алексей, сворачивает напрямки, через краснотал, но спасительную лазейку, предвидя девичью хитрость, перегораживает предусмотрительный Алексей.

– Ну, что ж забоялась? Такая смелая, а тут струхнула? – Лёха понимает: не будет напористым – навсегда упустит шанс, который предоставил, может быть, сам Господь – упорхнёт девчонка в город, там ребята шустрые, не прозевают, миг окрутят, мимо такой попробуй пройди!

– Ничего не струхнула, – щёки девушки охватывает нарастающий пожар.

Лёха подступает совсем близко и сгребает девчонку в охапку.

– Дурочка ты моя, успокойся. Не обижу.

Маша пытается вырваться, но где ей справиться с такой силищей!

– Не дёргайся, сказал же: не обижу... Нравишься ты мне... очень... Скажешь: не люб – сам отпущу и ни в жисть не подойду.

Алексей склоняется и первый раз за вечер целует Машу в губы.

От дерзкой девчонки, смело подковыривавшей его пару часов назад при всём честном народе, можно ожидать чего угодно: такая и драться кинется – не моргнёт, а уж оплеухой одарить – плёвое дело, в конце концов может и раскричаться, голосище-то вон какой звонкий.

Но то, что девушка протянет и нежно положит дрожащие руки на его плечи, сначала робко, а потом с нарастающей страстью станет отвечать на его ласки, Алексей наверняка не мог предвидеть.

Уже зародившееся, но тщательно скрываемое чувство этой совсем ещё юной девушки вдруг прорывается, выплёскивается, устремляется навстречу ошеломлённому парню, окрыляет его, и он, оторвав Машу от земли, не переставая целовать, кружит вместе с нею на тесной лужайке.

– Я и сам струхнул, прямо земля с-под ног уходила, весь вечер не знал, как подступиться... Уж больно озорна, – признаётся, смущаясь, Лёха.

Маша ничего не отвечает, молча обнимает его и теперь уже сама жадно целует. Долго, ненасытно, словно измучилась, дожидаясь этой ночи.

Так и стоят, крепко прижавшись друг к другу час, а может, два. Кто считал? И целуются, целуются...

Наконец Лёха чувствует, что руки его, блуждая в шелках девичьего платья, перестают встречать препятствие, и мягкие, податливые девичьи губы, раскрывшиеся лепестки мальв, распухают от поцелуев. А груди, эти, ещё никем не тронутые, наполненные ароматами молодости и свежести цветочные бутоны, напрягаются и замирают. Алексей на мгновение, всего лишь на мгновение отстраняет Машу, чтобы только взглянуть в её горящие глаза, увидеть подтверждение, не ошибается ли в своих догадках, и тут же тонет в их омутах на веки вечные.

– Идём! – Алексей берёт девушку за руку.

И она не отдёргивает руку, не капризничает, а уверенно ступает в отворённую парнем дверь.

С детских лет банька эта – потаённое место двух закадычных друзей. Лёха знает: протяни руку на полочку у правой притолоки – тут же нащупаешь спички да парочку свечных огарков. Но, к удивлению, Котька обустроился за время Алексеевой службы основательно. В полумраке рядом со спичечным коробком парень обнаруживает керосиновую лампу. Удивляется: «Запасливый, чёрт!»

Маша проходит к полкам, садится. В полумраке лица не разглядеть, свет керосинки, проникающий сквозь приоткрытую дверь предбанника, ластится на её высокой груди, перебирает перламутровыми пуговичками. «Попробуй, доберись! Что кнопок на гармонии», – дивится Лёха.

– Фитилёк-то притаи, – шепчет Маша пододвинувшемуся парню.

– Что ж это я! погоди минутку, щас! – спохватывается тот и кидается к двери.

На боку баньки, на скобке, – литовка, Лёха не раз помогал другу смахивать приречный лужок.

Через пару минут он уже возвращается с увесистой охапкой полусонных одуванчиков. Керосинка еле тлеет. Войдя с широкого лунного света, парень на ощупь проходит к полкам, раскидывает траву. Обыкаясь глазами, тянется к Маше, и вдруг настороженный слух отчётливо улавливает: словно сыпанул кто на прожаренные банные половицы пригоршню калёных переспелых горошин – щёлкают, подскакивают под ноги не удержавшиеся от девичьего порыва пуговицы...

– Погаси, погаси лампу-то! Ну её к лешему! – шепчет девушка.

...Луна переваливает за крону высоченного осокоря, приютившего забытую всем миром баньку. Бледный незабудковый свет просачивается сквозь отзынутую дверь.

– Ишь, подсматривает! – то ли шутит, то ли обижается Машутка.

Прикидывает наготу измятой их жаркими телами травой, словно прячется в сатин матушкиного лоскутного одеяла.

Тянет молоком свежескошенной луговины. Но к знакомому с малых лет духу июньских трав примешивается новый, неведомый ранее, томно-сладостный, горьковато-солёный – аромат любви. Пропитывающий насквозь, проникающий в каждую клеточку, дающий право с этой ночи ощущать себя не только женщиной, но ещё и счастливой из счастливейших. А самое главное – мамины упреждения и разговоры «об этом» с глазу на глаз остаются где-то далеко-далеко, в отлетевшем девичестве.

И ненасытные губы, и всё ещё по-детски нежные, незагрубевшие, покрытые мелкими, прозрачными, солоноватыми бисеринками сосцы, и изласканные до хруста в косточках, до последней мочушки плечи, и наконец-то расслабившиеся, крутые, с чуть приметными ямочками бедра девушки, перепачканные, забрызганные терпким и горьковатым соком измятой зелени, не дают покоя неугомному Алексею.

Есть среди густых ароматов этой чудной ночи тончайший, едва уловимый, до головокружения заманчивый – запах мальвы, запах юного тела, впервые познавшего мгновения плотской любви. Он будоражит и влечёт, неотвязно манит и зачаровывает, вспенивает и взметает в Лёхе безудержные волны желания обладать этой потрясающей девушкой вновь и вновь, пока не обмелеют все реки, пока не иссушатся все родники его страсти.

– Это когда ж такие отрасли успела, между алгеброй и физкультурой, что ли? – подшучивает Лёха, выразительно посматривая на раннеспелые, не по-девичьи броские Машуткины груди, наливными яблоками закатившиеся в сомлевшую зелень.

– Всё просвирник-секретник, мальва твоя разлюбезная...

Как собралась Валюшка Тимонина замуж, так скорей – к бабке Куделихе. Та и давай взвары плоскогрудой Валентине стряпать. Валюшка-то по секрету сказывала: зальёт старая ложки три сухих корешков просвирника тремя стаканами ключевой водицы и кипятит в саду на каменке минут пятнадцать. Процедит. Пошепчет, конечно, не без этого. И пей, милая, по полстакана три раза в день до еды. А коль на ночь из того же

взвара компрессы на грудь не забудешь – так откуда что возьмётся. Валентина уж третьего выкармливает. А всё мальвочка-просвирочка, спасительница бабья.

Мы, малкосня, не ведая, отчего красота девичья зреет, днями просиживали в зарослях мальвы, в куколки играли, «пуговицы царские» собирали. Приладишь к распущенному венчику-юбочке бутончик-головку – и пупсик готов. Наиграемся, крошечных пышек-просвирок – помнишь, калачики такие в пазухах листьев запрятаны – на-едимся и домой не торопимся, просвирками сыты. А то надерём их в подол – и ну во что-нибудь на них играть. Победителю – общая куча калачиков.

Я заводная, везучая, ловкая. К вечеру, бывало, набью карманы сладковатыми пуговками – и домой. Мама только подтрунивает: «Самая девчоночья еда! Щёлкай, девонька, проскурки-лапышки на здоровьице! И конфет не надо!» Ириски, да и только! Клейкие, склизкие, сладковатые. Вот и нащёлкалась, налакомилась на свою голову, – стесняется Маша, косясь на свои «достопримечательности».

– Да что ты! Красотища-то какая! Такое достояние беречь-лелеять надобно!

И Лёха в который раз склоняется к любимой, играет тут же откликнувшимися, вздрогнувшими сосцами, губами собирает и откидывает былинки – грех скрывать за ними такое великолепиие!

Одним небесам ведомо, как и откуда возникает настоящая любовь и что приносит с собой...

Рядом же с этой девушкой Алексей вдруг почувствовал: что-то в нём напрочь изменилось, исчезла вольная бесшабашность, и он уже никогда не сможет быть с другими. Лёха словно разом определился: вот она, единственная и незаменимая, и не надо больше никого искать, всё в ней одной слилось. И чувство это поглотило парня настолько, что уже и не сомневался: Маша предписана ему судьбой. С нею хотелось быть единым и в жизни, и в желаниях, и в молитвах. Всё: и этот задиристый, чуть опалённый июньским солнцем носик, и распадающаяся надвое, непокорная чёлка, и крепкие икры длиннющих ног, и исцарапанные колючками неспелого крыжовника, спешно прибирающие раскидистую косу руки – вся она, весь вид её будоражит и будит в нём живой отклик. Собирает и подтягивает его, окрыляет и призывает цвести. Алексею повезло: любовь его осветил сам Господь, своею искрой воспламенил желание служить этой женщине, жить только ею.

А Маша настолько счастлива, что пока ещё и не может осознать широту захлестнувшей её любви к Алёшке Силину.

IV

Прибравшись, наспех отыскав раскатившиеся пуговицы, притворив двери баньки, оставив на её памяти тайну промелькнувшей ночи, Лёха с Машуткой сбегает в пойму.

Оросившийся рассветными туманами шелковисто-лёгкий лик неба постепенно перетусшёвывается в бледно-лиловый, с едва лазоревым бахромчатым краем над восточным окоёмом, над правобережными заливными лугами.

На душе у Алексея легко и просторно. Невесомы и широки, безбрежны небеса.

Маша, прикрывая пустые петельки платья, завязывает на груди широченным бантом прихваченную (теперь уже из девичества) косынку.

– Пора, Лёшенька, мамка теперь задаст!

– Какая мамка? Ни на минуту не отпущу!

Когда влюблённые выбирают на просёлок, над округой зацветает заря. В ранней лазоревой вышине расползаются тончайшие белёдые линии. А когда Силин хутор, выглянув из-за Черёмухова овражка, оказывается как на ладони, молочные линии на знойном небе, словно на ясном морозном окне, принимаются играть – обрастать перьями и коготками, всевозможными былинками и муравками. Ближе к горизонту

выстраиваются в башенки и хребты, перепутываются и снова выстраиваются в звенья. В отсвете выкатившегося жемчужного шара порхающие перистые облака отбрасывают на землю серебристый блеск. И Алексею чудится, что Маша, его Мальва, в своём шёлковом, отливающим неземным блеском платье, сошла с этих великолепных небес.

Тихоновна, спровадив Красавку в росы, ещё издали заприметила своего Алёшку. Только с кем это он?.. Ай, Петра Спиридонова Машутка? Так и есть. «Ах ты Боже мой, ить девчуха совсем! – Всё поняло, заволновалось материнское сердце. – А может, оно и к лучшему... Вроде, не слышать об ней ничего хульного, не разбалованная... да и ладненькая... Внучонков таких же принесёт!»

– Здравствуй, мама... Красавку свела? – захорохорился Алексей.

– Здравствуйте, тётя Саша, – зарумянилась Машенька.

– Да, какая уж теперя «тётя»? – досмотрев пустые пуговичные петельки, покачала головой Александра Тихоновна. Разом отрезала: – Дочкой, небось, пришла? Мамкой и зови... Отоспитесь, – кивнула Алексею на сеновал, где он всегда ночевал летней порой, – опосля и потолкуем.

Только часа через три, когда сквозь щёлки тесовых стен сараюшки просочился запах пирогов, Маша с Алёшкой опомнились – есть страсть как хотелось.

– Ну, в сарайке не отсидишься, родные мои хоть и нраву крутого, но отходчивые, – успокаивал любимую Алексей, – да и меня знают: коли привёл, значит, не отступлюсь, лучше миром поладить.

А Тихоновна и не думала фордыбачиться. Пока молодёжь досыпала, умаслила расшумевшегося было мужа, приняв на себя первые громы.

Наспех обрядившись в чистое, сбегала в Козловку, мол, к Валентине Сорокиной, товарке своей, поспрошать, как это та настрогалась без опары такое пышное тесто заводить, а заодно через забор потолковать и с Катериной Спиридоновой, Машуткиной матерью. Хватилась, небось, девки-то!..

– Как, Катюш, поживаешь? – зашла обходным путём Тихоновна. – Картохи-то у вас, гляжу, дружно цветут. Огурчики ранние не пошли?

– Да что ты, Шура! Только плети раскинули, недельки через две, не ране.

– Как сама? Как детки? – приближалась к причине своего визита Лёхина матушка.

– Поясницу было разломило, да к Куделихе Машутку спровадила, та какой-то мази злющей... чай, на тараканах да пивяках насуропила, отлегло... А ребятишки... Что им подделается? Дрыхнут в светлице... Пока под мамкиным крылом, отсыпаятся.

– Все ли под крылом-то? – улыбнулась Тихоновна. – Может, кого недоглядела, насадка?

Катерина насторожилась, резко двинулась к хате. Откинула занавеску распахнутого окна. Заглянула внутрь и в недоумении оглянулась:

– Ты, Шура, не ходи колесом, давай напрямки!

– А я уж битый час пытаюсь намекнуть, да всё не получается: сватов на Петров день встречайте, у нас дочка-то ваша. Так-то вот: была ваша – стала наша, – хихикнула Тихоновна, но, сжалившись над остолбеневшей, с сердцем добавила: – Да не кручинься ты, Кать, Алёшка у меня сговорчивый, жить станут ладно, да и добрый он, комара не пришлёт, а уж дочку твою, коли сам привёл, пальцем не тронет. Да и мы с Пашей супротив их счастья не станем... Ну, так готовься к воскресенью-то.

С тем и отбыла.

А Катерина ещё долго не могла сдвинуться с места. Опомнившись, рванула в Лисий ложок огорошить мужа, отправившегося спозаранку на косовицу. За неблизкий путь успела и погрозиться: пускай, мол, только явится гулёна! И напричиталась вдоволь, а уж когда до своей делянки добралась, весь пыл сошёл.

– Радость-то какая, Вася! Машенька с Лексеем Силиным поладили. Шура намекнула: на Петровки сватов, мол, дожидайтесь! – И, не давая опомниться Василию, заключила: – Ну и ладно... Ну и хорошо... Парень-то он знатный. Дай-то Бог!

А Тихоновна в это время потчевала будущую невестку пирогами со щавелем. Алёшка понимал: коли мамка пироги затеяла, значит, в духе (к тесту без настроения не притрагивается), а значит, всё у них с Машей будет хорошо: и отец перестанет серчать «за скороспелость решения», и предстоящее сватовство как по маслу пройдёт, и если подсуется, глядишь, до Успенского поста со свадьбой управятся. И заживут они с Мальвой!..

И зажили б... Если бы аккурат после уборочной на вспашке зяби в Кривой Балке не напоролся бы Алёшка Силин на столько лет ожидавшийся своего часу противотанковый снаряд...

Но Господь не оставил молодую вдову без милости, обласкал, и, на Алексея Вешнего Мальва благополучно разрешилась сыном Лёшенькой – кровинка к кровинке в папку.

...Светало. Бабка Мальва, так и не сомкнувшая за ночь глаз, раздёрнула кухонные занавески. Вдоль улицы, со стороны Потаповского двора, шли припозднившиеся пары. Свадьба только-только начала затихать.

Иван ПЕЧАВИН

Иван Петрович Печавин родился в 1942 году в г. Баку. В 1957 году переехал в Саратовскую область, в п. Степное. Окончил Балашовский педагогический институт, работал учителем русского языка и литературы. Публиковался в журналах «Волга», «Волга–XXI век», «Аврора», «Нева». Автор двух сборников стихов. Живёт в с. Любимово (Саратовская область).

ЯБЛОКОПАД

А ну, давай, Егорыч, трогай,
Прохладой утра дорожа.
Хоть у кобылки норы кроткий,
Да больно грива хороша.

Светло. Ни дыма и ни пыли,
Ячменный запах от полей,
Пока молчат автомобили
В бетонных стойлах гаражей.

А нас ни шатко и ни валко
Под скрип окованных колёс
По косограм и по балкам
Свезёт лошадка на покос.

И кровь кипит, дымится в теле,
Как ты судьбу ни вороши.
А то, что нервы на пределе,
Так это происки души.

Стекала в гущу трав листва,
Как дождь с плаща на пол стекает.
Стекали с губ моих слова,
И в этом я ничуть не каюсь.

Какие города в селе
Я рисовал своей девчонке!
Мы плавали на плоскодонке,
А думали – на корабле.

Она счастливою была.
Она покуда не рожала.
Она как веточка дрожала,
Когда заря в реке цвела.

Размыт косым дождём рассвет.
Листва замаялась в чечётке.
«Ау!» – кричу я той девчонке,
И плачет женщина в ответ.

В. Т.

Ну вот и нагринула осень.
Ну вот и пропали цветы.
И глаз твоих ясная просинь
Достигла своей высоты.

Достигла. Дошла до предела,
К былому спалила мосты.
Ну вот и нагринула зрелость.
Довольна ли, милая, ты?

СНЕГ

Я иду. Снег хлопьями летит,
Кружится в неоновых лучах,
И ложится на моём пути,
И искрится на моих плечах.

Я иду. Куда? Не знаю сам.
По чужим следам – как по меже,
Чтобы стало радостно глазам,
Чтобы стало весело душе.

Чтоб не думать, в иней облачась,
Про печали горькие свои,
Кто тебя целует в этот час
И одежды трогает твои?

Я уже почти что отболел,
Впору рассмеяться и запеть.
Я под этим снегом побелел
Так, что дальше некуда белеть.

ЯБЛОКОПАД

И. Шутьину

Может, это начало распада,
Если августовский яблокопад
Слёзы льёт, как забитая правда.
Сторож внемлет и бдит, как солдат.

Он, служилый, уже не в ответе
За деянья родной стороны,
За отпетые яблоки эти,
За свои непутёвые сны.

Может, с умыслом, может, случайно
Облетит этот яблочный пост,
Так же, как по России отчаянно
Чьи-то судьбы летят под откос.

Помолюсь направо
Я за мать родную.
Помолюсь налево
Я за жизнь иную.

И пойду просёлком
По большому кругу.
Может, ненароком
Повстречаю друга.

Сядем с ним в сторонке
На лужке-дорожке.
Пусть остынут ноги,
Как грибы в лукошке.

Пусть кружат и блещут
Мошки и стрекозы,
Хороводы водят
Белые берёзы.

Пусть свистят синицы,
Мельтеша крылами.
Пусть гуляет ветер
Высоко над нами.

Мы припомним юность,
Что ушла далече.
Станут думы чище,
Станет сердцу легче.

Нелли КРЕМЕНСКАЯ

Нелли Фёдоровна Кременская родилась в 1939 году. Окончила филологический факультет СГУ им. Н. Г. Чернышевского. Работала учителем, журналистом, социологом, художником. Пишет прозу. Автор двух книг. В 2005 году стала лауреатом журнала «Волга–XXI век».

Рисовала всю жизнь. С 1974 года занимается резьбой по дереву. Лауреат и дипломант многих городских, областных, республиканских и федеральных выставок. Работы Н. Ф. Кременской находятся в Саратовском художественном музее им. А. Н. Радищева, в Саратовском краеведческом музее, в частных коллекциях России и некоторых стран мира.

ЖИЗНЬ-ЖЕСТЯНКА**НЕУДАЧНЫЕ ЗРИТЕЛИ**

Тётя Маруся, подперев щёку кулаком, сидела напротив нас и с удовольствием наблюдала, как мы уминали её фирменный пирог. Она с семьёй жила тогда у самой Волги, в тесном подвале одноэтажного кривого дома с маленькими тусклыми окошками, вырастающими прямо из земли. Непонятно, как там помещались двое взрослых, двое детей и в придачу – головастый кот, в свирепых боях за выживание один глаз которого непроизвольно подмигивал, отчего его рожа приобретала интимный и совершенно фамиллярный вид. Почти всё пространство занимала огромная русская печь, в которую тётя Маруся и вставляла самодельный железный противень величиной с кровать.

Так вот, ничего вкуснее её пирога с налимом и с капустой я в жизни своей не ела. Не пирог – поэзия. Из русской печи! Толстые подрумяненные корочки, пропитанные маслом, и ещё толще между ними капустно-луковая начинка с большими и частыми кусочками рыбы и икры – так и тает во рту. Впрочем, в рот ещё надо было ухитриться запихать высоченный кус. Бывало, прижмёшь корочки пальцами, пирог душистую слезу пустит, набьёшь полный рот и от удовольствия глаза закроешь, чтоб, значит, ничто наслаждению не мешало.

Впрочем, о пироге – это так, к слову. Главное здесь – тётя Маруся.

Образования у неё – четыре класса. Поэтому работала матросом на рыболовном баркасе, дворником, уборщицей (мыла общественные туалеты во дворах, лестницы в домах). А потом вообще устроилась в приличное заведение: не поверите – в цирк! Ну, не гимнасткой. Нет! И не фокусницей. Этому ж сколько учиться надо?! А лет ей уже немало было... Гардеробщицей! Вот! Самое то...

Надо сказать, и о тётке Марусе здесь тоже к слову. Главное – цирк. Так вот, наблюдая, как мы балдели от её пирога, она положила кусочек рыбы перед котом, с тревожной надеждой, как маяк, уже давно по-свойски нагло мигавшим ей подбитым глазом, смахнула крошки со стола и между делом проговорила:

– Енгибаров приехал. Клоун который. – И, горестно вздохнув, осуждающе сверкнула металлическими коронками: – Пьёт, стервец, не просыхая!..

У нас уши торчком встали. Енгибаров! Леонид! Как ручей, текущий и звонкий в своём творчестве, пластичный, как горячий воск, безбрежно широкий в своих бесконечных талантах.

Понятно, что и цирк здесь ни при чём. А всё дело в Енгибарове.

Мы, разумеется, сразу помчались на его представление. Даже от контрамарок отказались: были аншлаги, стоять два с лишним часа не хотелось. Зато тётя Маруся достала нам билеты с самыми лучшими местами. Арена была как на ладони, и все артисты демонстрировали нам не затылки, а лица, у кого какие были.

Гимнасты, дрессировщики, жонглёры, наездники, эксцентрики, фанфары, софиты, плюмажи, шлейфы, переливающееся стекло – вечный праздник цирка, его молодость, сила, ловкость и красота – всё это подхватывало, кружило, увлекало и пьянило. Всё это было прекрасно. Всё! Кроме...

Енгибаров мелькал между номерами вялый, расслабленно-вихлястый, в своих коротких выступлениях оскорбительно небрежный. Во всяком случае, так нам с Людой (моей подружкой) показалось.

«В деревню! К тётке! В глушь! В Саратов!» – ещё в девятнадцатом веке кричал гениальный поэт устами своего героя. Столько лет прошло, а прикипело это к нам... Провинция... Чуть ли не окраина России... Подумаешь!.. Можно особенно не напрягаться...

Задело нас это.

Может, нас разъедал комплекс провинциалов? А может, клоун разогревался? Ведь ещё не кончилось первое отделение. Всё впереди. Но мы не могли ждать.

В антракте раздобыли у соседей шариковую ручку и на обратной стороне сдвоенных билетов (другой бумаги не нашлось) обо всём, что думали о выступлении, написали Енгибарову. Мы не ставили задачу обидеть артиста. Мы знали его возможности. И очень ценили их. Мы ведь пришли в цирк «на Енгибарова». И вынести разочарования не могли.

Наше послание тётя Маруся отдала ему в этот же антракт.

Третий звонок. Зрительская волна всё меньше плещется по переходам, забрасывается на ярусы и, постепенно затихая, успокаивается, как вода в шлюзах.

И снова – блеск, фанфары, красота, переливчатое сияние цирковых талантов. Мы не надеялись на реакцию клоуна. Однако ждали его с нетерпением.

...Он искал нас. По билетам. В свой первый же выход молча шарил глазами по рядам. Не нашёл. Стал жонглировать зонтами. Легко, грациозно, красиво. Словно проснулся. Никакого напряжения и ленивой вялости. Потом, лёжа на арене, всем телом стал прыгать через маленькую верёвочную скакалку. Лёжа! Бросил верёвку и, гибко извиваясь как змей, спиной пополз по ковру. Трибуны взвыли от восторга. И – коронный номер: вешает на трость жилет, шарф и котелок, ставит трость на лоб, молниеносным движением выбивает палку, и вот уже котелок – на голове, жилет – на плечах, шарф – на шее, а трость – в руке. Трибуны ревели. Зрители словно сошли с ума, и купол цирка готов был рухнуть от яростного обвала аплодисментов, голосов, громовой музыки.

И только мы сидели молча, не шевелясь, одинаково опираясь на правый подлокотник, одинаково приложив указательный палец к щеке. То, что он вытворял, был высший класс. Но нам этого было мало. Мы это уже видели. Давно. В кино с его участием, на его живых выступлениях и в телеокошке. Мы жаждали новенького. И категоричность молодости не позволяла нам влиться в этот общий безумный поток.

Вдруг он увидел нас. Как одинокую лодку на горизонте бушующего моря, как баобаб на грозном краю саванны, как муравьёв на гремящих от ветра листьях огромного кукурузного стебля.

И тут же передразнил. На мгновение он приложил указательный палец к щеке и через арену, через сотни голов, через грохот музыки и голосов вонзил этот палец в нас.

«А-а-х!» – выдохнули трибуны, и весь цирк устремился взглядом вслед этому пальцу. Он словно раздел нас. Он будто увеличительное стекло поднёс к букашкам и сказал: «Смотрите, какие смешные. Разве возможно, чтоб кому-то я не понравился?!»

Слава Богу, никто ничего не понял. Люди вертели головами, спрашивали друг у друга, что случилось, куда он показывает и почему. И только наши лица полыхали огнём.

Что было дальше? А дальше он низверг нас с высоты амфитеатра и грохнул прямо о землю. Нет, не в прямом смысле. Напрямую к нам он больше не обращался. Он понял наше смятение и, как средневековый рыцарь, тут же простил нам нашу гордыню, девчачью спесь и фальшивый зрительский гонор. Зато заставил публику выть в экстазе, втащил её в зыбкий и волшебный мир пластики, юмора, фантастической техники

управления телом. Он жонглировал, показывал пантомиму, завязывался в акробатических узлах, гениально пародировал. Он извивался, куролесил, чудил. Всё это подавал элегантно, виртуозно, с большим запасом неисчерпаемых возможностей. И всё же поглядывал в нашу сторону. Как бы сверялся: ну как, нравится?

Он стоял на одной руке.

Подумаешь, фокус!

Многие стоят.

Но ноги не сверху торчали, а сбоку, на уровне плеч. И непонятно было, как равновесие-то сохранял.

Голова его влезала в пасть воображаемого льва. И тебя дрожь пробирала, что сейчас сомкнутся страшные клыки на астенической шее и голова эта навсегда провалится в бездонный желудок кровожадного чудовища или просто покатится по арене.

Он через макушку бесконечно перекачивался по ковру, но не согнувшись колесом, как все мы делаем это, а почти прямым телом. Как доска падает, кувыркается сначала на один конец, а потом – на другой. И ты уже не разбираешь, на чём он стоит – на ногах или на голове. Только в глубине сознания пульсирует мысль, как, наверное, непросто с размаху шлёпаться спиной или животом хоть и на покрытые ковром, но всё же жёсткие опилки.

Сказать, что зрителям нравилось его выступление, – это ничего не сказать. Они не отпускали его. Они неистовствовали. Выжимали из него жизнь. И он без труда, легко и великодушно отдавал им эту жизнь.

Он затмил всех артистов. Его уже утаскивали с арены. В каком-то бесшабашном раже он не уходил. И на всём его облике, даже на самых смешных и стремительных номерах лежала горькая печать неизбежной грусти. Что-то губительно-щемящее было в выступлении безмолвного клоуна. Как у Чаплина. Искусство их трогало какие-то чувствительные струны внутри каждого человека, создавало лёгкую и сладкую мелодию печали.

А публика, жадная до зрелищ, капризная в своём выборе, снисходительная к слабостям своих кумиров, всё плескала и плескала, отбивая ладони, бездумно не желая расставаться с ним...

Как-то в разговоре с Еленой Камбуровой, сознавая могучую силу своего таланта, он, вроде бы шутя, произнёс: «Я выступаю всегда удачно. Бывает неудачный зритель». И спорить с этим невозможно. И мы – яркий пример этого неудачного зрителя...

Он погиб в роковые тридцать семь лет. От шампанского, которым запил сердечную боль в груди...

ПЕРЕЛОМ

На тормоза никто не нажимал. Скользя по асфальту, не визжали колёса. Автобус не торопясь уже причалил к остановке. Но шофёр с такой силой стукнул кулаком по сигналу, что от дикого вопля Лидия Сергеевна, с клюшкой в руке метра за три переходящая дорогу перед рылом машины, метнулась в сторону и схватилась за сердце. Судорожно глотая воздух открытым ртом, она ещё в шоке стояла на тротуаре, когда распахнулась дверь автобуса, вываливая людей из своего душного нутра. Все, кто приготовился выходить на этой остановке, через огромное лобовое стекло видели, как безумно напугал шофёр пожилого человека, как в нервном припадке старуха шарахнулась от автобуса на тротуар.

И всем было смешно. Как в средневековье, когда человека на кол сажали и от невыносимой боли он откусывал себе язык. А толпа смеялась. И не расходилась, дожидаясь предсмертного трепетания.

Первой прыгнула с подножки передней двери женщина, которой самой уже перевалило за шестьдесят. На лице её цвело нескрываемое удовольствие от увиденного.

И это почему-то задело Лидию Сергеевну. Тем более что сочувствия и понимания возрастных проблем следовало ожидать как раз от пожилого человека.

– А действительно, весело-то как! – задыхаясь, проговорила она и сделала несколько шагов к середине автобуса. Дверь здесь пока была закрыта, чтобы пассажиры не выскочили, не заплатив.

– Нечего ходить в неполюженном месте! – остановившись, неожиданно грубо ответила женщина.

Видимо, дошло до неё, что насмерть перепуганная старуха – неподходящий объект для веселья. Но признаться в этом (даже себе) она не смогла. И, желая как-то оправдаться перед собой, стала громко поучать:

– Автобус надо обходить сзади, а не спереди. Да и вообще, переход вон там, на углу.

Лидия Сергеевна могла бы ей объяснить, что лишний шаг для неё – большая проблема, что угрозы ни для пешеходов, ни для транспорта от неё – никакой, что, скорее всего, у шофёра – плохое настроение или голова с похмелья болит, а может, просто от скуки захотелось себя и пассажиров повеселить, но... сердце всё ещё билось в горле, в глазах танцевала всё ещё закрытая дверь автобуса, а слабость в ногах не только не проходила, а, пожалуй что, увеличивалась. К тому же она понимала: ответь она – и завяжется липкая, никому не нужная перепалка, в которой победителем будет не тот, кто прав, а тот, кто громче, наглее и кто находит развлечение, удовольствие в пустой трёпке нервов. И она молчала, разглядывая себя в тёмном сияющем боку большой машины. Но женщина не отставала и продолжала бухать тяжёлыми словами:

– Дожили до старости, а ума не набрали. Своей жизнью не дорожите, так хоть чужие поберегли бы. Из-за таких, как вы, водителей в тюрьму сажают.

– Вы же знаете, что я ни при чём, – не выдержала Лидия Сергеевна. И негромко посоветовала: – Шли бы вы своей дорогой.

Последняя фраза словно открыла какой-то шлюз, который до сих пор, хоть и не очень, но как-то сдерживал эмоции пассажирки. И она даже не крикнула, а прошипела вслед:

– Сама пойдёшь скоро... Туда... Откуда не возвращаются.

Подстреленная злыми, беспощадными словами, с застывшим от обиды лицом, Лидия Сергеевна с трудом ступила на подножку автобуса, наконец-то распахнувшего перед нею дверь. И сразу поняла: все в салоне большой переполненной машины были в курсе событий на остановке. Страшный вой гудка внёс разнообразие в душную унылость ожидания. И люди проснулись, развеселились. Хотя при виде полумёртвой жертвы и старались прятать улыбки. Шофёр же через громкую связь решил «вбить последний гвоздь» в еле живую старуху:

– Нашла где дорогу переходить! Учишь-учишь вас – толку никакого!

«Преступница» молчала. Она боялась упасть. И даже если бы захотела что-либо сказать – не было сил.

Она упасть боялась.

А сесть было некуда.

Взгляд её несколько мгновений беспомощно плавал по лицам пассажиров и вдруг неосознанно зацепился за что-то. Это были тревожные, готовые к слезам глаза совсем ещё юной девушки, лет шестнадцати, сидящей у окна и взволнованно наблюдавшей всю сцену. Она была довольно далеко, но тем не менее, поднимаясь, красноречивым приглашающим жестом махнула рукой женщине.

И вдруг с людьми в салоне что-то произошло. Словно искра пробежала, обновляя и омывая человеческие души. Что-то надломилось. И сила тяжести переместилась совсем в другую, неожиданную сторону. Куда-то делись насмешка, бездумное желание посмеяться над кем угодно и над чем угодно. Они участливо расступились, пропуская вперёд Лидию Сергеевну. Кто-то поддержал её, когда автобус мотнуло. Пока она ковыляла мимо, несколько человек приподнялись, предлагая ей своё место. Но... бормоча благодарности, она шла вперёд. К девочке...

БАНДИТ

Это было время, когда во дворах больших городов водились куры, овцы, а на окраинах – даже коровы.

Он был могуч, силен и беспощадно раскован. На широкой пушистой ряхе красовались ленивые полуприкрытые глаза, которые только в минуты опасности, как у ястреба, становились круглыми и напряжённо-вытаращенными. Роскошный хвост – если бы вынуть из него все репы да расчесать – мог бы украсить любого домашнего баловня.

Почему-то он душил цыплят. Может, поэтому никто не называл его благородным именем Василий. Кличка Бандит прикипела к нему намертво и навсегда. Рваная нижняя губа чуть оттягивала рот вниз и набок, и оттого на морде его застыло презрительно-высокомерное выражение, как у заправского английского лорда или прожжённого рецидивиста, попирающего все нормы законности и правопорядка.

Из ямы, прикрытой двухкамерным деревянным сооружением, через весь двор сочился бледно-жёлтый пахучий ручеек (канализация в те времена была желанным, но далеко не для всех доступным явлением). Когда он, брезгливо обходя этот ручеек, крадучись вышагивал по двору, вся живность разбегалась кто куда.

Он истребил всех мышей в округе. Крысы по своим информационным каналам уже давно сообщили друг другу, как опасно совать свой нос в эти места. Собаки делали равнодушный вид, торопливо пробегая мимо ворот одно- или двухэтажных старых, ещё дореволюционных домов. Коты давно и жестоко были изгнаны с его территории. И только к маленькой трёхцветной кошечке, несмотря на её бездомность и беспородность, он испытывал снисходительные мужские чувства. Но и наказывал за легкомысленную женскую строптивость.

И тем не менее главная страсть была – цыплята. Когда их выпускали из сарая, вначале он вроде бы ничего не замечал. Отворачивался. Знал, что попадёт. Но безмозглый жёлтый шарик бесстрашно подкатывался к нему, да ещё начинал о чём-то ябедничать. Ну как тут удержишься?! Пружинистая когтистая лапа охотника нечаянно взлетала, и... пищать уже было некому.

Боже! Что тут начиналось! Хозяйки, размахивая руками, кричали друг на друга. Мальчишки с воплями гонялись за Бандитом, который хищно метался от них по двору. Куры, истошно закатываясь в истериках, хлопали крыльями, поднимая дворовую пыль. Единственный в округе красавец-козёл, с бородой роскошной, как у академика Курчатова, под шумок начинал торопливо объедать и без того хилую цветущую клумбу, подходить к которой ему категорически запрещалось. А из оставленного без присмотра загона пулей вылетала свинья, с радостным визгом делала несколько кругов вокруг клумбы с козлом и пристраивалась к вечно переполненной помойке, развалившейся рядом с интимным двухкамерным сооружением. Наконец Бандит вспрыгивал на дерево, оттуда по веткам – на крышу дома, с размаху кидал живот на нагретое солнцем железо и так, с комфортом, как испанский гранд с безопасной высоты своего замка, невозмутимо и отстранённо поглядывал на переполох во дворе.

Кличку свою он получил не только за цыплят. Все молочные, мясные и рыбные запасы люди в то время вывешивали в сетках через форточку за окно (раньше холодильников-то не было, и только подвалы или ночная прохлада улицы в какой-то степени помогали сохранять продукты). И если Бандит чуял запах рыбы или колбасы (а тогда она делалась из настоящего мяса), преград для него не существовало. Он взбирался на любое окно, раздирал любую упаковку и... Хозяева долго не могли успокоиться, обнаружив пропажу. Однажды жители видели, как во все лопатки он удирал с зажатой в зубах сосиской, а за ним пунктирным канатом вился по дворовому пахучему ручейку целый километр этих сосисок. Ну, почти целый. А так как этот километр стоил больших денег, которых в общем-то ни у кого и не было, то зрелище

вызвало нездоровый интерес к его владельцу. И, надо думать, нашёлся кто-то, кто стукнул об этом в соответствующие органы.

Поэтому особой любви к себе Бандит не имел. В руки не давался никому. Знал, что ничего хорошего ему от людей не светит.

Все жильцы маленького городского пятачка мечтали избавиться от зловредного кота. Достал он их. Но убить... Рука ни у кого не поднималась. Тварь живая, божье дыхание. Как это можно – убить?! Да и хорош он был, поганец! А котята, которых приносила его трёхцветная любовь, так и вообще – загляденье.

Наконец после очередного разбоя дворовое собрание постановило: отправить его на Зелёный остров. В то время там не было дач, огородов, да и лодок, кроме как у рыбаков, тоже не было. Летом не пропадёт: птиц там полно, мышки разные. Может, и рыбу в Волге начнёт ловить. С него станется. Он способный. Зимой? Зимой... А зимой по льду перейдёт в город. В подвалах около тёплых труб согреется. Опять же мышки, голуби, воробьи. Да и по форточкам пусть промышляет. Но не у нас...

Отправили. Из-за бешеного темперамента – в туго завязанном мешке. Чтоб не фордыбачил. За его поимку фотки пацанов запросто можно было на Доску почёта вешать. Такой это был опасный, ювелирный и даже умственный труд...

И тут выяснилось, что продукты продолжают пропадать. Причём вместе с упаковкой. И почему-то гибнут уже не цыплята, а куры. И не просто гибнут – навсегда исчезают со двора. Наконец-то догадались, что укота был подельник. И правда, вскоре нарисовался тихий улыбчивый пьяница Егор, на которого никто и подумать не мог: когда выпьет – спать ложится. Неважно где и с кем: дома, на улице, в гостях... Вот чертяка: раздобыл где-то длинный шест с раздвоенным концом и ночами снимал с оконных гвоздей добычу. А кур менял на самогон. Попался из-за того, что по пьянке не знал, что его «напарника» на перевоспитание увезли. Да и почерк был несколько иной.

Ей-богу, чуть не убили алкаша! Хорошо «внушили». Это зверь не ведаёт, что творит. А ты, сволочь, зачем у своих воруюешь?

С исчезновением Бандита по двору сразу же забегали грызуны, бродячие собаки, чужие коты. Житья не стало от этой напасти. Хозяйки пригорюнились.

...С Зелёного острова, как ни в чём не бывало, он явился через месяц. На чужой лодке переплыл, наверное. Но вот как разыскал в огромном городе родимый двор, остаётся загадкой. Мальчишки встретили его ликованием. Они только что собрались в глухом переулке идти стенка на стенку. И тут кто-то увидел Бандита. Восторгу их не было конца. Битва была отложена, а всё войско торжественно и дружно со свистом провожало кота, пока он в страшном смятении от такого внимания не метнулся в свой двор.

А хозяйки... А что хозяйки? Они вздохнули и горестно, и облегчённо. Слов нет, котяра – жулик и хулиган. Но при нём-то хоть крысы не нагтели.

А как же цыплята? Они подросли. Он потерял к ним интерес. А может, в памяти Зелёный остров всплывал.

Продукты стали подвешивать за окна в кастрюлях с огромными булыжниками на крышках. Улыбчивый Егор тоже побаивался очередного «внушения» и уже не трогал их.

Мир и согласие воцарились в маленькой городской трущобе. Надолго?! Вряд ли. Проблемы здесь менялись, но не иссякали.

ТЕЛЕФОН

Всё началось с автошаржа: нос – крохотная пуговка, волосы – прямые пики, огромные очки, сквозь них – глазки-буравчики, и, наконец, непомерно толстые ухмыляющиеся губы. Зрители посмеивались, сравнивая шарж с оригиналом. Друзья ругали, зачем я так изувечила себя, говорили, что каждая деталь шаржа совершенно

не моя, но в целом признавали, что на рисунке – мой портрет. Я же объясняла, что всю жизнь делала шаржи на других, пора и над собой посмеяться.

Тигран Георгиевич, открывая выставку, так и впился глазами в этот шарж. И потом, не раз вышагивая по длинному полутёмному залу, нет-нет да и стрельнёт по нему жадным взором. Наконец открытым текстом заявил, что я прямо-таки обязана сделать шарж на него.

Тигран Георгиевич Колесник – это наш Райкин. Сама личность его примечательна: маленький, необычайно толстый, с седой пышной шевелюрой, он является неперенным участником всех значительных городских событий: праздников, юбилеев, открытий новых предприятий, художественных выставок. Он – клоун, весельчак, балагур, Петрушка. Анекдоты, байки, сценки из театральной жизни, где главным героем является, разумеется, он сам, преподносит весело, красиво, часто бесстыдно. Несмотря на неказистую внешность, в нём угадываются удивительное обаяние, какая-то столичная широта кругозора, способность чувствовать настроение аудитории.

Ещё одна особенность Колесника в том, что до самозабвения он любит изобразительное искусство. И понимает не головой, а первородно, изначально, сердцем, всем нутром своим.

С юности он стал собирать коллекцию живописи. Как эстрадный актёр, он много ездил по стране, заводил знакомства с разными людьми. Начинаящие художники почитали за честь дарить ему лучшие свои работы. Потом они матерели, обрастали должностями и званиями, получали известность. И в руках у Колесника оказались уникальные произведения лучших мастеров.

Сейчас в разных концах города он открывает выставки то азербайджанского искусства, то – «Искусство портрета», то – «Художники улыбаются», то – «Старый Саратов в изображении художников». Попасть в его коллекцию – большая честь. Самодеятельные или профессиональные полотна – для него не важно. Было бы качество. И тем и другим он одинаково не платит. Просто, как и прежде, уговаривает подарить. Обещает показывать на престижных выставках.

Вот и меня уговорил сделать на него шарж. Минут пять демонстрировал мне своё смеющееся лицо. Попробуйте посмеяться без перерыва хотя бы минуту. Пытка. А на следующий день память, отбросив всё лишнее, озорно подала его черты в сильно преувеличенном виде: вросшая в плечи голова с шутовским коком на лбу, прищуренные глазки и растянутый в Фернанделевской улыбке рот с огромными лошадиными зубами. Он онемел, когда увидел себя в шарже. За спиной перешёптывались, хихикали, подталкивали друг друга. Но он молчал. Видно, надеялся, что не похож. Трудней всего смеяться над собой. Так же молча и забрал акварель. Не знаю, кому он её показывал, что ему говорили. Но вскоре довольно настойчиво стал намекать, что нужен не только «фас», но и профиль. За профиль я уже содрала с него коробку шоколадных конфет.

Вскоре была его юбилейная выставка в филармонии, куда, разумеется, меня и не пригласили, но по телевизору, говорят, крупным планом два раза показывали именно мои шаржи.

Прошло какое-то время. Звонит однажды мой старенький телефонный аппарат, вдрызг разбитый и расклеенный, который я миллион раз чинила (а так как чинила его сама, то он постоянно ломался). Нет, я не кидала его ни в родных, ни в друзей. Просто ему уже более тридцати лет, и в пылу разговора я стаскивала оттянутый шнур с полки, и не раз он брякался об пол. Ведь в то время ни мобильных, ни радиотелефонов у нас не было и в помине.

Голос Колесника:

– Наталия Ивановна, я вам нашёл заказчика. Не могли бы вы сделать шарж по фотографии?

Вот это номер! Как можно рисовать шарж, не видя человека, не зная, как он смеётся, сердится, горюет, не зная, есть ли у него хохол на макушке, какое плечо выше или ниже,

как он ходит, ест, разговаривает? Да и вообще – злой он или добрый, дурак или умный. Ведь шарж – это преувеличение самой характерной, самой важной черты человека. Это – квинтэссенция его сущности. А что может дать фотография? Но деньги так нужны...

Заказчик – Инна Романовна Булкина, в недалёком прошлом – телефонная королева. В её руках была вся телефонная сеть города. Сколько шекспировских сцен разыгрывалось в её кабинете! Какие люди сидели в приёмной! Сколько разбитых надежд, сколько счастливых судеб рождалось только от росчерка её пера! Ведь в то время иметь телефон в квартире значило не просто иметь необходимое удобство, но и быть причисленным к городской элите. Маломощная телефонная станция имела ограниченное количество номеров. Говорили, что бриллианты Булкина считает стаканами.

– Сами понимаете, она теперь пенсионерка. Рублей пятьсот-семьсот устроит? – заканчивает разговор Колесник.

– Устроит. Семьсот, – ставлю я твёрдую точку.

Вообще-то заказы я не беру. Те усилия, которые приходится тратить на их выполнение, как правило, не окупаются. Да и нервы у меня слабые, чтобы уговаривать ни бельмеса не понимающего заказчика, что вещь, которую я сделала, лучше, чем то, что он хочет. И с души воротит подлаживаться под его вкусы. Но почти половина моей пенсии идёт на оплату квартиры и телефона. Остальное трачу в первые три дня. Оставляю заначку на хлеб и почти целый месяц нос не кажу в магазины. И на замену разгромленного телефонного аппарата годами нечего было выделить. А тут с неба сваливаются деньги, и не воспользоваться ими – преступление. Словом, бес попутал – согласилась.

Шарж я сделала за один день. Ну, второй – подрисовывала. А вот сбить дубовую рамку и подогнать её к стеклу – это целая проблема. Попробуйте без специальных приспособлений, вручную, до миллиметра точно сделать стыки вертикальных и горизонтальных планок! Проще вырезать какое-либо изделие из дерева. Рамка или табуретка у меня обязательно будут перекошенными, а в пазы будет палец влезать. Намучилась – страсть. Делала-перделывала. Клеила-переклеивала. От усердия даже одежда била током. Недельку пыхла над оформлением. И всё же добилась своего: изображение, паспарту, рамка – всё на уровне. Во всяком случае, так мне казалось.

Приходил Колесник. Некрасивый, но импозантный, в элегантной вязаной кепке, продуманно-небрежно сидящей на голове, и необъятном плаще. Увидел шарж и произнёс:

– Если не возьмёт Булкина, вы мне его подарите. Я сам вручу.

– Подарю, – ответила я. И нахально закончила: – За семьсот рублей.

На следующий день снова звонок. Сквозь помехи, шум и постоянные обрывы до меня донёсся любезный голос светской дамы:

– Наталья Ивановна? Это Булкина. Вы не будете против, если я к вам сейчас подъеду?

– Ну, разумеется, не буду. Я вас жду.

Свою квартиру-мастерскую пытаюсь окинуть взглядом постороннего. Выщербленные полы, выгоревшие занавески, запылённые стены... Да уж! Не дворец! Зато везде у меня – резьба по дереву, свои и чужие картины.

Звонок в дверь. Открываю. Стоит парень. На разведку, видно, пришёл.

– Наталья Ивановна? Сейчас к вам Инна Романовна подойдёт.

Ба! Всплывает Блок: «Лакеи сонные торчат...» Минут через пять ко мне по лестнице поднимается пожилая дама, в длинном тёмно-синем пальто и такой же шляпе с прямыми полями, грузная, нездоровая, но все ещё привлекательная. В прихожей она с трудом отдыхивается, не раздеваясь, шагает в комнату, и взгляд её упирается в порт-рет. Ноги её подкашиваются. В бессилии она опускается на диван.

– Это... Ужасно... – запинаясь, упавшим голосом произносит она.

Я застываю в столбняке и глупо спрашиваю:

– Почему?

Объяснить она не может и только снова повторяет в отчаянье:

– Это ужасно...

Она поднимает взор на мамин портрет, который я написала лет в восемнадцать:

– Вот, я понимаю, живопись. А это что?..

Ни черта ты не понимаешь. Но всё же терпеливо объясняю:

– А это шарж.

В ней – ни капли юмора. Но её отчаянье искренне, и я не знаю, чем её утешить.

Она:

– Мне жаль ваш труд.

Спасибо и на этом.

Я:

– Мне тоже.

Она:

– Что делать? Что же делать?

А правда, что делать? Мысленно я уже прощаюсь с новым телефоном. Да, наконец, и чёрт с ним! Я подхожу к ней и неожиданно обнимаю. На секунду она доверчиво, совсем по-детски прижимается ко мне. Потом спохватывается:

– Но я хотела этот портрет вручить Адику на юбилее, а теперь надо искать другой подарок.

Она всё же кладёт деньги на стол и собирается уходить.

– Вы портрет забыли.

– Нет. Я его ни за что не возьму.

– Да я вас тогда и не выпущу, – неудачно пытаюсь острить и вижу, как она испуганно вздрагивает: кто их знает, этих художников, на что они способны. Может, квартира эта – бандитская малина, а из неё сейчас начнут вытряхивать бриллианты. Ведь охранник далеко – в машине на улице.

– Ни за что не возьму, – полуобморочно повторяет она.

– Тогда забирайте деньги, – с сожалением, но очень настойчиво говорю я и вижу, как испуг отпускает её.

Тут происходит забавная сцена: мы перекаладываем деньги из рук в руки, – которая кончается тем, что большую часть она оставляет всё-таки мне, а меньшую я впикиваю ей в карман пальто. Это решение в какой-то мере устраивает нас обеих, ибо я знаю, что от Колесника не получу ни полушки, а они уж пусть сами разбираются между собой, и она выплывает из моей квартиры.

Кидаюсь звонить Колеснику. Он обещает забрать шарж и вручить его сам. А я хватаю деньги и, пока не промотала их, бегу покупать телефонный аппарат.

В магазин вхожу с чувством жены Онассиса, приобретающей в лазурных водах Тихого океана пальмовый остров со средневековым замком. Вальяжно вышагиваю мимо сверкающих витрин. Сегодня я не зритель. Сегодня я покупатель. И где тут электронная техника?! Боже, какая пластика, какие цвета! Тут же взгляд спотыкается о цены: тысяча рублей, две тысячи, три тысячи... Ой-ой-ой! Телефон с автоответчиком! С записной книжкой! С громкоговорителем! Ни к чему нам эти изыски! Неужели для меня ничего не найдётся? Фу! Наконец-то: маленький, скромный, но ужасно милый, южнокорейский, со светящимся циферблатом.

Думаю, гоголевский Акакий Акакиевич так не гордился своей новой шинелью, Эллочка-людоедка так не радовалась золотому Остапову ситечку, как ликовала я, прижимая к груди коробку с маленьким южнокорейским телефоном.

ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА

Он сделал вид, что узнал меня сразу. Опытный взгляд вонзился в опухоль под ухом. Торопливо забормотал:

– Я говорил вам, что давно надо было её убрать. Я говорил.

Не говорил. Два года назад вырезал родинку рядом с опухолью, но сделал вид, что её не было.

Очень по-свойски цепкой рукой хирурга схватил за плечо и впихнул меня в комнату с табличкой на двери: «Предварительный осмотр». Как бы нечаянно два раза клацнул ключом в замочной скважине.

Я что-то лепетала по поводу прошлой операции. Он не слушал. Сел напротив и решил не размазывать манную кашу по тарелке:

– Сколько вы отблагодарите меня?

Так и сказал. Не очень-то по-русски. Можно было бы: «Во сколько вы оцените мой труд?», «Сколько я получу от вас за свою работу?», «Сколько денег дадите за операцию?» Вариантов – море.

Но я поняла его. И опешила. Ещё ни коня ни воза, а уже – благодари. По глупости я считала, что жизнь человека, его здоровье... Что может быть важнее на Земле?! Тем более для врача. Именно поэтому ты выбрал свою профессию.

Поэтому?!

А золото, алмазы, резаная бумага под названием «деньги» – это символы, придуманные самим человеком и вознесённые им до тех высот, где ему, человеку, уже и места нет.

Мои проблемы его не интересовали.

Он ждал.

Онемев, я вперилась в него взглядом. Он опустил голову.

– А-а сколько н-надо?

Заикой становлюсь.

Внутри всё сжалось: сейчас бабахнет цифрой по башке, как деревянной битой, и мозги мои поплывут по стене, окрашенной в свежий нежно-зелёный цвет.

Не бабахнул. Но и не смутился. Освободил простор для моей фантазии. Голову не поднял, но буркнул в пазуху своего такого же нежно-зелёного, как стены, костюма:

– Ну, это же благодарность... Кто сколько может...

Я расслабилась.

А зря.

– В соседней больнице за такую операцию дают...

Он назвал цифру, от которой доньшко его хирургического колпака, плавающего передо мной вместо лица, вдруг зашевелилось, показалась злорадная рожа, высунула язык и, ухмыляясь, исчезла.

– Эт-то номинальная с-стоимость операции или б-благодарность?

Заикание не отпускало.

– Благодарность, конечно. Лечение идёт по страховке.

Вот это благодарность! Я была в восторге. Да боже мой! За своё здоровье ничего не жалко! Всё отдашь, не торгуясь. Но не могла я сказать ему, что живу на пенсию, которую едва хватает на скромный (ну очень скромный!) диетический прокорм. Я красочно представила, как тут же заветный ключик открывает передо мной дверь и несолоно хлебавши, кувыркаясь, в слезах и соплях, я слетаю с пятого этажа восвояси.

– Так сколько же?

Он поднял глаза и посмотрел внушительно и строго. И ещё раз пять, чтоб не забыла, с разными вариациями повторил эту сказочную благодарственную цифру.

В голове моей бушевало торнадо: ураганный ветер, как провода, рвал мысли, чёрные тучи с громами и молниями метались внутри черепа.

Как быть? Пообещать, а потом отдать сколько смогу?.. Да ведь с детства меня учили не обманывать. Договор есть договор.

Уже моя голова упала на грудь и разглядывала носки зимних ботинок, прикрытых чудовищными голубыми бахилами. Мне было стыдно за свою бедность и за унижение, которое я сейчас испытывала. Хотя понимала: он и не рассчитывает столько получить,

просто называет вершину Казбека, чтобы взобраться на едва приподнятый над степью курган. Но именно сейчас почему-то пожалела, что не я королева бензоколонок и не я в Якутии владею хотя бы одной кимберлитовой трубкой, набитой алмазами. Ведь работа у него – не асфальт подметать. От общения с больными – непроходящий стресс – до операций, после операций. Всем давай надежду, даже обречённым. Всем улыбайся, со всеми будь вежлив, даже если больной схватил тебя за горло и дышать уже самому невмочь. Государство не торопится достойно его обеспечивать. Отпускает на вольные хлеба. Крутись сам, как сможешь... Вот он и крутится. За счёт нищих. И поглядывает за бугор. А там... Врачи и юристы – самые успешные, самые востребованные, самые-самые. Только клиентов-пациентов у них, таких, как я, единицы, а не легионы.

– Мне надо посоветоваться. Дома.

Я знала, что такую сумму не принесу. Потому и не обещала. Знал это и он. Но тряхнуть меня надо было по максимуму. И он поставил жирную точку в нашем разговоре.

– Операция серьёзная. Под общим наркозом. Ювелирная. В этом месте узел лицевого нерва. Если задеть его, рот будем искать на шее, а глаза – на затылке.

Последнюю фразу он сказал помягче, но моя разнузданная фантазия дополнила его слова, дорисовала и услужливо представила некоторые портреты Пикассо, Сальвадора Дали и иже с ними.

...Под впечатлением от разговора, опираясь на палку, кое-где буксуя по снежной дорожке вдоль двухметрового больничного забора, вне времени и пространства я топала к чугунной калитке, через которую проходила утром. Почему-то в голове крутилась чуть изменённая жестокая детская считалка:

*Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана.
«Буду резать, буду бить.
Всё равно тебе платить».*

И не заметила, как бесконечный забор закончился и я упёрлась в калитку. На ней висел огромный амбарный замок. Огляделась. Вокруг – никакого просвета, никакой щёлки, чтоб проскользнуть. Даже такой вобле, как я. Возвращаться и искать другой выход – это за волосы тащить себя из болота. Кто-то может. Я – уже нет. В изнеможении прислонилась к калитке спиной. Не ночевать же здесь... Оживлённо разговаривая, подошли парень с девушкой. Удивились насмерть запечатанному забору, но возвращаться не стали: по чугунным кудрям забрались наверх и спрыгнули с другой стороны.

А что? Это мысль! Правда, на той стороне могу костей не собрать, зато платить хирургу не придётся. Мне стало весело. В любом самом кошмарном событии всегда найдётся что-то хорошее.

А-а, была не была! Вперёд и только вперёд! Я лихо перекинула через забор сумку и палку с попугайчиком вместо ручки и полезла наверх. Мимо по автостраде пробежали машины, вдоль больничного забора шагали удивлённые неожиданным зрелищем редкие прохожие. А пусть кто-нибудь догадается, что у повисшей на заборе старухи Шапокляк были обширные инфаркты сердца и мозга (впрочем, о мозге кто-нибудь и догадывался!), что одна рука у неё плохо держится за чугунную кудрю, а одна нога подгибается, и спрыгивать с двухметровой высоты ей никак невозможно, ну никак! А я и не спрыгивала. На самом верху побалансировала, озирая окрест, пожалела, что нет фотографа (вот это был бы кадр: 75-летняя баба-яга на каблуках и с накрашенными губами – как курица на насесте!), и не торопясь, судорожно хватаясь за металл, сползла на землю. Это событие так впечатлило меня, что торг с хирургом отошёл на задний план. Всю дорогу до дома я размышляла, от кого же закрывают калитку, если для такой развалины, как я, амбарный замок не препятствие?!

Всё-таки замечательная штука – жизнь в нашем отечестве! Сплошное разнообразие. Не даст заикнуться на одном событии. Даже самом невероятном. Тут же подсунет другое. Ещё чуднее. Не заскучаешь...

В больницу я легла на следующей неделе.

За день до операции дверь медленно приоткрылась, и в палату нерешительно вползла женщина, лет уже под пятьдесят, в больничном халате и с претензиями на небрежный молодёжный вид. Неухоженные волосы торчали в стороны, как после битвы с соседкой по коммуналке; на груди, в ушах и на запястьях тускло поблёскивали байкерские металлические побрякушки. И даже табличка с её именем тоже болталась на железной прищепке (а может, на платиновой – кто её знает?). Она оглядела палату и назвала мою фамилию.

Я отозвалась. Что-то мешало ей. Она осуждающе посмотрела на мою соседку по палате, Любашу, глядевшую на неё во все глаза, и до ужаса спокойным и равнодушным голосом произнесла:

– У вас плохая кардиограмма. Я не допускаю вас к операции.

Повисло молчание. Она ждала реакции на свои слова. А я захлебнулась от жуткого удара под дых.

Это всё равно что встать на пути олимпийца в нескольких секундах от победного финиша и сказать ему: «Я снимаю вас с дистанции».

Катастрофа!

Сколько физических и душевных сил вложено! Сколько людей задействовано напрасно! Сколько ожиданий летит в тартарары!

А самое главное – через всё это проходить снова!

И не факт, что вновь успешно...

«Байкерша» нерешительно потопталась на пороге и, уже выходя за дверь, через плечо бросила:

– Я ваш анестезиолог.

Может, она думала, что я побегу за ней? А мне было всё равно, кто она. Главное, в её силах – «не допустить». И это обстоятельство так подействовало на меня, так взвилось давление, что я, видимо, стала сильно меняться в лице. В испуге Любаша кинулась за врачом. «Байкерша» вернулась. Сладко улыбаясь, погладила меня по плечу и заворковала:

– Да что вы так переживаете? Завтра у вас будет операция. Обязательно. Как запланировано. Не волнуйтесь.

И отбыла. Не назначив ни успокаивающих, ни снотворных уколов, ни лекарств от бешеного всплеска давления. Не предупредив о приобретении эластичных бинтов от тромбофлебита.

Всю ночь перед операцией, свернувшись узлом, раскачиваясь, чтобы успокоиться, я просидела на кровати, поминутно глотая свои почему-то не очень-то эффективные лекарства и каждые полчаса измеряя своим тонометром давление. Я не знала, переживу эту ночь или нет. И гадала: допустит не допустит «байкерша» к операции, если всё-таки дождусь рассвета.

Мозги сломала, размышляя, зачем она приходила. Не для того же, чтобы угробить меня. Видно, действительно insult или домашнее инкубаторное воспитание, несмотря на многолетнее кипение в российском социальном бульоне, лишает мозг каких-то мыслительных способностей, и мне ни разу в голову не пришло, что она являлась за деньгами. Дала бы денег – наплевала бы она на все кардиограммы мира и разрешила бы вскрытие мамонта, мумии алтайской принцессы или ныне здравствующего князя Монако. Но я-то, Дюймовочка, ей сразу поверила! Кардиограмма-то у меня действительно могла быть плохой! А ей просто моя соседка по палате помешала открытым текстом содрать с меня золотую стружку. Видимо, здесь уже стало традицией договариваться о «благодарности» заранее.

Всё это сообразила я потом, уже после операции, после выписки, после того, как пришла домой и много раз в голове прокручивала произошедшие события. И опять натолкнул меня на эти мысли хирург.

Ещё в больнице, завершая в перевязочной послеоперационный осмотр, душевно заглядывая в глаза, он опять поинтересовался суммой моей благодарности. Я сказала. И тут же ринулась было в палату за деньгами. Он остановил меня:

– Маловато. Не мешало бы добавить.

– Часть денег я оставила для анестезиолога.

Это сильно взволновало его.

– Не стоит она вашей благодарности! Она нам чуть операцию не сорвала! Обойдётся! Работать никто не хочет. Все только деньги ждут. Тащите всю сумму мне.

Я принесла ему все деньги, какие были. И, по-моему, немалые. Но так и не узнала, действительно ли с моей кардиограммой операцию делать было нельзя или она просто явилась удобным предлогом для торга.

СТРАННЫЕ ЖЕНЩИНЫ

В купе ещё никого не было, хотя до отхода поезда оставалось пять минут. Три пожилые женщины ввалились туда сразу, скопом, как-то по-молодому игриво и весело. Запахавшись, они всё же вмиг разместили длинные и тяжёлые коробки, которые непонятно как доволокли до вагона. И тут же со смехом и прибаутками стали есть пластмассовыми ложками мороженое из одного большого картонного стакана.

– Ой-ой-ой! Как вкусно!

– А это что?

– Шоколад!

– Сейчас тронется поезд, и будет нам шоколад!

– Наталья, приедешь – позвони, как там тебя встретили.

Уже объявили о том, что провожающие должны покинуть вагон, а женщины всё ещё весело ныряли ложками в стакан с мороженым.

До отхода поезда осталось не более двух минут, как в купе, поздоровавшись, вошла высокая блондинка лет тридцати пяти, с большими голубыми глазами. Бабульки тут же торопливо покинули купе. И вернулась в него одна Наталья.

Заснеженная Москва медленно плыла за окном вагона, а блондинка всё ещё устраивалась в купе, отвлекаясь на непрерывные звонки мобильного.

– Да. Да! Саша! Я едва на поезд успела! Они договор не хотели подписывать. И нечего на меня орать! Я же понимаю. Да, деньжищи огромные. Не волнуйся. Всё в порядке.

– Ты представляешь! Зря на меня собаку спускает. Да! Я всё объяснила. Ага! Сменил гнев на милость.

– Илюшенька! Ласточка ты моя! Да. Я уже в поезде. Домой еду. Как у тебя дела в школе? Папа с работы не пришёл ещё? А Леночка уроки делает? Дай ей трубку.

«С семьёй общается», – догадалась Наталья.

Оторвавшись от последнего разговора, блондинка долго сидела, блаженно улыбаясь и забыв отключить мобильник.

Пришёл проводник, проверил билеты. У Натальи и её соседки были нижние места. Верхние так никто и не занял.

Блондинка медленно остывала после кипучего дня. В голове у неё бродили мысли о событиях прошедших часов. Поэтому в ответ на вежливый и ни к чему не обязывающий вопрос Натальи: «Работа у вас беспокойная?» – молодая женщина охотно начала рассказывать о том, что совсем недавно она пришла в шоу-бизнес, где постоянно надо крутиться-вертеться, но именно это ей и нравится в нём, что новая профессия заставляет знакомиться со многими людьми, в том числе и со звёздами мировой величины, что в фирме к ней очень хорошо относятся, да и вообще руководство заботится о своих

сотрудниках и для восстановления здоровья, потраченного на нервной работе, в начале дня и в конце дают пить по стакану отвара шиповника. Сама осознала наивность последней фразы и засмеялась.

Она уже переделалась в спортивные брюки и маечку с узкими бретельками. В такт её словам волосы вздрагивали и колыхались вольными прядями по длинной шее, в нежной ямочке между ключицами покачивался медовый янтарь в золотом овале на золотой цепочке.

– Большая у вас семья? – скорее для поддержания разговора, чем из интереса, спросила Наталья.

– По нынешним меркам – да! У меня очень хороший муж, двое детей – девочка и мальчик, три кошки, которые ужасно любят смотреть телевизор (взберутся на диванные подушки и, не отрываясь от экрана, могут часами лежать на них), и маленькая собачка, так ревнующая меня к мужу, что спать устраивается только между нами и по-детски обижается, когда мы её прогоняем.

Она встряхнула головой, отчего натурально блондинистые волосы красиво скользнули по шее, и засмеялась. Было видно, что всё в этой жизни у неё получилось и что она счастлива. И было приятно смотреть на неё, такую красивую, молодую, удачливую.

– Хочу, чтобы дети выросли умными, порядочными людьми. Сына хочу видеть военным, а дочь... – она запнулась.

– Кем же хочет стать дочь? – подтолкнула её Наталья.

– Врачом, – почему-то сразу сникла соседка.

– Ну замечательно! Прекрасная профессия.

– Девочке одиннадцать лет. Надеюсь, она ещё изменит своё решение.

– Зачем?! Это же здорово – быть врачом. Станет людям помогать. И материально будет обеспечена. Сейчас денежки из населения они качают полноводной рекой. – Наталья тоже запнулась, что-то вспомнив своё, не очень радостное.

Блондинка вспыхнула и заговорила быстро, уже не обращая внимания на реакцию Натальи, а словно бы отвечая каким-то своим нелёгким и длительным раздумьям.

– Я сама врач-гинеколог. Так что профессию знаю изнутри. – Она хмыкнула от двусмысленности последней фразы и продолжила: – Людей уже приучили, что без денег им не помогут. Поэтому многие вынуждены заниматься самолечением. Отсюда большая смертность населения. Ну ладно, если бы за деньги лечили более квалифицированно. Так нет же! Врачам на больного – плевать. Интересуют только деньги. Выпускники вузов приходят безграмотные, так как экзамены тоже сдают за деньги. Врачи становятся бездушными и даже жестокими людьми. Тот, кто не берёт взятку, не пьёт на работе и не обманывает больных, должен или сам оставить профессию, или его заставят уйти. Деньги разрушают человека. В медицине этого не должно быть.

Блондинка замолчала и тяжело задумалась. И стало ясно: та нравственная драма, которая мучила её в прошлом, мучает и теперь. Бирюзовые глаза её невидяще смотрели в потемневшее от ночных сумерек окно.

– Не хочу, чтобы дочь моя стала чёрствой. Не хочу видеть её и странным утёнком на птичьём дворе. Заклюют.

Мимо открытых дверей постоянно ходили продавцы бутербродов, пива, сдобы, газет и журналов. Каждый агрессивно рекламировал свой товар, но дверь купе закрывать не хотелось: было душно. Проводник принёс чай. Молодая женщина тряхнула головой, словно отгоняя назойливо гнетущие мысли, и больше для себя, чем для соседки, поставила точку в монологе:

– Мне очень нужны деньги. Жить негде. Дети уже подросли, а до сих пор квартиру снимаем. Взятки с больных брать не могла. Вот и подалась в шоу-бизнес. – И, желая круто переменить тему разговора, повернулась с вопросом к Наталье: – Вы тоже в командировке были?

– С художественной выставки свои работы забирала.

– Картины?

– Не совсем. Резьба по дереву. Барельефы, скульптуры.

Блондинка удивлённо взглянула на свою немолодую соседку и забросала её словами:

– Ой, как интересно! Вы скульптор? Но ведь это мужская профессия. А вам за выставки что-нибудь платят? Ведь хлопот сколько! Да и расходы, наверное, большие? А вы продаёте свои скульптуры? На жизнь хватает? Ведь они очень дорогие.

Наталья с улыбкой взглянула на молодую женщину. И вдруг заговорила торопливо, сбивчиво, тоже волнуясь, подчас сама не понимая, зачем открывается перед незнакомым человеком:

– Не знаю, кому как, а мне скульптуры достаются с большим трудом. В каждую столько усилий вкладываешь! Она твоим ребёнком становится, клоном, фантомом. Расстаться с ней невозможно. Ведь в ней твоя душа. Вы-то в медицине свою душу не захотели продать. То же и со мной происходит. Только в искусстве. Вы поменяли профессию. Не стали деньги делать на чужом горе. А я от искусства убежать не могу. Внутри меня живут образы скульптур, картин. И есть только один способ избавиться от них: воплотить в дереве, на бумаге, на холсте. Любыми путями. Через любое напряжение.

– А как же: «Не продаётся вдохновение, но можно рукопись продать»? Жить на что-то надо... – Блондинка с интересом разглядывала немолодую соседку.

Мимо окна, как по лестнице сваливаясь, застучал на рельсовых стыках встречный состав. Наталья дождалась, когда он перестанет гроыхать, и, отвечая своим мыслям, продолжила:

– Дарить свои работы родным, друзьям – пожалуйста, демонстрировать на выставках – да сколько угодно. Но продавать – жалко до невозможности.

Железным грохотом, огнями поезд вонзался в пространство, унося в своём чреве двух странных, совершенно непохожих друг на друга женщин. Но что-то – они сами чувствовали – объединяло их. И это что-то не поддавалось определению, но каждой из них было не столь одиноко в эту морозную снежную ночь.

Борис БЕШАРОВ

Борис Бешаров – поэт и журналист. Родился и жил в Саратове. Работал главным редактором газеты «Сфера», в других местных СМИ. Автор нескольких самиздатских сборников стихов. Погиб в 1992 году.

ПЕСНЯ МОЯ НЕДОПЕТАЯ...

Лучи последние сгорели
В тумане пепельных озёр.
И первая звезда над елью
Мигает робко, еле-еле,
Как вдалеке ночной костёр.

Беззвучен лес, седой и древний.
Лишь за темнеющей рекой
Скрипит калитками деревня,
Как в полночь старые деревья,
Когда не спится им порой.

Сны, как весёлые олени,
Летят сквозь влажные кусты
И, превращаясь в чьи-то тени,
Вдруг застывают на мгновенье
И опускаются в цветы.

ОЗОРНОЙ ДОЖДЬ

На тихой речке пересохла броды.
К воде подкрался трещинками зной.
Но в полдень в небе гром заколобродил,
И хлынул дождь на землю озорной.

В одно мгновенье, смыв пыльцу сухую,
Налипшую на листья диких груш,
Он расписал дорогу полевую
Смеющимися рожицами луж.

ОДИНОЧЕСТВО

Одиночество в сердце вселилось,
Как осенняя стужа в цветы.
В жизни всё до того изменилось,
Что о многом задумался ты.

Обнажились ошибки былые,
Словно ветки черёмух в саду,

Если осени ветры цепные
Завывают, на чью-то беду.

Я стою, точно накрепко связан.
Зимний холод застыл за спиной.
Но сегодня я просто обязан
До весны дотянуться душой.

Прошагав полдороги по свету,
Я споткнулся на горной тропе.
Образ детства, как мальчик с портрета,
Поманил меня снова к себе.

Но лишён я желанной награды
Повернуть свои годы назад.
Чёрных лет грозовые армады
Мне уже сединою грозят.

Заслоня младенчества зыбку,
С воем ветра, протяжным и злым,
По глазам, по душе, по затылку
Хлещут годы дождём проливным.

Над овражками ели
До макушек в снегу –
Словно шубы надели
На лебяжьем меху.

Не видать ни тропинок,
Ни звериных следов.
Бледный остров осинок
Тает в море снегов.

И на это безмолвье,
Удивляясь сама,
С материнской любовью
Нежно смотрит зима.

Уснула старушка деревня
В пушистых цветах у реки.
Баюкают нежно деревья
В июньских садах ветерки.

И звёзды, как тропки живые,
Спустились до самой земли, –
Как будто бы души людские
По ним незаметно прошли.

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

Потух, наплясавшись над сонной рекой,
В кругу потемневшей травы молодой
Костёр – озорной мальчуган.
Звезда над горою печально взойдёт.
И в пригоршнях ветер вокруг разнесёт
Холодного пепла туман.

Всё стихнет надолго, а может, навек.
Не вечен на этой земле человек.
Вдвойне – если сам он поэт.
И я, обгоняя тревожную ночь,
Пойду от реки остывающей прочь
С надеждою встретить рассвет.

Углём черновиков
На снежной целине
Поэт писал тайком
Таинственные знаки.
И голоса стихов
Шептали в тишине
Шершавым языком
Исписанной бумаги.

Я позабыл твоё лицо.
Оно теперь другим сияет,
Как обручальное кольцо,
Что нас уж не соединяет.

Я позабыл твои глаза,
Как звёздный отблеск на рассвете,
Когда лучи на небесах
Играют весело, как дети.

Я позабыл твои слова,
Что ты мне нежно говорила.
Они затихли, как трава
Над свежеврытой могилой,

Где даже тёплой весной
Не будут зеленеть побеги.
Ты стала для меня мечтой,
Что не сбывается вовеки.

Всю жизнь процветают,
Коварны, как нож,
Жестокость крутая
И сладкая ложь.

И век безотрадный
Живут на гроши
Безжалостность правды
И нежность души.

Я снова подумал о смерти своей.
Готов я заранее к этому.
Дни мчатся мои с каждым годом быстрее,
Как песня моя недопетая.

В ней радость и боль, боли больше вдвойне,
Поэтому часто грустится.
И счастье порой, словно сказка во сне,
Давно позабытая, снится.

Алексей БОРЫЧЕВ

Алексей Леонтьевич Борычев родился в 1973 году в Москве. Автор восьми поэтических книг. Публиковался в журналах «Наш современник», «Юность», «Кольцо А», «Нева», «Нива», «Аврора», «Сура», «Южная звезда», «Аргмак» и многих других; в газетах «Российский писатель», «День литературы», в «Литературной газете».

И ТО, ЧТО С НАМИ БЫЛО...**КТО-ТО ЗНАКОМЫЙ...**

Полночь. Апрельские звёзды
Тихо рыдают в ночи.
Капают, капают слёзы.
Ртутью мерцают лучи.

Влажная, тёплая юность
Тьмой безголосой поёт.
Зеленоватая лунность
Льётся на тлеющий лёд.

Кто-то знакомый по чаще
Тихо блуждает в ночи.
Слышишь, всё громче и чаще
В сердце тревога кричит.

Слышишь, как сладко тоскует
Прошное в наших сердцах.
Кто-то знакомый ликует,
Шёпотом славя Творца.

Ночи погасшее око
Грустью мерцает моей.
С нами пространство жестоко.
Будет ли время добрей?..

Судеб кровавые жала
В детские жизни впились.
Может, поэтому мало
Длилась беспечная жизнь?

Памяти скинув запреты,
Выжег нам души пожар,
И позабыли мы где-то
Детства блистающий шар.

Знаю: зловещею ночью
Он освещал бы пути.
Кто-то знакомый мне очень
Шепчет:

«Его не найти!»

ВОДА СКОРБЕЙ

Вода студёная скорбей
Сочится из гнилых трясин...
А где-то в мыслях о тебе
Судьбы играет клавесин.

И времена мои поют
О всякой пошлой ерунде –
О том, каков он был, уют,
Когда весна цвела везде.

Когда весна цвела всегда
И умирали январь.
О, те далёкие года
Прекрасны, что ни говори!..

И домик с окнами в мечты,
И мая сладкий пирожок –
Такой была со мною ты.
Нам было слишком хорошо!

Но вот беда – в сырой глуши
Из почвы кислой, торфяной,
Где тихо дремлют камыши,
Залепетал родник лесной.

Из родника в тоске болот,
В змеино-злой тишине,
Холодноватая, как лёд,
Вдруг потекла вода ко мне.

Туман над ней – как навий яд,
Сама она – вода скорбей.
Мечты исчезли все подряд,
И стало пасмурно в судьбе.

Весна погибла в чёрной мгле,
Пропала ты во тьме времён:
Мне стало тяжко на Земле.
Я погрузился в тёмный сон.

Но даже в этом тёмном сне
Я вижу воду родника:
Вода скорбей спешит ко мне.
Смеётся смерть издалека.

И ТО, ЧТО С НАМИ БЫЛО...

И то, что с нами было,
И то, что с нами будет, –
Осенних дней остывших
Сгорающая гряда.

Осенних дней ненастных
Шуршали листопады,
Я просто верил в счастье,
А ты – лишь в то, что надо...

Забыли о грядущем,
Прошедшее истлело.
В нём были наши души,
Высокие пределы!

Ах, прошлое!.. Поляны,
Облитые росой.
И привкус детства странный.
Объятья под грозою...

Луна, ручей и полночь.
И тени за оврагом.
Хрусталь, до края полный
Веселья бодрой брагой.

Тот мир, что чувством вышит,
Разрезала разлука.
В былое не гляди же –
Обманываться глупо!

Ведь то, что с нами было,
Как то, что с нами будет, –
Осенних дней остывших
Сгорающая гряда.

ТЕНЯМИ ИГРАЛО ЛЕТО

Тенями играло лето.
Лето играло тенями.
Солнечные куплеты
Были пропеты днями.

Были пропеты небом,
Лесом, землёй, травой...
Ярким полдненным светом.
Тлеющею золою...

Сердце омыто счастьем –
Радужными дождями,
В небе порхали страсти
Бабочкой, мотыльками.

Кто-то, смеясь украдкой,
Тихо прошёл по лету
С пухлой стихов тетрадкой,
Медленно канул в Лету.

Тонкий и серебристый
Пел тенорок июня
Арию солнца, листьев,
Звонкого полнолуныя.

Но провиденье слепо.
Выжжено всё огнями...

Помню, играло лето
Сказочными тенями.

СКАЖИ, МОЙ ДРУГ...

Былых огней холодное качание
И дым, летящий над сырой золой.
Забытых дней скрипучее звучание.
Прошедшего разбитое стекло...

Скажи, мой друг, зачем же всё тревожнее
Над нами бьют в набат колокола?
Я с каждым днём всё тише, осторожнее
Творю свои обычные дела.

Хожу по нелюдимым грязным улицам,
И – никого!.. Ты слышишь: никого!
Домишки постаревшие сутулятся
И ожидают часа своего...

И дым, о Боже, дым клубами синими
Бежит, бежит по мокрой мостовой,
И вдалеке, свиваясь в кольца, линии,
Плывёт над рощей, над её листвой.

За городом в лесу, в горчащем воздухе
Я слышу аромат былых времён,
Играющих в далёкий мир со звёздами,
В тот мир, что мне является как сон.

О нет, я не прошу о возвращении
В забитое, забытое «тогда»,
Но Господа молю об укрощении
Сил памяти, затем чтоб навсегда

Я отказался верить в это прошлое,
Что тихой тенью встало за спиной,
И чтоб событий яростное крошево
Мелькало, словно блики, предо мной!

Грядущего стозвонное звучание
Пусть оглушит меня, мой прежний мир,
И лёгких дней весёлое качание
Разбудит счастья солнечный клавир!

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ ХОЛОД?

Почему сегодня холод?
Почему сегодня мрак?
День сомнением расколот,
И в душе лютует страх.

Слякоть. Осень. Дует ветер.
Опустел весёлый сад.
А так хочется, чтоб светел
Был мой мир, как век назад...

Подхожу я ближе к дому,
Чую – дверь не заперта.
Чую – кто-то незнакомый
Ждёт за дверью... Пустота

Не бывает слишком тихой,
Не бывает неживой.
И душе печально, дико,
Будто кто пришёл за мной.

Дверь со скрипом отворилась,
А за нею – чернота,
Да страстей погасших стылость.
А в углу смеётся та...

Та, что время не отсрочит
И придёт, когда не ждёшь...
А столбцы корявых строчек
Смоет дождь, осенний дождь!

Алексей НИКИТИН

Алексей Никитин родился в 1978 году. Поэт, журналист. Публиковался в журнале «Волга–XXI век», в других периодических изданиях. Живёт в Аткарске.

ОЩУЩЕНИЕ ЧУДА

МАСЛЕНИЦА

Пришла Маслена
Да раздольница,
Солнце красное
К лету клонится.
Угощением
Она славится.
Выходи, народ,
Позабавиться!
Как на Масленой
Тройки вскачь бегут,
Как на Масленой
Да блины пекут.
Как на Масленой
Весь честной народ
Да Весну-красну
Погостить зовёт:
– Ты приди, Весна,
Растопи снега!
Пусть уйдёт мороз,
Сгинет пусть пурга!
Ты зажги скорей
Солнце красное,
Распахни для нас
Небо ясное!
Спрячем в сундуки
Шубы, валенки,
Выйдем песни петь
На завалинки!

ГОД БЕЗ ТЕБЯ

Вот уж год, как нет тебя с нами, отец.
«Отец» – какое это крепкое слово!
Смерть, она – умягчение злых сердец,
Лишь о мёртвых нельзя говорить плохого.

Вот избавился ты от земных оков –
Все мы этот билет однажды получим.
И среди деревенских простых мужиков
Ты был, конечно, не самым худшим.

Всяко было, жили, как все живут,
Тёплый солнечный день сменяло ненастье.
От зари до зари, из ярма – в хомут,
Но тогда это было, наверное, счастье.

Что сейчас? Ты приходишь только во сне.
Это в детстве далёком сны были сказкой.
А теперь они тлеют свечкой в окне
И окрашены тусклой бесцветной краской.

Знаю, смерть ведь жизни ещё не конец,
Потому и молюсь, зажигаю свечи.
Если что не так, ты прости, отец,
Не скучай там, ладно? До встречи...

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Когда фонари жёлтый свет разливают повсюду,
На улице снег, сказка зимняя, как наяву,
Нам дарит под вечер с тобой ощущение чуда,
Которое я без сомнения счастьем зову.

Ты выйдешь на улицу, снегу подставишь ладони,
А свет отразится в доверчивых карих глазах.
И вдаль унесут, как Снегурку, волшебные кони,
Напомнив тебе о прекрасных земных чудесах.

Волшебник Мороз твои щёки дыханьем остудит,
Он встретит тебя там, где леса застыл окоём.
Потом, улыбнувшись, смотреть зачарованно будет,
Как тает снежинка на носике милом твоём.

А утром, проснувшись, не зная, где сон, а где чудо,
Подумаешь с грустью: «Прошло» – и увидишь тотчас
Морозную надпись в окне: «С добрым утром, Анята!»
И вспомнишь с улыбкой, что сказка уже началась!

Виктор ШЕПТИЦКИЙ

Виктор Валентинович Шептицкий родился и живёт в Саратове. Окончил Саратовское Суворовское училище и военную академию связи, 30 лет прослужил в Вооружённых Силах. Автор и исполнитель радиокомпозиций о Суворове, Окуджаве, П. Лещенко, Вертинском. Регулярно публикуется в местной периодике. Автор книги «Неизвестный Суворов» (2010).

СУВОРОВ В КРЫМУ

В XVIII веке продолжалась борьба России за освоение территории, примыкающей к Чёрному морю. Для России выход к морям был необходим. Только морские пути могли обеспечить интенсивную торговлю с другими странами, обмен товарами, идеями, культурное взаимодействие. Страна росла и нуждалась в расширении своих границ. Причерноморье представляло собой обширное поле для подобных целей. На эти благодатные земли уже давно распространили своё влияние страны, отсто-ящие далеко от этого региона: Италия, Греция, Турция. Кочевые племена не могли освоить этот регион, они пользовались его ресурсами в удобное для них время. Причерноморье нуждалось в его освоении и заселении, в огосударствлении.

Эту роль выполнила Россия. Однако ей пришлось бороться с могущественным государством: Крым и Причерноморье находились под протекторатом Порты. Турецкие султаны обложили данью крымских татар, греческие и армянские общины, располагавшиеся здесь, и долго и безраздельно господствовали на Чёрном море.

В освоение этих территорий большой вклад внёс великий русский полководец Суворов. Он был активным участником 1-й и 2-й русско-турецких войн, одержал знаменательные победы при Кинбурне, Фокшанах, Рымкине. Осенью 1790 года взял штурмом неприступную крепость Измаил.

В 1793 году в результате заключённого с Турцией Кучук-Кайнарджийского мирного договора Крым отошёл России.

Редакция журнала публикует главы из книги Виктора Шептицкого «Непредсказуемый Суворов» (ранее материалы о Суворове печатались в журнале «Волга—XXI век», в № 7–8 за 2012 год).

Эта публикация тем более актуальна, что в 2015 году исполняется 285 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730–1800), великого русского полководца, покорителя Крыма.

Виктор Шептицкий

«...ТУДА, ГДЕ ПОСТРОЖАЕ»

Турция совместно с крымскими татарами начала войну в Причерноморье. В январе 1769 года конница Крымского ханства совершила опустошительный набег, углубившись в южные районы России на 300 километров. Захватчики забирали у крестьян имущество, скот, уводили в плен молодых женщин. Турецкое командование начало сосредоточение на границе с Россией своей 400-тысячной армии.

Война на два фронта была обременительна для России. Руководство войсками было слабым. Решением Военной коллегии главнокомандующим Первой армией был назначен генерал-аншеф П. А. Румянцев. Это был боевой генерал, уже отличившийся в сражениях Семилетней войны. Румянцев немедленно провёл в армии необходимые преобразования.

В частности, он ввёл «Обряд службы», который установил единый внутренний порядок в полках. Этот устав был подобен суворовскому «Полковому учреждению». Он позволил в короткий срок повысить боевую выучку солдат и офицеров.

С приходом Румянцева в действиях армии наметился успех. Осенью 1769 года русские войска заняли Молдавию и Валахию и вступили в Бухарест. Летом 1770 года Румянцев предпринял несколько крупных боевых операций. В сражениях у урочища Рябая Могила, на реках Ларга и Кагул его армия разгромила 150-тысячную турецко-татарскую группировку. За достигнутые успехи Румянцеву было присвоено звание генерал-фельдмаршала. Одновременно Вторая армия П. И. Панина активизировала свои действия в Крыму и на Кубани. Она овладела Бендерами и добилась отсоединения от Турции Крымского ханства.

Суворов, находясь в Польше, внимательно следил за событиями на юге. Его не удовлетворяла партизанская война с конфедератами². Суворова привлекало широкое поле деятельности. Неоднократно он подавал рапорты о переводе его на Балканский театр русско-турецкой войны. Суворов просил перевести его «туда, где построжае». Но его просьбы оставались без ответа.

Только в апреле 1773 года решением Военной коллегии Суворов был откомандирован в Первую армию. Ко времени прибытия Суворова на юг эта армия вышла к Дунаю. Однако её ресурсы подошли к концу, и она была готова остановиться на этом рубеже. У Турции же ещё имелись значительные резервы, поэтому турецкое командование не хотело смириться с утратой своих территорий. Российские войска заняли оборонительную позицию на левом берегу Дуная. На правом берегу у русских оставался лишь небольшой плацдарм в районе села Гирсово. Это был важный стратегический пункт. Его надо было удержать во что бы то ни стало.

Румянцев поручил прибывшему в его распоряжение Суворову активизировать оборону в этом районе путём нанесения противнику отвлекающего внезапного удара. На военном языке это называлось поиск боем.

«СЛАВА БОГУ, СЛАВА ВАМ!»

Местом для поиска было выбрано хорошо укреплённое село Туртукай на противоположном берегу Дуная. По предварительным данным, у противника в этом районе было около четырёх тысяч солдат с сильной артиллерией. В распоряжении Суворова была лишь одна тысяча человек. Но это его не смущало.

Суворов блестяще провёл этот поиск. Его отряд скрытно преодолел широкую реку и нанёс противнику короткий, но чувствительный удар. Ему предшествовала мощная артиллерийская подготовка со своего берега. Искусно проведённый манёвр позволил Суворову овладеть позицией противника с минимальными потерями (26 убитых и 42 раненых), в то время как турки потеряли около 1,5 тысячи человек. Прямо с места событий Суворов послал Румянцеву короткое сообщение: «Слава Богу, слава Вам! Туртукай взят, и я там».

Позже в официальной реляции Суворов доносил: «Неприятель пришёл в отчаянье и страх, бежал куда глаза путь давали».

После поиска Суворов без потерь отвёл свои войска за Дунай.

Через месяц им был проведён ещё один успешный поиск на вновь укреплённый Туртукай. «Горделивый неприятель» снова был повержен, потеряв около тысячи человек. Потери русских не превысили ста человек, включая раненых.

Успех Суворова объяснялся не только высокой выучкой и храбростью его солдат и офицеров, но и искусством самого полководца. В боях за Туртукай Суворов применил тактическую новинку, которая впоследствии стала широко использоваться в сражениях.

² Польские дворяне (шляхта), восставшие против короля или сейма.

Пересечённая местность и узкий фронт потребовали отказаться от линейного боевого порядка и перейти к построению атакующих в шестирядные взводные колонны и каре. В авангарде действовали гренадеры и егеря в рассыпном строю. Исход боя решила неотразимая штыковая атака.

Действия Суворова по достоинству были оценены Румянцевым, который ещё во время Семилетней войны впервые сформировал отряды егерей в качестве свободных стрелков. Заметили старание Суворова и в Петербурге. Екатерина II прислала ему рескрипт, в котором говорилось: «Произведённое вами храброе и мужественное дело при атаке на Туртукай учиняет вас достойным к получению ордена Победоносца Георгия».

Но не все были такого мнения. Непосредственный начальник Суворова Иван Петрович Салтыков (сын героя Семилетней войны, фельдмаршала Петра Салтыкова) ревниво воспринял его удачу и объяснил это простым везением. В разговоре он однажды небрежно заметил: «Суворов только практик и не знает тактики».

Уязвлённый, Суворов не замедлил высказать своё резкое суждение: «Я не знаю тактики, да тактика меня знает, а Ивашка не знает ни тактики, ни практики. С военным делом незнаком и сам ему неизвестен».

Силы русской армии были недостаточны для форсирования Дуная и дальнейшего наступления. Однако для успешного окончания войны нужно было принудить Турцию к заключению мира. Для этого прежде всего надо было удержать плацдарм в районе Гирсово как трамплин для скачка на Балканы. Румянцев поручил это важное мероприятие Суворову, доложив об этом Екатерине: «Сей важный пост поручил я теперь генерал-майору и кавалеру Суворову, ко всякому делу свою готовность и способность подтверждающему».

Румянцев предоставил Суворову широкую инициативу, заявив, что такому искусному командиру «нет нужды предписывать подробные правила». И Суворов оправдал надежды командующего. При первом же крупном наступлении турецких отрядов в районе Гирсово он нанёс им несколько фланговых ударов и обратил их в бегство. Верный своим принципам, Суворов на протяжении 30 километров преследовал противника. Неприятель, понеся большие потери, «бежал во всю мочь и нигде не мог остановиться».

Последнюю точку в этой войне русские войска поставили в битве при Козлуджи. Здесь была сосредоточена 40-тысячная турецкая армия. Согласованными действиями корпусов Суворова и Каменского «противник был приведён врассыпку» и «разбит совершенным образом».

В июле 1774 года Турция была вынуждена подписать невыгодный для себя Кучук-Кайнарджийский мир.

КРЫМСКИЙ ДИПЛОМАТ

После окончания русско-турецкой войны Крым отошёл от Турции. Однако и российским он не стал. Этот благословенный край надолго являлся яблоком раздора между двумя противоборствующими сторонами. Россия стремилась путём «ползучей колонизации» утвердиться в Крыму. Турция старалась силой вернуть былую вассальную зависимость Крымского ханства. Правители Крыма хотели добиться независимости и от России, и от Турции. Но поскольку этого одновременно достичь было невозможно, то они предпочли менее жёсткую опеку своей северной соседки.

В такой сложной обстановке оказался вступивший в командование русскими войсками на полуострове Суворов. Ему хотелось самым решительным образом оградить Крым от присутствия турецких войск. Однако России нужен был мир. Екатерина II так определила образ действия российских войск в Крыму: «Не только не подать повода к драке, но уклоняться от оной сколь возможно, и если уже возможности не будет, то обороняться силой оружия и поступать как должно с неприятелем».

Для воинственно настроенного Суворова это было трудной задачей, но воля императрицы для него была непререкаемой. И Суворову пришлось мобилизовать всё своё

терпение, проявить гибкость и недюжинные дипломатические способности для достижения этой нелёгкой цели.

Однажды на горизонте у крымских берегов замаячили паруса. Вскоре сигнальщики доложили, что турецкие корабли под флагом адмирала Гаджи-Мегмета-аги смело вошли в Ахтиярскую (Севастопольскую) бухту. Четырнадцать фрегатов по-хозяйски стали на якоря около самых городских стен. На кораблях находился десант численностью до 700 янычар.

Как выяснилось, целью «гостей» было намерение сменить высшее руководство Крымского ханства, выбрав своим ставленником Селим-Гирея. Вооружённые турецкие отряды начали бесцеремонно высаживаться на берег, устанавливая свои порядки и притесняя местных жителей.

Суворов заявил протест начальнику отряда кораблей с требованием прекратить высадку янычар на берег. Но этот протест не был принят во внимание.

Тогда Суворов дал распоряжение «дружественно расположить с обеих сторон гавани по три батальона пехоты с приличной артиллерией и конницей».

Такие веские аргументы возымели своё действие. Турецкие корабли удалились из гавани на расстояние пушечного выстрела. Подальше от греха – а вдруг пальнёт «Сувары» (так турки называли Суворова) из своих пушек. От него можно всего ожидать.

Турецкое командование передало Суворову строгое предупреждение, что подобные угрозы являются недопустимыми, так как они подрывают дружбу двух стран.

Суворов немедленно послал турецкому адмиралу по-восточному многословное любезное послание: «Я с моей стороны и малейшего к тому подобия не нахожу. Напротив, всё наше старание к тому одному устремлено, чтобы отвратить всякие на то неприятные поползновения и чтобы запечатлённое торжественными великих в свете государей обещаниями содружество сохранить свято».

На последовавшие просьбы турецких сераскиров высадить людей хотя бы для забора пресной воды Суворов дал обоснованный отказ, пояснив, что в Турции свирепствует чума, и поэтому «во охранение от столь превредной заразы учреждённый в Крыму карантин не позволяет отнюдь ни под каким предлогом спустить на берег ни одного человека из ваших кораблей».

А для пущей безопасности от этой самой заразы Суворов распорядился усилить охрану всех доступных для высадки десанта бухт полуострова.

Замысел Порты сменить руководство Крымского ханства провалился. В Крыму снова установилось спокойствие.

ПОНЯЛИ С ПОЛУСЛОВА

После присоединения Крыма к России Екатерина захотела лично осмотреть вновь приобретённые земли. Путешествие организовал светлейший князь Потёмкин. Он заранее наметил маршрут царского кортежа и подготовил все места пребывания высоких гостей в Малороссии и в Крыму.

Зимой 1787 года из Санкт-Петербурга в Киев поехал предлинный санный обоз. А через три месяца императрица с многочисленной свитой на галере «Десна» отправилась вниз по Днепру на юг. Она прибыла в Херсон, а затем посетила Крым. Среди её спутников находились и иностранцы: австрийский император Иосиф, национальный герой Венесуэлы Франсиско де Миранда, представитель Франции полковник Ламет и другие официальные лица.

В проведении мероприятий активное участие принимал Суворов.

Екатерине очень хотелось показать, что все вновь приобретённые территории являются неотъемлемой частью России. Поэтому неспроста для гостей был устроен военный парад. Александр Васильевич Суворов показал гостям отменную выучку и высокую боевую готовность российских войск. С такой армией можно сотрудничать и побеждать.

Суворов произвёл на гостей хорошее впечатление.

Франсиско де Миранда записал в своём дневнике: «Суворов сделал мне много комплиментов, он оказался большим оригиналом. Говорят, однако, что он человек волевой и искусный военачальник».

Знакомство полковника Ламета с Суворовым произошло в полевых условиях. Полковник ещё ни разу не видел Суворова и ждал его около штабной палатки. Наконец он увидел, что к палатке быстрым шагом приближается невысокий худощавый служака. Он был без мундира, в худо лакированных сапогах с отворотами и в рубашке с расстёгнутым воротом. Служака без обиняков стал расспрашивать полковника:

– Откуда вы родом?

– Француз.

– Ваше звание?

– Военный.

– Чин?

– Полковник.

– Имя?

– Александр.

– Хорошо.

И неизвестный хотел было идти дальше, но, уязвлённый такой бесцеремонностью, полковник решил отплатить незнакомцу той же монетой. И теперь уже Ламет стал задавать вопросы:

– Вы откуда родом?

– Русский.

– Ваше звание?

– Военный.

– Чин?

– Генерал.

И хотя что-то ёкнуло у полковника под ложечкой, он не оробел, а до конца выдержал этот стиль разговора:

– Ваше имя?

– Суворов.

– Отлично!

Собеседники одновременно расхохотались и обменялись рукопожатием. Представление их друг другу состоялось.

Суворов был прекрасным физиономистом. Он мгновенно схватывал сущность человека. Ему сразу понравился этот подтянутый энергичный полковник. Поэтому Александр Васильевич позволил себе некоторую вольность в общении. Для него личность собеседника была важнее, чем показная учтивость. И Суворов не ошибся в своей оценке. Француз оказался человеком неординарным, с развитым чувством собственного достоинства, ценящим юмор. Через несколько лет Ламет стал видным деятелем французской революции.

Не обошлась без курьёза встреча Суворова и с самой государыней.

В конце пути императрица решила по достоинству одарить всех организаторов этого длительного и интересного путешествия. В присутствии свиты она обратилась к Суворову: «Мой генерал, чем я могу выразить вам свою благодарность за труды ваши?»

Самолюбивый, не привыкший ничего просить для себя лично, Суворов был смущён необычной обстановкой. Но он тут же нашёлся и с низким поклоном попросил: «Всемиловитая государыня, благодарю вас за милость. Не соизволили бы вы заплатить хозяину квартиры, которому я задолжал несколько рублей. Буду искренне вам благодарен».

Конечно, это была неуклюжая шутка. Императрица всегда щедро одаривала своих подчинённых. За реальные дела, однако. Она не заслуживала подобного намёка

на скупость. Впрочем, Екатерина хорошо знала Суворова, его своеобразную манеру общения. Поэтому она не изменила своего мнения о нём. Она лишь отшутилась: «Александр Васильевич в походе не привык отягощать себя ничем лишним».

За доблестную службу Суворов был назначен сенатором и получил почётное звание премьер-майора императорского Преображенского полка.

КИНБУРН

Летом 1787 года на юге России снова запахло войной. Турецкое правительство решило вернуть себе Крым и Причерноморье, отошедшие России по условиям Кучук-Кайнарджийского договора 1774 года. Главкомандующий российскими войсками в этом районе светлейший князь Потёмкин-Таврический старался сделать всё, чтобы закрепиться на этих территориях. Однако Турция имела здесь ещё значительные силы, а её мощный флот доминировал на Чёрном море.

В такое сложное время Потёмкин назначил Суворова командующим Вооружёнными Силами в Кинбурн-Херсонском районе.

Опорой для турецкой армии и флота служила сильная крепость Очаков. Она прикрывала вход в Днепро-Бугский лиман, где в Глубокой гавани, что около Херсона, находилась русская эскадра. Длинный узкий лиман отделяла от моря 50-километровая песчаная коса. Это была уже территория России. На косе находились несколько укреплённых редутов и небольшая крепость Кинбурн. Эта крепость так же, как и Очаков, прикрывала вход в лиман, ширина которого в этом месте была около двух километров.

Для турецкого флота Кинбурн был как бельмо на глазу. Отсюда хорошо просматривался Очаков, а крепостная артиллерия держала под обстрелом узкий и мелководный лиман.

Суворов сразу понял, что Кинбурн имеет ключевое положение в районе. Здесь он расположил свою штаб-квартиру. Дальнейшие события показали, что этот выбор был сделан не случайно.

Вскоре Турция объявила войну России. Турецкий командующий двухбунчужный паша Эюб-ага сначала сделал несколько пробных попыток высадить свои войска на косе при поддержке своей корабельной артиллерии. Но энергичными контратаками русской пехоты эти попытки были пресечены.

Суворов принял неотложные меры для усиления обороны района. В его распоряжении было около двух тысяч человек пехоты и кавалерии и только одно небольшое судно – галера «Десна». Остальные боевые корабли входили в состав Днестровской флотилии и находились под Херсоном в Глубокой гавани. Незадолго до начала войны Суворов лично проверил готовность этих кораблей к боевым действиям. Командующий флотилией адмирал Мордвинов получил распоряжение выдвинуть свою флотилию к Кинбурну.

Тем временем Эюб-ага сделал необходимые поправки в свою тактику и через две недели предпринял уже настоящую десантную операцию. На этот раз расчёт был сделан не на стремительную атаку: наскоком взять крепость, конечно, не удастся. Турки решили осуществить планомерный захват косы с последующим штурмом крепости. Такой план был разработан совместно с французскими советниками. Большое значение в этой операции отводилось мощной корабельной артиллерии.

БОЙ НА КОСЕ

Утром 1 октября турецкие суда подошли к острию косы и начали высадку пехоты. Суворов в это время находился в крепостной церкви. Там шла литургия по случаю праздника Покрова. На доклады о высадке турецкого десанта Суворов отвечал: «Ничего, пусть все вылезут».

Вскоре на косе высадился многочисленный десант. На этот раз турецкие солдаты действовали по-хозяйски, не спеша. Поперёк косы они стали копать землю, устраивая ложементы – лёгкие полевые укрепления. Вдоль обоих берегов установили противокавалерийские рогатки. Постепенно продвигаясь к крепости, янычары создали 15 линий ложементов.

Наконец молебен был закончен. Суворов вышел из церкви и быстро оценил создавшуюся обстановку.

Турецкие корабли, закончив высадку десанта, заняли боевые позиции вдоль кинбурнской косы и начали массированный обстрел крепости. Обстановка накалялась. Немногочисленная крепостная артиллерия открыла ответный огонь. Флотилия Мордвинова так и не подошла к Кинбурну и не приняла участия в сражении. Вызванные Суворовым резервы ещё не прибыли. Лишь галера «Десна» с отважным командиром Джулианом Ломбардом вступила в единоборство с турецкими фрегатами. Стало очевидно, что турки имеют огромное превосходство в силе.

Настало время для решительных действий. В три часа дня по команде Суворова пехота со штыками наперевес атаковала противника в центре. На флангах врубалась кавалерия. Грянуло русское «ура!» Началось ожесточённое сражение.

Янычары не робели. Они бились отчаянно, стойко удерживая каждый рубеж. Однако напор русских был очень силён, и турецкие воины, сдавая один рубеж за другим, откатились на исходные позиции под защиту своих кораблей. Турецкие фрегаты открыли кинжальный огонь по наступающим. Атака русских захлебнулась. Подтянуть резервы было невозможно, так как весь перешеек простреливался корабельной артиллерией противника.

Турецкие отряды быстро пополнили свои ряды и ринулись в контр-атаку. Они отеснили русских и снова приблизились к крепости.

Наконец к Суворову подошли резервы с ближайших редутов. Крепостная артиллерия потопила 56-пушечный линейный корабль противника. Галера «Десна», заходя с тыла, наносила чувствительные удары по турецким фрегатам и потопила два трёхмачтовых судна. Последовала новая атака суворовских солдат. Командующий верхом на коне сам повёл в бой своих богатырей. Его белая рубашка мелькала в первых рядах наступающих.

Битва приняла ещё более напряжённый характер. В один из самых горячих эпизодов боя жизнь Суворова оказалась в смертельной опасности. Он попал в самую гущу солдат противника. Поблизости был только гренадер Степан Новиков. Янычар уже был готов сразить Суворова саблей, но гренадер опередил его, заколов штыком. Другого вражеского солдата он застрелил из ружья, а затем двинулся на третьего, обратив его в бегство. Подошли на выручку и другие гренадеры и защитили своего командира. Турецкие корабли снова усилили огонь, нанося наступающим урон. В этот момент был ранен картечью в бок и сам Суворов.

Позже Александр Васильевич так описывал это сражение: «Нас особенно жестоко, почти на полувыстреле били бомбами, ядрами и особенно картечью. А как только турки убралась на узкий язык мыса, то их суда стреляли по нам на косе ещё больше».

Весь долгий светлый день продолжалось упорное сражение. Ядром был убит конь Суворова, но командующий продолжал руководить боем. Под вечер был введён последний резерв: две роты Шлиссельбургского и одна рота Орловского полков. Их атаку поддержала лёгкая конная бригада. Противник не выдержал такого напора и стал отходить. Янычары сражались до последнего. Суворовские солдаты выбили турок со всех ложементов и сбросили их в воду. На последнем этапе сражения Суворов был ещё раз ранен. Пуля попала ему в левую руку и прошла навылет. Тут же ему сделали перевязку, но Суворов и на этот раз не покинул поле боя.

Уже в полной темноте неприятельские солдаты зашли на мелководе по горло в воду. Спаслись немногие. Только с рассветом подошли турецкие корабли и забрали всех оставшихся в живых.

КАК СУВОРОВ НА МОРЕ ВОЕВАЛ

Вскоре после жестокого сражения при Кинбурне произошло новое – уже морское сражение в Херсонском лимане.

Турецкий флот господствовал на Чёрном море. Он был ещё очень силён. На него султан возлагал свои надежды в предстоящей кампании.

Старшим начальником в Кинбурн-Херсонском районе был назначен Суворов. Теперь ему подчинялись не только все сухопутные силы, но и часть флота, а именно – вновь созданная херсонская гребная флотилия.

Молодой российский флот ещё не имел своих опытных флотоводцев. Поэтому на службу привлекались иностранцы. Гребной флотилией командовал принц Нассау-Зиген. Родом из небольшого немецкого княжества, он недавно поступил на российскую службу. Ему было присвоено звание контр-адмирала.

Ещё одним морским начальником стал шотландец Поль Джонс. Он возглавил основную морскую группировку района – парусную эскадру – и также стал контр-адмиралом. Джонс подчинялся непосредственно Потёмкину.

В деловых качествах иностранцев русскому командованию ещё только предстояло разобраться. Они кратковременно воевали в разных странах. Оба не знали русского языка.

Суворов сразу понял, что интересы российского государства для них были вторичны. Для наёмника важнее преподнести себя как незаменимого специалиста и получить все возможные привилегии.

У Суворова же был свой счёт к морским начальникам. Он ещё остро переживал ситуацию, которая сложилась во время недавнего Кинбурнского сражения. Тогда господа «академики» во главе с адмиралом Мордвиновым не оказали Суворову никакой поддержки. Во время сражения турецкий флот свободно вошёл в лиман и в упор расстреливал из мощных корабельных орудий Кинбурнскую крепость и ведущие бой с превосходящими силами противника войска Суворова. «Академики» так и не покинули безопасную Глубокую гавань. Они готовились к решающим морским баталиям, разыгрывая их на картах. Не пришла на помощь и более мощная Севастопольская эскадра адмирала Войновича: не было попутного ветра.

На этот раз Суворов бдительно следил за манёврами опытного турецкого адмирала Гасан-паши и, не надеясь только на своих адмиралов, сам готовил туркам сюрприз.

У самого входа в лиман им срочно был сооружён блок-форт, состоявший из двух батарей дальнобойных орудий. Работы велись ночью, а днём позиции тщательно маскировались. До поры до времени блок-форт ничем себя не обнаруживал. Даже по соблазнительно близким целям Суворов приказал огня не открывать.

«УДАРИЛИ НА АД»

Сражение при Кинбурне явилось самым ярким и драматическим событием в деятельности Суворова за последние 15 лет. До Кинбурна у него были лишь бои местного значения. Кунерсдорф, Орехово, Столовичи, поиски на Туртукай да и крупный успех при Козлуджи ни в какое сравнение не шли с Кинбурном. Здесь Суворов встретился с сильным, хорошо организованным противником. Турецкий двухбунчужный паша Эюб-ага действовал целеустремлённо и решительно. Его войска были тщательно отобраны и хорошо подготовлены к бою. Заранее было налажено взаимодействие пехоты и поддерживавших её кораблей. Накал борьбы был высочайший.

Суворов всегда с уважением относился к умному и сильному противнику. Он так охарактеризовал турецкие войска под Кинбурном: «Какие ж молодцы, светлейший князь, с такими я ещё не дирался: летят больше на холодное оружие».

Победа на косе была достигнута лишь благодаря максимальному напряжению всех сил. Велики были и потери с обеих сторон. Сам Суворов был дважды ранен и едва не погиб в бою. Но другого исхода в такой бескомпромиссной борьбе и не могло быть.

В своём рапорте Потёмкину Суворов так выразил весь драматизм этой битвы: «Милостивый государь, ежели бы мы не ударили на ад, клянусь Богом, ад бы нас здесь поглотил».

После сражения Суворов не покинул крепость, а остался здесь лечиться без отрыва от несения службы. Впереди у него были не менее важные дела. И прежде всего в тихой, умиротворённой обстановке надо было дать оценку всему происшедшему. Почему потери в этом сражении оказались столь велики? Что не получилось? Александр Васильевич был суров прежде всего к себе. Впервые он, Суворов, недооценил противника, дал ему свободу действий, потерял время. За это дорого пришлось заплатить.

Почему так и не удалось подключить к делу флотилию Мордвинова? Понятно, она подчинялась не ему, а Потёмкину. Нарушен был принцип единого командования. Суворов выделил морякам для доукомплектования более 1000 своих лучших солдат, но это не дало желаемого результата. Видно, у «академиков» (так Суворов иронично называл этих сухопутных адмиралов) не была полностью прописана диспозиция. В итоге турецкая эскадра доминировала в лимане и расстреливала в упор его войска. Своей артиллерии у Суворова было явно недостаточно. Пришлось компенсировать это героизмом русских солдат. И своим собственным. В этом его чудо-богатыри не подкачали. Повеление императрицы «спасти Кинбурн» было выполнено.

Понеся большие потери, турецкие сераскиры, видно, отказались от новой операции. Почти весь свой флот они отправили к югу на зимнюю стоянку. Неплохо бы воспользоваться этим и ударить на Очаков. Суворов решил немедленно поговорить по этому поводу с Потёмкиным.

НОВОИСПЕЧЁННЫЙ АНДРЕЕВСКИЙ КАВАЛЕР

После окончания Кинбурнского сражения пришли радостные вести. Светлейший князь горячо благодарил Суворова: «Я не нахожу слов изъяснить, сколь я чувствую и почитаю вашу важную службу, Александр Васильевич. Я молю Бога о твоём здоровье. Уверяю всех, что воздам каждому».

Сказала тёплые слова и императрица: «Чувствительны нам раны Ваши...»

По случаю победы при Кинбурне в Санкт-Петербурге были устроены торжества. Щедро были награждены все генералы, офицеры и солдаты, участвовавшие в этом сражении. Рядовому Степану Новикову за спасение жизни командира лично князем Потёмкиным была вручена серебряная медаль.

Суворову императрица пожаловала высшую награду России – орден Святого Андрея Первозванного с девизом «За веру и верность». К ордену прилагались знак с бриллиантами, цепь с эмалированными бляхами и широкая голубая лента через плечо. Суворов был горд этой наградой. Благодаря яркой голубой ленте кавалер ордена Андрея Первозванного был заметен издали. Такого ордена не имели даже многие именитые генералы, стоявшие в списке очередников на эту награду раньше Суворова.

Потёмкин, пересылая Александру Васильевичу знаки ордена, написал ему: «За Богом молитва, а за государем служба не пропадает. Поздравляю Вас, мой друг сердечный, в числе Андреевских кавалеров... Я всё сделал, что от меня зависело. Прошу для меня подумать об употреблении всех возможных способов к сбережению людей».

Суворов понял намёк главнокомандующего. Больше он никогда не даст слабинку противнику. Никогда нельзя ждать. Ни на минуту недопустимо терять управление сражением. Только в этом случае потери будут минимальны.

БИТВА В ЛИМАНЕ

В одну из тёмных ночей целая флотилия турецких кораблей вошла в Херсонский лиман. Её задачей было уничтожить русский флот и захватить Кинбурн.

Однако тяжёлые турецкие фрегаты не смогли свободно маневрировать в узком мелководном лимане. В особенности им было трудно галсировать при встречном ветре. Они тотчас были атакованы небольшими гребными галерами русских. Завязалось ожесточённое сражение. Особенно отчаянно действовали гребные ладьи донских казаков.

Турецкие корабли имели большой перевес в пушечном вооружении, но не смогли им воспользоваться в полной мере. Русские суда были более подвижны, их манёвры мало зависели от направления ветра. К тому же они имели хорошо подготовленный десант.

В результате морского боя 64-пушечный турецкий фрегат сел на мель и был взорван. А адмиральский флагманский корабль был взят на бордаж и захвачен в плен. Командующий флотом Гасан-паша чудом спасся, перебравшись на другой корабль.

В сумерках оставшиеся турецкие корабли попытались выйти из лимана. Вот тут-то и сказал своё слово молчавший до этой поры суворовский блок-форт. Все его восемь орудий внезапно открыли кинжальный огонь по судам противника. Артиллеристы Суворова потопили 7 кораблей, более 1000 человек было захвачено в плен.

Завершила разгром турецкого флота гребная эскадра Нассау-Зигена. Для большего эффекта он расстрелял повреждённые и севшие на мель корабли брандскугелями. Однако показная доблесть адмирала не ввела Суворова в заблуждение. Он так высказался по этому поводу: «Выиграл бой блок-форт. Нассау всего-то и поджёт лишь то, что уже разорили да пулями изрешетили».

Не удержался Александр Васильевич и от нравственной оценки происшедшего: «Слава бежит от того, кто за ней гоняется, а истина благосклонна к одному достоинству».

Парусная эскадра Поля Джонса так и не приняла участие в этом сражении. Причиной тому была медлительность адмирала. Основательный Поль Джонс слишком осторожничал, принимая плохо обученные сборные турецкие экипажи за доблестных английских моряков.

Позже Суворов так иронизировал по этому поводу: «Дон Жуан (так в шутку называл Суворов Джонса), храбрый моряк, прибыл, когда уже садились за стол. Да и то, наверное, потому, что надеялся найти тут англичан».

И тем не менее победа была блестящей. Суворов был очень горд, что и он принял участие в морском сражении.

«ГОРЖУСЬ, ЧТО Я РУССКИЙ!»

Суворов был истинно русским человеком. Не раз он с гордостью восклицал: «Горжусь, что я русский!»

Екатерина привлекала для службы в России иностранцев. Часто это были полезные для российской армии и флота люди. Однако некоторые из них не знали русского языка и не удосуживались его выучить даже на протяжении нескольких лет службы. Они разговаривали на французском языке, на котором было принято общаться при дворе и в высшем обществе. Во время ведения боевых действий незнание русского языка было недопустимо, так как солдаты и матросы не понимали своих командиров.

В Днестровском лимане командовавший гребной флотилией адмирал Нассау подавал команды по-французски, а матросы должны были их заранее заучивать. Это было нелегко, ведь большинство матросов были неграмотными. Кроме того, в бою часто возникали непредвиденные ситуации, для которых не были подготовлены соответствующие команды. Поэтому в самые ответственные моменты происходили заминки в выполнении команд, и даже возникало полное непонимание подчинёнными своих командиров.

Суворов осуществлял общее руководство боем. Ему подчинялась гребная флотилия. Когда он воочию увидел всю эту неразбериху, то был возмущён: «Берётся такой начальник в полный голос распоряжаться, а матросы слышат французскую речь словно от играющего свою роль актёра. При этом виден не сам актёр, а лишь одна его шляпа. А между тем даже я, командующий, ни единого слова, кроме зычного рыка, понять не могу. Я в бешенство пришёл! Я принуждён был распорядиться, чтобы все команды подавались через офицера-переводчика».

Но не только незнание русского языка препятствовало укоренению иностранных офицеров в русской армии. Им надо было ещё познать уклад русской жизни, постичь душу русского солдата. Не у всех это получалось. Суворов умел разговаривать с солдатами на их языке, он любил повторять: «Я не наёмник – я русский». Солдаты верили своему командиру и не задумываясь шли за ним.

СУВОРОВ СЕРДИТСЯ

Реляцию на всех отличившихся в битве при Херсонском лимане было поручено составить старшему морскому начальнику принцу Нассау-Зигену. В своём донесении адмирал подробно описал морское сражение и перечислил всех отличившихся. Принц «забыл» отметить участие в этом сражении только самого Суворова. По-видимому, он посчитал, что это было бы нарушением субординации. Ведь Суворов был его начальником и о результатах битвы сам всё доложил Потёмкину...

Однако реляция являлась официальным документом, который представлялся в Санкт-Петербург императрице. Поэтому Суворову очень хотелось, чтобы и его вклад в победу на море по достоинству был оценён самой императрицей.

Прочитав копию реляции адмирала, Суворов тут же написал Нассау-Зигену письмо, полное скрытой иронии и досады. «Ахиллес прославлен Гомером, Александр Македонский – Квинтом Курцием. Вольтер, правда, был историком похуже и промахнулся с Карлом XII. (Здесь Суворов имел в виду раннее произведение юного Вольтера «История Карла XII». – **В. Ш.**) Вы сами с собой обошлись ещё хуже. Ваша реляция не даёт о вас ни малейшего представления, это сухая записка без тонкости. Ошибки Гасан-паши указаны слишком грубо, унижая противника. Вы сами себя этим унизили. Россия никогда ещё не выигрывала такого боя. Вы – её слава! Я не придираюсь, я говорю правду.

Конечно, мы люди сухопутные, без парусов, но начать надо было так: «Заря ещё только занималась, когда я двинулся вперёд и бросил в атаку свой флот...» В середине написать: «Лучшие турецкие корабли были преданы огню...» А в конце – уже победно: «Лиман свободен, остатки неприятельских судов окружены моей флотилией...» Ещё лучше изложить этот подвиг в стихах: дактиль, спондей, александрийский стих – дабы усилить впечатление... Довольно, принц. Вы великий человек, но плохой художник. Не сердитесь».

Однако напрасно Суворов так нервничал. Проницательный Потёмкин прекрасно разобрался в обстановке. Он понял, какой вклад в победу внёс каждый из участников баталии. Потёмкин щедро наградил отличившихся, а Суворова похвалил особо: «Мой сердечный друг! Лодки бьют корабли, а пушки загораживают течение рек. Христос посреди нас!»

Для Суворова такое признание его заслуги явилось высшей наградой.

Дошло известие о доблести Суворова и до императрицы. Она так высказалась об этом сражении: «Тут с береговых батарей на Кинбурнской косе много вреда неприятелю сделал Суворов».

И хотя Суворов не получил награды за битву в лимане, его вклад в победу не пропал втуне. Он по достоинству был оценён позже.

Что касается принца Нассау-Зигена, то Суворов раскусил его амбициозность и авантюризм. Вскоре гребная флотилия, которой командовал принц уже на Балтике, потерпела сокрушительное поражение от опытных шведов. Суворов не без злорадства так прокомментировал это событие: «Принц Нассау побит ветром, недоразумением сигналов и невежеством построения линии».

На этом военная карьера этого «царедворца без дворов, воина всех лагерей, рыцаря всяческих приключений» в России закончилась.

Судьба Поля Джонса в России также не сложилась. Ей помешали интриги того же Нассау, которому удалось поссорить Джонса с Потёмкиным. Через три года и он, разочарованный, покинул Россию.

Зато прогремел своими победами над турецким флотом в Керченском сражении, у мыса Тендра и при Калиакрии русский флотоводец Фёдор Фёдорович Ушаков.

ПОКУШЕНИЕ НА ОЧАКОВ

Победа при Кинбурне явилась хорошим началом войны. Однако Екатерина II надеялась на дальнейший успех. Она писала Потёмкину, что, несмотря на эту победу, «дело нельзя считать обеспеченным, пока Очаков не будет в наших руках».

Потёмкин считал, что такую сильную крепость, как Очаков, можно взять только планомерной, правильной осадой. А для этого была необходима длительная и серьёзная подготовка.

Зимой 1788 года у Суворова возник свой план овладения Очаковом. С суши крепость была хорошо защищена. Но со стороны моря, как донесла разведка, крепость находилась в плохом состоянии и могла не устоять против сильной атаки. Суворов предлагал, воспользовавшись тем, что турецкий флот убыл на юг, ввести в бухту корабли и огнём корабельной артиллерии разрушить южную стену крепости: «Бить брешь с флота в нижнюю стену. Успех, штурм». Затем немедленно подвезти на судах войска и ворваться в город.

Потёмкин не готов был к таким быстрым и решительным действиям. Он посчитал такой план неприемлемым. Светлейший указал Суворову: «В настоящем положении я считаю излишним покушение на Очаков без совершенного обнадёжения в успехе. И потеря людей, и ободрение неприятеля могут быть следствием этого дерзновенного предприятия. Поручая особенному вашему попечению сбережение людей, я надеюсь, что Ваше высокопревосходительство, будучи руководимы благоразумием и предосторожностью, не поступите ни на какую неизвестность».

Однако не в характере Суворова было сразу отказываться от своих предложений. Идея штурма крепости с моря захватила его. Он вынашивал её долго и однажды под большим секретом поведал её морским начальникам Нассау и Корсакову. Они одобрили план Суворова, решили действовать сообща и при случае опробовать прочность южной стены крепости.

Однако Потёмкину вскоре стало известно об этом плане. Он выразил Суворову своё неудовольствие и потребовал от него объяснений. Суворов повинился и оправдывался тем, что это всего лишь предложение, а не сами действия. На это Светлейший ответил: «Я на всякую пользу руки тебе развязываю, но касательно Очакова попытка твоя неудачная

и даже вредная. Очаков непременно взять должно, но я употреблю всё, чтобы достался он дёшево».

После битвы в лимане, когда была уничтожена основная часть турецкой эскадры, создалась благоприятная обстановка для круговой осады крепости. Потёмкин начал готовить покушение на Очаков. Для этого он обложил крепость с суши и блокировал её с моря. В центре осады действовал генерал Репнин, на правом фланге – генерал Меллер. Суворов получил левофланговый участок.

Вскоре после прибытия Суворова к стенам Очакова произошла вылазка из крепости большого турецкого отряда. Вылазка случилась на участке Суворова. В его распоряжении было около 2300 человек. В авангарде стоял небольшой пикет бугских казаков. Янычары по лощине пробрались к расположению казаков и внезапно напали на них. Силы были неравные, и казаки с потерями отступили. Им на помощь Суворов бросил гренадерский батальон и сам повёл его в атаку.

Гренадеры оттеснили противника до самой земляной насыпи, где турки заняли оборону. К ним двинулись резервы – пехота и конница. К Суворову подошёл второй батальон и ударил в штыки. Русские ворвались в сады, прилегающие к крепости. В это время прибыл гонец от Потёмкина и передал приказ немедленно отступить. Но, разгорячённый боем, Суворов оставил его без ответа. Он ещё надеялся развить успех.

Бой приобретал всё большее напряжение. (Турки задействовали в этой вылазке более 3000 человек.) Последовали ещё два приказа Потёмкина о прекращении боевых действий. Но и они не смогли унять пыл Суворова, который сам был в первых рядах наступающих. В это время он был тяжело ранен в шею. Его вынесли с поля боя. Суворов успел передать командование генералу Бибикову и приказал ему возвращаться.

Турки воспользовались заминкой и сами перешли в контратаку, но после подхода к русским значительного подкрепления отступили и укрылись в крепости. Потери с обеих сторон были большие.

РАЗМОЛВКА С ПОТЁМКИНЫМ

Потёмкин не пожелал поддержать успех Суворова. Наоборот, он тут же выразил ему своё неудовольствие в резкой форме: «Солдаты не так дёшевы, чтобы ими жертвовать по пустякам. К тому же мне странно, что Вы в присутствии моём делаете движения без моего приказания».

Потёмкин был недоволен непослушанием Суворова, но ещё больше он был раздражён вмешательством в его компетенцию главнокомандующего. Попыткой ворваться на плечах басурман в крепость Суворов хотел инициировать начало штурма. Это задевало самолюбие Светлейшего князя, который хотел доказать, что он, между прочим, являлся не только наместником, но и полководцем.

Рана Суворова оказалась неопасной, но очень болезненной. Последовали обмороки, нарушилось дыхание. Но ещё большие страдания ему доставляли чувство вины за неудачный бой и немилость Потёмкина. Александр Васильевич пытался оправдаться: «Не думал я, чтобы гнев Вашей светлости столь далеко простирался. Я всегда старался своим простодушием его утолять. Коли Вы не можете победить Вашу немилость, то удалите меня от себя. В неисправности моей готов встать перед Божьим судом. Но милости Ваши, где бы я ни был, везде помнить буду. Остаюсь с глубочайшим почтением».

Впрочем, немстительный Потёмкин в официальной реляции об этом бое ни в чём не упрекнул Суворова, хотя их отношения были испорчены.

С разрешения Потёмкина Суворов уехал лечиться в Кинбурн, где и находился до конца операции под Очаковом. Он остался убеждённым сторонником штурма. Ничего с собой он поделаться не мог и об этом прямо писал Потёмкину: «Всякий имеет свою систему по службе, так и я мою. Мне не переродиться, и поздно уже».

Осада Очакова продолжалась, но она не давала положительных результатов. Осаждённые имели достаточный запас продовольствия и боеприпасов. А русские, наоборот, жили в землянках и нуждались во всём. Пришли зимние холода, и среди солдат начались болезни. Лошади гибли от бескормицы.

В начале зимы Потёмкин наконец решился на штурм крепости. Он состоялся 6 декабря и закончился взятием крепости в тот же день. Операция была проведена блестяще, но она не оказалась «дешёвой». Противник потерял до 10 тысяч убитыми и более 4 тысяч пленными. Потери русских составили около 1 тысячи убитыми и 1,8 тысячи раненых. Эти события показали, что в своём решении штурмовать Очаков Суворов был прав.

Виктор ТОТФАЛУШИН

Виктор Петрович Тотфалушин родился в 1954 году в Саратове, в семье военнослужащего. Окончил исторический факультет СГУ (1976). В 1976–1979 гг. – учитель истории средней школы, затем вожатый Всероссийского пионерского лагеря ЦК ВЛКСМ «Орлёнок»; с 1979-го по настоящее время – ассистент, старший преподаватель, доцент СГУ. Кандидат исторических наук, автор более 300 учебных и научных работ.

«ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ»

В дореволюционной России особой популярностью пользовались силовые виды спорта. Ведь не случайно былины Древней Руси воспели своих богатырей – Святогора, Микулу Селяниновича, Илью Муромца и других. Одним из любимых и распространённых видов народных развлечений была борьба по-русски (обхватив друг друга руками крест-накрест), или поясная борьба, в которой позднее обыкновенный кушак заменил специальный пояс с двумя прикреплёнными к нему ручками.

Официальной датой возникновения любительской спортивной борьбы считается 1895 год, когда в Петербурге, в кружке любителей тяжёлой атлетики, стали заниматься борьбой. Из него вышли В. Пытлясинский, занявший в 1889 году на чемпионате мира в Париже второе место, Г. Гаккеншмидт, первый выходец из России, ставший чемпионом мира (1901), И. Лебедев и многие другие.

Первый Всероссийский любительский чемпионат был проведён в 1897 году в Петербурге. В следующем году состоялся Второй Всероссийский чемпионат, в котором наряду с любителями участвовали и профессионалы. В дальнейшем состоялось ещё пять первенств России (в 1899, 1913, 1914, 1915-м – дважды). В IV Олимпийских Играх (1908) в Лондоне русские борцы Н. Орлов и А. Петров заняли второе место в лёгком и тяжёлом весе. В V Олимпийских Играх (1912) в Стокгольме участвовали 10 русских борцов.

Одновременно с любительской борьбой в России развивалась борьба профессиональная. Этому способствовало обращение цирка в конце XIX века к спорту, когда обычным явлением стали выступления на цирковых аренах силачей, борцов и гимнастов. Впервые борьба была показана в Петербурге в цирке Чинизелли³ в 1887 году, а в 1894-м в том же цирке состоялось состязание по французской борьбе⁴ профессионалов и любителей. Журналист «Новостей дня» писал о них так: «Посещается цирк рабочими, особенно усиленно в дни, когда в цирке устраивается борьба атлетов».

Дальнейшее развитие борьбы привело к её обособлению в форме международных чемпионатов. Впервые в России такой чемпионат был объявлен в цирке Чинизелли в 1904 году, после чего соревнования по борьбе заняли заметное место на цирковых аренах. Причём начиная с 1907 года стали проводиться и чемпионаты по женской (дамской) борьбе.

Соревнования проходили не только в лучшем в России петербургском цирке «Модерн» и саду Попечительства о народной трезвости, но и в городских театрах Одессы и Ставрополя, в парках Пензы и Оренбурга, не говоря уже о многочисленных балаганах по всей России. Борцы, как правило, не входили в состав цирковой труппы: первые два отделения шла цирковая программа, третье – отводилось борьбе.

³ Цирк, основанный Гаэтано Чинизелли (1815–1881) и считающийся «родоначальником» Санкт-Петербургского цирка.

⁴ Сегодня греко-римская (классическая) борьба – европейский вид единоборства, в котором спортсмен должен с помощью определённого арсенала технических приёмов вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к коврику.

В соревнованиях принимали участие борцы как из России, так и из других стран. Чтобы понять, насколько захватывающими и профессионально организованными были чемпионаты, достаточно назвать наиболее популярных его участников: эстонских богатырей Георга Гаккеншмидта, Георга Луриха и Александра Аберга, казахского силача Хаджимукана Мунайпасова, кавказцев Коста Майсурадзе и Сали Сулеймана, знаменитого Ивана Поддубного, Петра Крылова, Ивана Шемякина и Николая Вахтурова. Кроме того, в соревнованиях участвовали сибирский силач Терентий Корень и вятский крестьянин-великан Григорий Кащеев. На арене появлялись также венгр Чая Янош, поляк Станислав Збышко-Цыганевич, француз Рауль ле Буше, голландец Маринус ван Риль и другие ставшие знаменитыми в России иностранцы.

Любой человек из публики в те годы мог вызвать на поединок ту или иную знаменитость, и случалось, именно любитель, на радость публике, одерживал победу. Участники цирковой борьбы не имели деления на весовые категории. Боролись все со всеми. Также она отрицала ничьи, засчитывались только победы и поражения. Первая схватка обычно шла 20 минут, вторая – 40, третья, бессрочная, – до результата. Победитель должен был заставить противника не только коснуться ковра, но и удержать его на лопатках на протяжении трёх-четырёх секунд. Победителей в схватках на ковре определяло жюри из публики и представителей спортивной общественности.

Превращению чемпионатов в яркие театрализованные представления способствовал знаменитый атлет, талантливый журналист и писатель И. В. Лебедев (Дядя Ваня). Борьба и атлетические номера непременно сопровождалась музыкой. Главным в этих состязаниях был не результат, а тщательно отрепетированное и мастерски подготовленное зрелище. Все поединки были расписаны наперёд: и результат, и даже применяемые приёмы. Борьба с заранее предreshённым результатом называлась шике. Ей противостоял бур – реальная схватка. Бывали и сбои: в азарте схватки один из противников мог начать «бурить», т. е. перейти от шике к буру.

Борцы делились на «чемпионов», «апостолов» и «яшек». Чемпионы, наделённые большой силой и владеющие техникой борьбы, претендовали на призовые места. Апостолы – фактурные борцы с хорошими фигурами – давали возможность чемпионам проявить свою квалификацию. Яшки, иногда презрительно именуемые «подкладкой», были старики или неопытные молодые борцы, которым предписывалось ложиться на лопатки.

Добавляло в представление элемент загадочности то, что в состязаниях непременно участвовал таинственный борец в маске («под чулком», «под шапито»), которую он обязан был снять, если оказывался побеждённым. Заинтригованные зрители на протяжении всего чемпионата пытались угадать, кто же на этот раз скрывается под ней.

В конце чемпионата, после вручения денежных премий и медалей, иногда «на сладкое» устраивали конкурс красоты мужского тела, в котором принимали участие как профессионалы, так и любители. Уже в те далёкие времена русские атлеты придавали значение не только развитию силы мышц, но и формированию безупречной фигуры.

Первые сведения о занятиях любительской борьбой в Саратове относятся к весне 1901 года. Журнал «Спорт» сообщал: «В Саратове открылась атлетическая школа французской борьбы и бокса <...> Школа эта вовсе не готовит цирковых атлетов...» Занятия в школе проходили три раза в неделю, с 8 до 11 часов вечера, в присутствии врача. От желающих поступить в школу требовалось медицинское свидетельство о состоянии здоровья. Несмотря на то, что стоимость «полного курса» занятий составляла 25 рублей, в то время её посещали 20 человек. К сожалению, в анонимной заметке не были указаны место расположения школы и персональный состав участников.

В 1909 году в городе был организован кружок любителей тяжёлой атлетики и борьбы. Среди первых его членов были П. Комаров, К. Эрастов, Н. Ершов, П. Храмов, В. Начанкин, П. Желтов, братья Климачёвы, П. Малахов и др. Со временем стали устраиваться и соревнования. Например, журнал «Русский спорт» сообщал, что 20 марта

1910 года в Саратове предполагается гимнастический вечер с призами, а «по окончании гимнастики любителями будет устроена борьба».

5 октября 1914 года «Русский спорт» сообщил, что на днях в Саратове состоялось учредительное собрание отдела Общества «Санитас»⁵, на котором выяснилось, что можно снять помещение и с 10 октября начать занятия по борьбе, боксу, поднятию тяжестей и лёгкой атлетике. Однако очевидно, оно так и не начало функционировать, ибо 15 ноября 1915 года тот же журнал писал, что «в настоящее время в Саратове нет ни одного тяжелоатлетического общества...», но в скором времени предполагается открытие отделения Петроградского общества «Санитас». «Главные инициаторы – киевские спортсмены, во главе с чемпионом-любителем французской борьбы южного края Соколовым и киевским гиревиком Красовским».

1 ноября 1915 года в журнале «К спорту!» появилась информация о том, что проходящий в Саратове цирковой чемпионат «побудил саратовцев заняться борьбой – теперь организуется в театре «Свет»⁶ любительский чемпионат». Вслед за этим «известный саратовский спортсмен Б. З-ын» предложил провести в начале декабря 1915 года любительский чемпионат по французской борьбе среди саратовских учебных заведений, ограничив количество участников четырьмя представителями от заведения. Эта идея нашла поддержку, и «многие приступили к тренировкам».

В 1900-е годы чемпионаты по французской борьбе были широко представлены в цирках, которые гастролировали в Саратове. В 1899 году на арене цирка Труцци⁷ впервые в Саратове выступал прославленный русский борец, впоследствии чемпион мира Иван Поддубный. Осенью 1909 года чемпионат по борьбе привёз цирк Фаруха⁸. В июне 1911-го чемпионат по французской борьбе прошёл в цирке А. Сура, затем состоялся новый чемпионат, организованный П. Д. Ярославцевым, в котором первый приз завоевал А. Богатырёв, второй – С. Бамбула, третий – И. Спуль. А уже 3 июля «Русский спорт» сообщил, что в Саратове «сейчас подвизается дамский чемпионат французской борьбы; участвуют 14 дам-борцов».

Почти ежегодно в Саратове гастролировал «Первый русский цирк Братьев Никитиных». В нём в течение шести лет проработал бывший волжский крючник и будущий чемпион России Иван Заикин, проживший несколько лет в Саратове и Царицыне. Начиная с 1902 года он, как вспоминал сам, «объездил всю Волгу...» На арене Заикин носил на плечах якорь весом в 25 пудов⁹, на его плечах гнули железную балку и даже ломали телеграфный столб. Заикин выходил на арену под песню «Эх, дубинушка, ухнем...», в русской рубахе и лаптях, и на плечах нёс огромную бочку, которую обносил кругом арены. Затем он её снимал и рассказывал публике свою биографию – как из грузчиков саратовской пристани попал на арену и сделался чемпионом мира.

В годы Первой мировой войны, когда программа гастролей перестала быть насыщенной и многообразной, как раньше, т. к. транспорт работал на войну и привозить аттракционы и номера со сложным оборудованием и реквизитом, дрессированными животными было весьма сложно, французская борьба стала занимать большую часть представления.

Состав и уровень чемпионатов, привозимых в Саратов, существенно отличались. Например, в цирке Фаруха (осень 1909 года) он был «очень слабый по составу борцов».

⁵ Общество физического развития «Санитас» было создано в Петербурге в 1912 году Людвигом Адамовичем Чаплинским. Позднее его отделения появились во многих городах России.

⁶ Речь идет о синематографе «Свет», находившемся на Никольской (ныне Радищева) улице, близ Никольской дамбы, т. е. почти в Глебуцевом овраге.

⁷ Цирк Максимилиано Труцци (1833-1899), основанный в 1880-х годах.

⁸ Цирк-балаган Гаджи Гафара оглы Фаруха (1855-1936).

⁹ Пуд – устаревшая единица измерения массы русской системы мер, равная 16,3804964 кг.

На арене боролись японец Оно, негр Том Соьер, кавказец Цирадзе, саратовец Филимонов и др. И, конечно, чемпионат не обошёлся без «масок», которых было сразу две: «Чёрная маска № 7777» и «Красная маска».

Они привлекли внимание публики, и представление, в рамках которого была назначена борьба двух «масок» без срока и до победы, прошло при полном аншлаге: «Не только все места были проданы, но и заняты все проходы». На 30-й минуте «Чёрная маска» была побеждена, снята, и борец назвался «Ван Рилем из Голландии», но, как сетовал корреспондент, «вернее, что и не то, и не другое!» Организаторы, по его словам, сорвали хороший куш, «а уважение к публике» – «эта прописная истина устарела...»

В дальнейшем «поддельный Ван Риль» продолжил «добросовестно вытирать своими лопатками арену цирка Фаруха», но, «несмотря на подозрительный состав чемпионата, публика посещала его охотно».

А вот чемпионат в цирке А. Д. Горец, проходивший в октябре 1915 года, «завоевал общие симпатии публики, усердно посещающей борьбу. Состав большой, много имён, масок и т. д., так что публика заинтересована финалом». В параде чемпионов было 24 борца, в том числе такие прославленные атлеты, как П. Крылов, Б. Гаккеншмидт и К. Буль. 11 октября чемпионат завершился. По его итогам первый приз (1000 рублей), большую золотую медаль и звание чемпиона Саратова на 1915 года завоевал чемпион мира Клеменс Буль. Второй приз (600 рублей), малая золотая медаль и диплом достался чемпиону мира Петру Крылову, третий приз (500 рублей) и серебряную медаль получил Шевалье де Риддер, четвёртый приз (400 рублей) и бронзовую медаль взял чемпион мира Бруно Гаккеншмидт.

Другим видом русских единоборств были кулачные бои: «стенка на стенку», «свалка-сцеплялка», «сам-на-сам». В «стенке на стенку» принимали участие команды, построенные в шеренгу – «стенку». Несколько бойцов, участвовавших в «свалке-сцеплялке», сражались каждый за себя. Поединок двух кулачных бойцов «сам-на-сам» был известен ещё в Киевской Руси не только как часть праздничных гуляний, но и как один из методов судебного разбирательства. Со временем из кулачного боя развился бокс, который как вид спорта был официально признан в Англии ещё в 1719 году.

В России бокс начал развиваться в конце XIX века, во многом благодаря усилиям поручика 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка барона М. Кистера, который в 1894 году опубликовал первый самоучитель по боксу «Руководство с рисунками. Английский бокс». 15 июля 1895 года на подмосковном Ходынском поле, в лагере полка Кистера, были проведены первые официальные соревнования по боксу. Победителем стал Сергей Ломухин, второе место занял Михаил Кистер, третье – Николай Васильев. Эта дата и считается днём рождения русского бокса.

В 1896 году Кистер открыл спортивный клуб «Арена», где занимались тяжёлой атлетикой, борьбой и боксом. Позднее секции, кружки и группы бокса появились в Петербурге, Одессе, Севастополе, Харькове, Смоленске, Мариуполе и других городах Российской империи.

В 1913 году в Петербурге впервые было разыграно Первенство страны. Его инициатором стал И. Граве, опубликовавший в газетах вызов всем боксёрам России. Его приняли три спортсмена из Петербурга: А. Куделька, И. Авксентьев и Н. Лушев. Победителем турнира и первым чемпионом России по боксу стал Иван Граве. В 1915 году в спортивном обществе «Санитас» (Москва) были разработаны первые в России правила проведения боксёрских поединков, а в 1915 и 1916 годах прошли очередные чемпионаты России, в которых приняли участие боксёры Москвы, Петербурга и Киева.

В Саратовской губернии среди простонародья, по воспоминаниям члена спортивного общества «Гигант», а впоследствии доцента СГУ И. С. Гольца, широко были распространены «лапта, городки и особенно – массовые кулачные бои», причем не только в деревнях, но и в городах. Например, «Саратовский листок» 14 февраля 1901 года сообщал, что в Хвалынске ещё сохранялся обычай на масленицу собираться «на кулачки»,

когда жители разбиваются на две команды, идут «стенка на стенку» и бьются без перерыва по несколько часов. Та же газета в 1911 году рассказывала о кулачных боях в с. Липовка, которую река разделяет на две равные части. Стороны сходились у моста и вступали в «бой» с целью им овладеть. Причем победившая сторона преследовала побеждённую по улице версту и более.

Первые сведения о занятиях в Саратове боксом относятся к весне 1901 года, когда в городе открылась атлетическая школа. Журнал «Спорт» сообщал, что здесь «бокс есть не что иное, как род фехтования, т. е. простое гимнастическое упражнение...»

5 октября 1914 года «Русский спорт» сообщил, что на днях в Саратове состоялось учредительное собрание отдела Общества «Санитас», в котором руководителем занятий по боксу был избран один из лучших русских боксёров К. Иванов. А 1 ноября 1915 года появилась информация о том, что «ученики 2-й мужской гимназии начали заниматься боксом». Таким образом, бокс в то время (в отличие от кулачных боев) широкого распространения в Саратовской губернии не получил.

Параллельно с единоборством шли состязания в силе. На всех игрищах, ярмарках и гуляниях устраивались турниры по поднятию и переноске тяжестей (брёвен, наковален, камней, весовых гирь). С появлением цирков в России зародилась и стала пользоваться исключительной популярностью профессиональная тяжёлая атлетика. В окончательно созревших спортивных формах она была перенесена в манеж приблизительно в 1880-е годы. Наиболее известными атлетами, постоянно конкурировавшими между собой, были В. Моор-Знаменский и С. И. Дмитриев-Морро; с атлетическими номерами выступали также В. Пытлясинский и Г. Гаккеншмидт.

Атлеты рвали цепи, из полосового железа вязали «галстуки» и «браслеты», поднимали лошадь с всадником, выжимали штангу, в полых шарах которой помещалось по человеку, ломали подковы и гнули монеты. Особо популярен был номер «Адская кузница», когда на грудь атлета ставили наковальню, и на ней кузнечными молотами ковали железо или же разбивали громадный камень. В 1894 году в «Приволжском вокзале»¹⁰ Саратова выступала дама-геркулес Эмма, которая творила чудеса.

Поскольку цирк был излюбленным местом досуга не только подростков, но и взрослой части населения, выступления атлетов заставляли зрителей подражать им, однако любительский тяжелоатлетический спорт в России заявил о себе достаточно поздно. Официальным днём рождения тяжёлой атлетики в нашей стране считается 10 августа 1885 года, когда в Петербурге, на квартире доктора В. Ф. Краевского, профессиональный атлет, цирковой артист из Берлина К. Эрнст продемонстрировал упражнения с тяжестями. Зрители тут же высказали пожелание об учреждении в Петербурге кружка атлетов.

Он обосновался непосредственно на квартире Краевского, где в специально оборудованном помещении собирались и вели тренировки члены кружка, число которых достигало 70. Желających заниматься было во много раз больше, но Краевский вынужден был отказывать из-за отсутствия места. В 1888 году по инициативе «кружка» были проведены Всероссийские соревнования по поднятию тяжестей, первое место на которых занял Г. Гаккеншмидт.

30 января 1897 года состоялось торжественное открытие Петербургского атлетического общества. Инициатором его создания, меценатом и председателем стал граф Г. И. Рибопьер. По его инициативе и при активной поддержке Краевского в том же 1897 году был разыгран первый в истории чемпионат России по тяжёлой атлетике. Тогда на помост вышли всего шесть человек: трое петербуржцев, двое рижан и один уфимец. В программу соревнований включался ряд обязательных упражнений, а затем каждый участник демонстрировал свои «коронные» номера. Первым чемпионом России стал член Петербургского атлетического общества Гвидо Майер.

¹⁰ Летний театр купца Г. И. Барыкина «Приволжский вокзал» был открыт в 1872 году при трактире, он находился на углу Бабушкина взвоза и Большой Сергиевской улицы.

Чемпионат следующего года привлёк уже 10 участников, но практически свёлся к дуэли Г. Гаккеншмидта и С. Елисеева. Тогда победителем стал Георг Гаккеншмидт, но в чемпионатах 1899 и 1890 годов побеждал уже Сергей Елисеев.

В 1898 году Краевский реорганизовал свой узкий по программе занятий кружок в Петербургское велосипедно-атлетическое общество. Многие его члены впоследствии стали активными популяризаторами профессионального тяжелоатлетического спорта. В результате новые кружки любителей тяжёлой атлетики возникли в Москве, Киеве, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринославе и других городах.

В 1901 году был сделан новый шаг в организации Всероссийских соревнований по тяжёлой атлетике. Были введены предварительные испытания для атлетов в присутствии специальной комиссии. Невыполнение минимальных норм лишало спортсмена права участия в соревнованиях. Правилами запрещалось устанавливать начальный вес в соревнованиях ниже нормы предварительных испытаний. Во время соревнований атлет выполнял подряд три попытки с интервалами не больше пяти минут. В случае неудачи разрешалось сбавить первоначальный вес. Помимо упражнений в жиме, рывке и толчке одной и двумя руками, разрешались так называемые «вольные движения», в которых также фиксировались рекорды.

Большинство учеников после смерти В. Ф. Краевского (1901) покинуло общество. Наступила пауза, продолжавшаяся несколько лет, и только в 1908 году произошло заметное оживление. В Петербурге была создана тяжелоатлетическая лига, возглавившая деятельность всех спортивных клубов и кружков. Среди них следует отметить такие, как «Петербургское атлетическое общество», «Геркулес-клуб», «Санитас» – в Петербурге; «Арена Морро-Дмитриева», «Замоскворецкий клуб спорта», «Санитас» – в Москве; «Марс» – в Риге; «Калев» – в Таллине. Российские атлеты выступили с показательными номерами на Олимпиадах 1908 и 1912 годов (в программу этих Игр тяжёлая атлетика не входила), а с 1910 года возобновились Всероссийские чемпионаты силачей.

Этапным стал 1913 год, когда в России возник Всероссийский союз тяжёлой атлетики, который утвердил официальную таблицу рекордов России в поднятии тяжестей. В том же году Россия вошла во Всемирный союз тяжёлой атлетики, организованный в Стокгольме в 1912 году. Тогда же Союзом была составлена первая официальная таблица мировых рекордов, в которую включили 40 видов упражнений со штангой и гирями. К этому времени России принадлежало 17 рекордов, установленных одиннадцатью нашими атлетами – С. Елисеевым (4), Г. Лурихом (3), П. Крыловым (2), Н. Вахтуровым, Г. Гаккеншмидтом, А. Геппнером, А. Калле, И. Лебедевым, Е. Певень, И. Поддубным и И. Померанцевым.

Значительным событием в спортивной жизни нашей страны стали Всероссийские олимпиады, состоявшиеся в 1913 и 1914 годах в Киеве и Риге. Участники тяжелоатлетических соревнований Олимпиады 1913 года выступали в трёх весовых категориях, а на Всероссийской Олимпиаде в 1914 году соревнования проводились уже в пяти весовых категориях. Осенью в Петербурге в знак заслуг наших атлетов назначили проведение очередного Первенства мира, но ему не суждено было состояться: началась война. Своё последнее Первенство атлеты дореволюционной России разыграли в 1915 году.

В начале 1900-х годов атлетическую арену организовал в Царицыне любитель велосипедного спорта и тяжёлой атлетики К. И. Меркурьев, один из совладельцев богатой нефтяной фирмы «Братья Меркурьевы и К^о». На территории Саратовской губернии тяжёлая атлетика не получила широкого распространения.

Осенью 1914-го в рамках благотворительной акции в пользу раненых, которая проходила на Саратовском ипподроме¹¹, состоялась «демонстрация тяжёлой атлетики лучшими саратовскими атлетами: Комаровым, Калчиным, Муромцевым и Федотовым.

¹¹ Ныне на этом месте стадион «Локомотив».

Особенно выделялся фигурой и привлёк внимание публики своей работой П. Комаров, выполнивший, в числе многих, следующие номера: рывок штанги (158 фунтов¹²) правой рукой; номер Чаплинского с этой же штангой в левой и с двойником в правой (тянет на бицепс)».

А осенью 1915 года в Саратове должно было состояться учредительное собрание отдела общества «Санитас», в котором предполагались занятия по борьбе, боксу, поднятию тяжестей и лёгкой атлетике.

В дальнейшем политические события оборвали дореволюционную историю борьбы, бокса и тяжёлой атлетики в Саратове, и новый импульс они получили уже после Октября, когда началась новая эпоха в истории российского спорта. Однако, несмотря на отсутствие массовости и высоких спортивных результатов, дореволюционный период стал важной вехой в истории становления занятий этими видами спорта в Саратове и регионе.

¹² 158 фунтов равны 64,7 кг.

Михаил МУЛЛИН

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Елена Гаазе. Самая яркая звезда. Повесть о докторе Гаазе. – Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2014.

«Жил в Москве добрый человек – все его знали». Так, удивительным по простоте и информативной ёмкости предложением начинается книга. Если учесть, что издание рассчитано прежде всего на детей, то придётся признать: начало превосходное – так ныне, увы, уже почти никто не пишет! А продолжение текста: «Одни думали, что он чудака и глупец, а другие называли святым» – так же просто, но какова – сразу – характеристика героя! Автор без пустословия и стилистических «красот-выкрутасов» «берёт быка за рога». А третье предложение: «Понятно, что каждый судил о нём в меру *своей* (здесь и далее выделено мной. – М. М.) *большой или маленькой души*» – характеристика (образ) сразу бесчисленного множества людей! И читатель тут выбирает – кто он, к какой категории душ относится. К счастью, у детей души не испорчены и, стало быть, маленькими не бывают. Зато уж юный читатель, несомненно встав на сторону героя книги («Звали этого «святого чудака» Фёдор Петрович Гааз»), делает нравственный выбор, развивающий его душу, которая потом мельчать уже не захочет. Таков педагогический (прикладной дидактический) эффект от чтения текста.

Это о языке, стиле и нравственном наполнении книги. А о содержании можно сказать, что оно очень интересно.

Увы, не все знают, кто такой доктор Гааз. Такая «потеря памяти» говорит не в нашу пользу и не безвредна. А те, кому Фёдор Петрович известен, знают в основном только «в общих чертах», что он был подвижником, бесплатно лечил бедных, заодно помогая им материально, и, главным образом, известен его девиз: «Спешите делать добро». («...и в своей жизни руководствовался девизом: «Спешите делать добро») В книге же сообщается, что знаменитый и, наверное, самый любимый (при жизни) русскими людьми доктор Фридрих Йозеф Гааз был немцем не только по крови, но и по месту рождения. Появился на свет в многодетной семье аптекаря в сказочно красивом немецком городе Бад-Мюнстерайфеле, «...рос одарённым, впечатлительным мальчиком. Благочестивые родители всех восьмерых своих детей растили ревностными христианами». Учился Фридрих отлично, окончил католическую школу, университет, завершил медицинское образование в Вене. В девятнадцать лет был образованнейшим человеком – математиком, философом, богословом и успешным практикующим врачом-офтальмологом. Русский дипломат Репнин уговорил его приехать в Россию. Здесь талант и ответственность Гааза быстро обеспечили ему карьерный взлёт, богатство, уважение. «Жизнь обещала быть на редкость счастливой и безоблачной. Но...

Но однажды в качестве главного тюремного врача он попал в камеру одной из московских тюрем и увидел такое безысходное человеческое горе и отчаяние, что ему показалось, будто он попал в преддверие ада. В то же мгновение увиденное перевернуло его жизнь, заставило отдать её всю без остатка служению униженным и оскорблённым».

И вот статский советник и кавалер ордена св. Владимира, ездивший в карете, запряжённой четвёркой орловских белоснежных рысаков, наживший к тому времени шикарный собственный дом, картинную галерею, дорогую библиотеку, подмосковное

имение со ста душами крепостных, суконную фабрику, всё отдал людям, которых возлюбил больше себя!

В повести рассказывается, как доктор Гааз *«работал св. Николаем, или Санта Клаусом»*, например, вдове, оставшейся с двумя детьми без средств к существованию, сначала трижды подбрасывал на окно полотняный мешочек с деньгами, а потом, как появилась возможность, нашёл для неё работу учительницы; как добился открытия ремесленных мастерских и школы для детей каторжников, «пристраивал» в семьи детей-сирот, открыл больницу для нищих. Главный же подвиг Фёдора Петровича состоит в том, что он вложил почти все свои средства и силы в реформирование пенитенциарной системы России, чем избавил заключённых от ненужных трудностей и помог им сохранить здоровье.

Он одинаково хорошо относился к людям, независимо от их социального положения, вероисповедания, нацио-нальности, согласно евангельскому «нет ни эллина, ни иудея, ни скифа». Скажем, еврейский мальчик, оставшийся без родителей, почти не говоривший по-русски, стал для доктора вроде приёмного сына. Гааз окрестил его в латинскую (свою) веру, сам об-учал его и сделал замечательным доктором. Каторжанам «в дорогу» покупал (специально заказывая особые – долго не черствевшие) булки и пироги, снабжал идущих по этапу апельсинами, орехами. *«Они для меня не преступники, а прежде всего страдальцы»*, – объяснял доктор свою заботу. *«К самым злодеям-душегубам в камеру заходил, беседовал, наставлял. Провожал их по несколько вёрст по этапу хоть зимой, хоть летом»*. Как доктор и христианин он сострадал действительно. Например, заметив, что кандалы до язв натирают ноги и руки конвоируемых, создал для них особые кандалы – более лёгкие и... обитые изнутри кожей! Сам их на себе испытал и добился «внедрения» своего изобретения!

Интересно узнать, что первые годы жизни в России Фёдор Петрович (так его стали называть) говорил на немецком, французском, латинском языках. Рядом с ним всегда находился переводчик. Потом по-русски стал не только говорить, но даже и думать. Скоро он достиг славы одного из лучших докторов Москвы. Сама императрица Мария Фёдоровна, занимавшаяся благотворительностью и курировавшая, как ныне бы сказали, «социальные программы», предложила Гаазу возглавить Павловскую больницу.

Всех его заслуг перед Россией и русским народом не перечислить. Возможно, русским он ощутил себя на дорогах войны с Наполеоном. Ведь он стал тогда военным хирургом и видел русское мужество, подлинное христианство идущих на смерть с молитвой, улыбкой, песней. *«В боях под Смоленском и на Бородинском поле он становился русским, со скальпелем в руках он отстаивал **свою родную** землю»*. Его восхищали русские обычаи – например, Прощёное Воскресенье, когда **все у всех** просят прощения.

Между прочим, Фридриху Гаазу и мы обязаны – по сей день! Ведь именно он изучил полезные свойства минеральных вод у горы Машук, написал книгу о её качествах. Книга стала тогда бестселлером для медиков. Выходит, доктору Гаазу мы обязаны и выздоровлением мальчика Миши Лермонтова, который почти до пятилетнего возраста не мог ходить и которого бабушка «возила на воды». Последнее обстоятельство в книге, естественно, не упоминается, но... без Гааза не было бы и водолечения, и (страшно представить!) гениального русского поэта Лермонтова!

Становление главного героя даёт автором психологически обоснованно, характер (образ) рисуется в динамике.

Преуспевающий немецкий доктор Фридрих Гааз в России преображается, становясь русским Фёдором Петровичем, о котором все знавшие его отзываются как о святом. А знали его многие – от нищих, которых он за неимением мест в больнице бесплатно принимал прямо у себя на дому, до членов императорской семьи и Митрополита Московского. А Митрополитом (после упразднения Петром Первым патриаршества – фактически первым лицом Русской Православной Церкви) тогда был, между прочим, сам Филарет Дроздов (прямо к делу это не относится, но для справки, для любопытных,

отметим, что он родственник знаменитого телеведущего Николая Николаевича Дроздова, внука которого недавно назвали Филаретом), причисленный к лику святых. Так вот, прославленный Митрополит Филарет во время болезни Гааза не только благословил (по сути, приказал, а точнее, позволил, так как заставлял священников и не надо было – сами это охотно бы сделали) служить в русских церквях молебны о здравии занедужившего доктора-католика, но и сам навесил его. Впрочем, встречались они и до этого неоднократно. Московский Митрополит называл Гааза братом. Да ведь и сам Фёдор Петрович не только любил ходить в православные храмы, но и, оказывается, наизусть знал всю службу и на православные церкви жертвовал.

В книге художественно и достоверно обрисован не только образ доктора Гааза, но даны психологические портреты Митрополита (сразу вызывает уважение и любовь) и, в какой-то степени, «благоразумных разбойников», собравшихся было снять в морозную ночь с доктора, спешащего на помощь к больному, шубу, а потом пришедших к нему служить – работать, и портрет слуги Егора. Чего стоит эпизод, когда Филарет в комнату к больному Гаазу вошёл и слуге было велено вести себя тихо. *«Егор посидел несколько минут на своём сундуке, потом, подумав немного, широко перекрестился и пошёл... (многоточие моё. – М. М.) подслушивать!»* И ведь правда – ну, не мог же он не попытаться узнать, о чём говорят эти два великих человека! А за дверью действительно происходило необыкновенное: во-первых, знаменитый Владыка не позволил больному вставать перед собою (по этикету перед архиереем нельзя не встать); во-вторых, православный святой предложил католику совместно помолиться; в-третьих, наш Митрополит... признал **ещё живого**, да к тому же и **католика...** святым! Он убеждённо сказал: *«Брат мой, ты войдешь в Царствие Небесное, помолись там и обо мне».*

И ещё о «занимательности» (совершенно необходимой для читателя-ребёнка). Сюжет маленькой повести необычен, он как бы двойной. Первый способ сообщений о герое – рассказы о нём тех, кому дивный доктор помог, кого спас (почти все случаи реальны, по сохранившимся записям, а придуманное автором повести соответствует логике поведения доктора, его психологии); а второй – образно-символический, также основанный на фактах.

Детское увлечение Фридриха Гааза астрономией очень пригодилось автору книги. Рассматривание звёзд в телескоп, ожидание появления Вифлеемской Звезды образно перекликаются с тем, что Фёдор Петрович стал (как сейчас бы сказали) «звездой», и с тем, что каждый человек должен светить своею жизнью. И болевшая девочка Настя, которую до самой её кончины пытался спасти доктор Гааз, в ангельском образе с благодарностью встречает его, когда и он покинул наш мир, и показывает Гаазу столь любимое им Небо и... его звезду. Это, конечно, только часть сложного символа. И это не красивая выдумка-вольность Елены Гаазе – ведь, согласно Евангелию, умершие дети находятся в раю, ибо «их есть Царствие Небесное».

Имела ли право Е. Гаазе добавить в сюжет выдуманные истории? Конечно. Ведь это всё-таки художественное произведение. Повесть отчасти напоминает жанр жития, но, разумеется, не подражает ему, не противоречит художественной правде. И даже описание похорон Гааза не навеивает мрачного состояния, а, напротив, оставляет свет в душе. Проводить его пришлось множество народу.

«Кого хоронят? Генерала, что ли?» – «Какого генерала? Видишь, катафалк бедный и пара лошадей всего... Разве генералов так хоронят?»

Напомним, что Гааз на самом деле был статским советником, кавалером ордена – и «имел право» на пышные похороны! И, повторимся, он всё-таки стал **настоящим** русским. Прекрасен и показателен в этом смысле сон-видение доктора незадолго до смерти: он в своей комнате под крышей дома в Бад-Мюнстерайфеле, легко подходит к окну – а за окном Москва (!), пасхальный звон (в августе!). Символ блестящий.

Читатели наверняка обратили внимание на «совпадение» фамилий автора повести и её героя. Оно, разумеется, не случайно – в православной семье Гаазе всегда были интерес

и уважение к своему великому однофамильцу и, наверное, далёкому родственнику. Если бы мы все так относились к своему роду!

У книги из девяти главок достаточно большой («детский») формат, крупный (по санитарным требованиям к подобной литературе) кегль удобного для чтения шрифта, все страницы цветные, более десятка иллюстраций, добротнo выполненных саратовской художницей Ириной Шин. Бумага отличная, буквицы и виньетки добавляют изданию нарядности – так что книга может стать и очень хорошим подарком любознательному ребёнку. Тем более что она формирует представление о семейных ценностях, даёт маленькому читателю прекрасный пример прекрасной жизни, рассказывая об удивительном, великом человеке, сообщает ряд ценных для воспитания исторических сведений. Елена Гаазе и издательство Саратовской митрополии сделали доброе дело!

Сергей ФОЛИМОНОВ

ОДНА ЛИШЬ ИСТИНА – ЛЮБОВЬ...

Наталья Леванина. Инстинкт любви. – Саратов, 2014.

Тема любви в литературе, пожалуй, самая сложная. Редкий поэт или писатель избегает её в своём творчестве, если вообще кому-то такое удаётся. Именно поэтому тема любви – краеугольный камень для любого автора. Нет ничего более трудного, чем найти новое в том, что, как всем кажется, давно изучено вдоль и поперёк. Поэтому надо отдать должное смелости Натальи Леваниной, которая выпустила в свет очередную книгу под провокационным названием «Инстинкт любви».

Название провокационное по двум причинам. Во-первых, оно без обиняков заявляет о главном, а значит, может вызвать скепсис у искушённого читателя («Опять о любви? Боже! А о чём ещё может быть женская проза?»). Во-вторых, может обмануть своей «броскостью», вызвать настрой на незамысловатое, бульварное чтение. И то, и другое не соответствует действительности. Под одной обложкой читателя ждут три оригинальные, искренне, с душой написанные повести о человеческой жизни, наполненной страданиями и утратами, борьбой за существование и за простое (а на самом деле такое непростое!) человеческое счастье, и, конечно же, о любви. Но не будем забегать вперёд и поговорим обо всём по порядку.

1. По две стороны безвременья...

Сегодня прозаики легко, не пытаясь проникнуть под видимый покров сущего, пишут про литературно обжитые «лихие 90-е», отодвинувшиеся в область легенд и преданий. В художественном пространстве появилось уже немало штампов, связанных с этим периодом нашей истории.

У Натальи Леваниной со временем и его героями свои отношения. С самого начала она ставит творческой задачей восстановление распавшейся связи времён, людей, семей, поколений. Причём *слово* для неё по-прежнему больше, чем только *слово*, оно призвано пробудить человеческое в конкретных людях: близких и дальних знакомых, родственниках, сослуживцах, коллегах, порой живущих за морями и океанами, за мечтами и воспоминаниями. Но, разбуженные словом, они откликаются, ищут друг друга, переосмысливают собственный опыт, преображаются, обретая утраченную гармонию.

Русский человек (по крайней мере, тот, кто ощущает себя таковым, где бы он ни находился и к какому бы этносу ни принадлежал) уже привык к феномену *двойного бытия*: он вынужденно существует в безликой действительности наших дней (времена не выбирают!) и упрямо продолжает жить в идеализированных *советских временах* («*что пройдёт, то будет мило*»). Но, как бы нам того ни хотелось, как бы ни претило нам наше бездарное сегодня, вернуться в лучезарное вчера не дано никому. Однако в этом нет никакой безысходности. Жизнь – это движение и развитие, открытие и приятие чего-то нового, вечное обновление самой личности.

В повести Натальи Леваниной «Ходики» (она, на мой взгляд, является большой творческой удачей автора) есть интересная находка. На протяжении всего текста писательница ведёт притчевую повествовательную линию, где в свойственной ей афористической манере делится своими размышлениями о философии времени. Здесь высказаны заветные мысли, здесь спрятан ключ к трактовке всего произведения. Отталкиваясь от образа великого Ньютона, ставшего символом всемогущего разума, Леванина формулирует: «...не будь педантом. Не мельтеши с будильником. Время

приготовления яйца, как и время твоей жизни, надо просто чувствовать». И это самое чувство времени, личного и исторического, – главный нерв её героев. Например, родители Тихого («Ходики»), уловив новые веяния моды, купаются в известности и со всей страстью поклоняются «золотому тельцу», а их «малохольный», с точки зрения обывательского сознания, сын-изгой идёт против течения, пытаясь преодолеть пошлость силой искусства. А вот Игорь и его супруга Дарья («Ошибка») не способны (или страшатся?) понять, что есть время разрушать и время строить, время обнимать и время уклоняться от объятий и что эту данность нельзя подчинить эгоистическим требованиям.

Говоря о поисках автором своего пути в осмыслении трёх противоречивых исторических периодов, нельзя обойти вниманием один существенный факт. Читатель уже успел привыкнуть к тому, что Наталья Леванина стремится максимально сократить дистанцию с воображаемым собеседником, разговаривать с ним без посредников, литературных масок, не меняя авторского голоса. Но в новой книге эпоха звучит голосами разных персонажей. Писательница не спешит выходить к рампе и доверительно беседовать с притихшим залом. Здесь другие правила игры. Их определяет с успехом освоенный Леваниной жанр повести, в котором она умело сочетает библейское и фольклорное, камерное и монументальное. Повествовательная ткань всех трёх произведений соткана из резких контрастов. В столкновение приходят мысли, чувства, герои, эпохи и стили. Разрушенная лихолетьем страна созидает себя на обломках дорогого прошлого руками обездоленных детей – бывших военных, учителей, рабочих, инженеров, художников и музыкантов – и говорит от их имени, их то высоким и поэтичным, то грубоватым площадным, то колоритным деревенским, но всегда таким родным русским языком.

Вот Игорь, незадачливый герой повести «Ошибка», сидит на берегу и грезит о возлюбленной Лане, уносясь мыслью в идеальное, светлое, высокое. И картина перед ним более чем трогательная: плещется в реке рыба, заботливая уточка-мать переправляет в камышовое укрытие многочисленное потомство (скрытая ирония автора в адрес многодетного персонажа). И тут же прорываются природные интонации «брутального самца»: *«дубина стоеросовая», «фирменные тряпки», «та ещё штучка», «трепло кукурузное», «петушиный нетерпёж»*. Этот внутренний монолог, прорастающий в повествовательную ткань и не отличимый от неё, представляет собой несобственно-прямую речь. Такие самохарактеристики, речевые автопортреты мы встретим и в других произведениях. Например, Надя («Ходики»), размышляя о счастливом замужестве подружки Машки, идеализирует её маленькое женское счастье с помощью уменьшительно-ласкательных словечек: *«курортный городок», «ресторанчик», «магазинчик»*. И вдруг сквозь романтический флёр проглядывает земное, жаргонное, стихийно-рыночное: *«оторвал блондинку», «на свадьбе напряглась»*. Благодаря выбранной автором повествовательной стратегии, язык новой книги получился сочный, яркий, цветной.

2. «Мысль семейная»

Семья в русской литературе всегда виделась безусловным нравственным и духовным абсолютom. Однако институт этой основообразующей ячейки общества, как и всё оно в целом, в 90-е годы переживает тяжёлый кризис. Поэтому закономерно, что «мысль семейная» – одна из основных в книге. И хотя каждая из семей, как и водится, «несчастлива по-своему», есть в их судьбах много общего.

Общее, в первую очередь, то, что слом исторической формации изменил приоритеты, а следовательно, и человеческую психологию, в частности, касающуюся отношений семейных. Если для советских времён было свойственно следование патриархальным русским традициям, где долг перед близкими ставился превыше всего, где семейная психология строилась на принципах взаимоуважения и взаиморастворения, когда уязвлённое эго приносилось на алтарь семейной гармонии, то стихийно-рыночное

безвременье выдвинуло на первый план материальную составляющую, и сегодня сложно найти человека, способного стойко переносить все тяготы брака. Нет, конечно, всё это существовало и раньше: и алчные женщины, и безответственные мужчины, и жестокий расчёт, и оголтелый эгоизм. Существовало, но никогда не становилось нормой.

Семьи в повестях Натальи Леваниной разрушаются по разным причинам. В одних случаях под влиянием свободы, подобной чумному поветрию. Жертвой его становится первая супруга московского интеллигента и потомственного филолога Дмитрия («Ходики»), опьянённая *«свободой без берегов»* и уехавшая на Гоа, где, как не без иронии замечает герой, *«давно уже нашла себе такого же отвязного австрийца и повенчалась с ним где-то в цветочной беседке из орхидей с видом на Индийский океан»*. При этом она легкомысленно бросает сына в самом сложном, переходном возрасте. Не выдерживает испытания временем и отец Сашки, Павел («Сашка»), работяга и «запойный графоман» (род недуга), ослеплённый внешней, чисто механической гармонией поэзии: оказавшись в сложной ситуации, он малодушно бросает жену с тяжелобольным сыном. Реальность оказалась не похожей на поэтические упражнения с готовыми рифмами и незамысловатым ладом.

В других случаях семьи распадаются вследствие душевной пустоты, образовавшейся с течением времени и, подобно пропасти, разверзшейся вдруг между некогда близкими и, как казалось, любившими друг друга людьми. Писательница видит причину этого в ошибке, допущенной в самом начале отношений, когда решающим фактором зачастую служат инстинкт, желание самоутвердиться в собственных глазах и в глазах окружающих, соперничество и прочие суетные вещи. Но прежде чем понять, что ошибся, человек проживает значительный отрезок времени, обзаводится детьми и внуками, ощущает себя состоявшейся личностью и вдруг, вернувшись однажды домой, понимает: это чужая жизнь, чужая судьба, и в них он всего лишь играет роль мужа, отца, деда. Именно в таком положении оказывается Игорь («Ошибка»), как, впрочем, и его жена, неосознанно превратившая себя в «старую мельницу», механически перемалывающую заботы и тревоги повседневности и боящуюся хотя бы на минуту открыть глаза и увидеть жестокую истину.

Особенно остро трагизм разрушения семьи ощущается на фоне образа Сашки, главного героя одноимённой повести. Его судьба – типичная судьба ребёнка-инвалида, лишённого обществом права на сочувствие, помощь, социализацию. Но его мир – это мир чистоты, любви и всепрощения, который он готов по-детски открывать каждому встречному. Сашка слаб и хрупок в физическом, житейском смысле, но бесконечно силен нравственной чистотой. Писательнице удалось без фальши воспроизвести столкновения героя с миром, наполненным неизвестными ему соблазнами, живущим по законам сильных и жестоких. Девятнадцатилетний мальчишка за одну короткую поездку к престарелому дяде сталкивается с такими явлениями, как сребролюбие, чревоугодие, блуд, предательство, и – остаётся прежним. Только углубляется, становится более осознанной его сострадательная любовь к матери.

Источник духовного совершенства Сашки Смирнова кроется в материнской самоотверженной любви, а сила самой Марии Фёдоровны – в её корнях, в вере, унаследованной от предков и «самостийной» бабы Клары, в труде, наконец. Мария Фёдоровна продолжает галерею русских деревенских мадонн, начатую ещё Распутиным.

Уютному, хотя и аскетичному миру матери противопоставлен суровый мир с его жёсткой иерархией, стремлением к первенству, отсутствием сострадания, расцениваемого как слабость. Безусловно, он показан наивными глазами неискущённого юноши-изгоя, но в том-то и замысел автора: увидев мир взором юного ангела, читатель должен испытать сочувствие и стремление к любви деятельной (именно к такой любви, очевидно, приходит сам герой, когда в конце повести спешит увидеть заболевшую маму).

3. «Надо учить главному...»

Наталья Леванина – учитель по призванию. Ненавязчиво, исподволь она подводит читателя к тому, что не должно, не может быть утрачено. Одним напоминает о приметах культурной жизни, других пытается заинтересовать, заинтриговать даже. Поэтому так много в повествовательной ткани реминисценций и аллюзий, в том числе лично для автора значимых литературных переключек и скрытых от непосвящённого диалогов. Особенно с любимым Фёдором Михайловичем, ну, и с Антоном Павловичем, конечно. Один образ Сашки чего стоит!

Реминисценции и аллюзии в книге «Инстинкт любви» выполняют разные художественные задачи: способствуют созданию непринуждённой атмосферы, служат материалом для шутки, указывают на психологическое состояние персонажа. Но при этом все они актуализируют главный культурный код, который наполняет повествование родным воздухом, даёт понять, что автор и читатель «одной крови».

Какая же ассоциация должна возникнуть у читающего, чтобы такое духовное единение произошло? Пример навскидку. «На западном фронте без перемен», – загадочно комментирует колоритный персонаж Палыч состояние своего здоровья («Сашка»), побуждая читателей среднего и старшего возраста вспомнить о любимом в СССР Ремарке, чьи романы давали возможность заглянуть за «железный занавес» и ощутить дух свободы. Как легко тогда соотносилась его правда о Первой мировой (у нас о ней говорили вскользь, как будто России это и вовсе не касалось) с правдой о нашей Отечественной, замалчиваемой, полузапретной. А следом открывается ещё один пласт, сугубо контекстуальный, но не менее интересный. Откуда, спрашивается, такая начитанность у Палыча, с его «вертикулезами», «споутрянками» и «пристипомами»? Оттуда же, откуда у Шарикова рассуждения об Энгельсе с Каутским, буржухах и мировой революции. Тоже ведь знаковый персонаж!

А вот другой пример из того же текста. После громкого скандала с проводницей пассажиры, дружно заступившиеся за Сашку, испытывают чувство забытого уже единения, товарищества. И опознавательным знаком, культурным символом столь редкого сейчас явления становятся слова известной песни: «Мой адрес – не дом и не улица. Мой адрес – Советский Союз!» Примечательно, что культурный знак в контексте леванинской повести не вписывается в изначально свойственные ему идеологические рамки, встраиваясь в новую систему ценностей. Для челноков – это повод вернуться в страну своей юности, с её идеалами добра и справедливости для всех и готовностью отстаивать их до конца; для юного Сашки, воспитанного скорее в духе христианского милосердия и наделённого от природы чистой и светлой душой, – возможность сделать первые самостоятельные умозаключения о жизни. *«Люди такие разные! – размышляет герой. – Надо как-то научиться их различать. Есть добрые. Вон как за него вступились! А что он им? Но есть и такие, как проводница. И чего это она злая такая? Как вообще живут такие страшные тётки? Им самим-то как? Неужто хорошо, когда все тебя не любят?»* Вечные проблемы сосуществования добра и зла, душевная боль от ощущения разрушающейся детской гармонии мира, первое самостоятельное познание, в котором и скорбь, и горечь, и предчувствие ещё не родившейся истины. Это то, что чувствует мальчик. А читатель, интуитивно улавливая переплетающиеся повествовательную ткань эпизода ассоциативные нити, вдруг ощущает, что нет прошлого, настоящего, будущего для того, кто умеет видеть главное, и связь времён нерасторжима. Все эти катаклизмы происходят внутри самого человека, а слово способно исцелить, вернуть веру, подарить надежду, зажечь любовь.

Какая же мысль объединяет совершенно самостоятельные произведения в самый настоящий триптих? Ответ сформулировала сама писательница, вложив его в уста мудрой Светланы из повести «Ошибка»: *«Надо учить главному!»* А главное, что доказывается всем ходом повествования, это и есть любовь.

Журнал «Волга – XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области,
Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Подписано в печать 5 мая 2015 года.

Журнал отпечатан в типографии «Буква».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Астраханская, 102.

Заказ № 01/0505.

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Соборная, 42.

Тел. (факс): (845-2) 28-63-49.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.sarnovosti.ru

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж свободный.

© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2015.

© «Волга – XXI век», 2015.